ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

ПОВЕСТЬ МАГДАЛЕНЫ ТУЛЛИ “ШУМ”

ПЬЕСА МАЙКЛА ФРЕЙНА «БАЛМОРАЛ»

РАССКАЗЫ ШЕРМАНА АЛЕКСИ

2015
8

Основан в 1955 году

868

МОСКВА

5–6 сентября
ДЕНЬ ГОРОДА

Полная программа
мероприятий на сайте

ЯЛЮБЛЮМОСКВУ.РФ

#МОСКВА868

0+

Е. Ю. Гениева

Теряем людей. И каких! Меньше года назад не стало Бориса Дубина. 9 июля умерла Екатерина Гениева.

Странное, непривычное, какое-то чужое, официальное сочетание имени и фамилии. Для нашего профессионального сообщества, людей не только Гениевой близких, но и далеких, она всегда была просто Катя.

“Катя уже вернулась из Ижевска?”, “Что сказала Катя на заседании правления “Гражданской платформы”?”, “Кати не будет до понедельника: выступает в Совете Европы”, “Вы читали Катино интервью ‘Медузе’?”

Для “Иностранки”, то бишь Библиотеки иностранной литературы, потеря невосполнимая. Таких, как Катя, на посту Генерального директора заменить некем — в лучшем случае получится паллиатив. За четверть века ей удалось превратить детище М. И. Рудомино с его богатейшими фондами в приметное культурное сообщество со своим издательством, национальными информационными центрами, со своей ярко выраженной идеологией, базирующейся на принципах культурного экуменизма.

Велика потеря и для нашей “Иностранки”. (Как же, к слову сказать, она мечтала свою и нашу “Иностранки” слить!) Катя долгие годы входила в редакционно-издательский совет журнала, активно — как и во всех своих начинаниях — участвовала в присуждении ежегодных журнальных премий, много в журнале печаталась. В советские годы постоянно “курировала” на страницах “ИЛ” свою любимую английскую литературу, классическую и современную. А в 1989 году совершила литературоведческий подвиг: в двенадцати номерах подряд комментировала “Улисса” Джойса, выходившего тогда на русском языке впервые.

Ее способности и увлечения были многообразны. Катя прекрасно говорила — одинаково свободно на двух языках. Отлично писала — живо, ярко, очень эмоционально (точно так же, как и жила). Диапазон ее литературных интересов был безграничен: от Теккерея до Лермонтова, от Фета до Грэма Грина. Была отменным администратором, деловым, энергичным. При этом — предприимчивым, даже азартным, что, хорошо известно, у творческих людей — большая редкость. Штамп “активная

жизненная позиция" – это про нее, и это скорее литота, чем гипербола.

Однако ее главная способность, затмевающая, пожалуй, все остальные, – дар благотворительности. В этой связи вспоминается еще один ставший штампом наказ: "Спешите делать добро". Катя делала добро всякий день и всякий час и, надо сказать, получала от этого огромное удовольствие, которое никогда не скрывала. Благотворила – но не благодетельствовала: поддерживала только тех, кто эту помощь заслужил, без посторонней помощи сам многого добился. Это, между прочим, роднило ее с американским филантропом Джорджем Соросом, с которым она так плодотворно – и благотворно – сотрудничала на рубеже прошлого и нынешнего веков на ниве российской культуры и образования. На панихиду в библиотеке пришли сотни людей, и среди них не было почти никого, кто не был бы ей хоть чем-то обязан.

У таких, как Катя, людей принципиальных, не могло не быть идеологических противников – их и было немало. Вместе с тем, ничуть не меньше, чем ксенофобия, угодничество, двуличность, ей мешали жить равнодушие, лень, беспечность. Катя терпеть не могла людей равнодушных, почивающих на лаврах. Человек в высшей степени толерантный (создала же она Институт толерантности), образец сдержанности, терпимости, она отказывалась с такими людьми работать, вычеркивала их из своей жизни, из своего круга.

Еще бы, ведь она была человеком одержимым, и с беззаботностью, нерадивостью, ленью ей было не по пути; сталкиваясь с "ленивыми и нелюбопытными", она как-то сразу сникала, скучала, уставала. Вообще же была неустанной. Так и хотелось ей сказать: "Побереги себя, всех дел не переделаешь, всего не успеешь". Успевала – до последнего дня.

Светлая память – в отношении Екатерины Гениевой очевидная тавтология.

[8]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

5 Магдалена Тулли *Шум.* Повесть. Перевод с польского Ирины Адельгейм

104 Хавьер Кампос *Стихи.* Перевод с испанского Жанны Тевлиной. Вступление Евгения Евтушенко

114 Шерман Алекси *Рассказы.* Перевод с английского Светланы Силаковой

132 Майкл Фрейн *Балморал.* Фарс в двух действиях. Перевод с английского и вступление Екатерины Ракитиной

Юбилей

194 Уильям Батлер Йейтс

195 Григорий Кружков *"Серебряный налив луны / И солнца золотой налив".* Из опыта переводов У. Б. Йейтса

210 Уильям Батлер Йейтс *Из новых переводов.* Перевод с английского Григория Кружкова

№

213 Робер Деснос *Из книги "Когда художник открывает глаза".* Перевод с французского и вступление Сергея Дубина

Из будущей книги

235 *Осколки и брызги.* Стихи. Перевод с шведского, вступление и справки об авторах Елены Даль

Статьи, эссе

250 Александр Мелихов *Марк Твен как зеркало русской революции*

Реплика

270 Александр Ливергант *"...сидит щегол в клетке, у окошка", или Симулятор виртуальной реальности*

БиблиофИЛ

273 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

276 Я. Г. Шемякин *О творческой личности синкретического типа: Валерий Земсков*

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

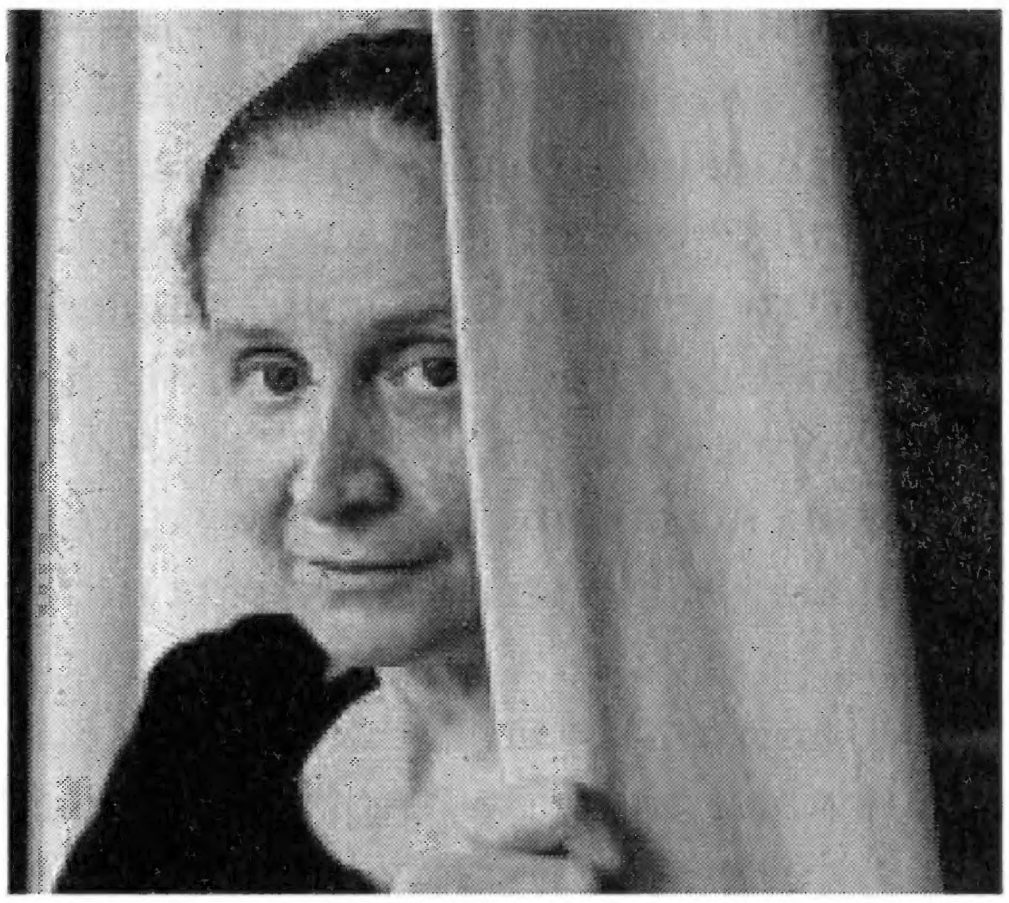
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Магдалена Тулли



Шум

Повесть

Перевод с польского Ирины Адельгейм

I

ДАЛЕКАЯ родственница его матери написала мне из Америки: она рада, что мы снова друзья. Его мать была бы счастлива. Да, я знала, она была бы счастлива. Перед смертью она тревожилась, что оставляет его совсем одного. Никаких близких. Кроме меня.

Американская родственница также за него беспокоилась. Совсем недавно они обменялись письмами. Он написал то, что должно было ее успокоить. А именно: после смерти наших матерей мы друзья, снова. Словечко “снова” она наверняка добавила от себя, откуда ей знать, что друзьями мы никогда не были? И в детстве тоже. Мы были недругами. В этой семье, как огня, избегали приступов простодушной откровенности. Следили, чтобы ничто достойное внимания не просочилось наружу. Об этом он умел заботиться с детства. Ни ей, ни кому-либо другому он не признался бы, как давно у нас не было повода поговорить.

© by Magdalena Tulli 2014. All rights reserved
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2015

Ну а я могу рассказать об этом кому угодно. Мы не разговаривали с тех пор, как он бросил трубку.

Бросил трубку, чтобы меня наказать. Я ничуть не удивилась, я знала за что. Как прежде мать, он исполнял в семье обязанности судебного пристава. Суровые правила ограничивали громкость — "На полтона тише!" — и это было для него святое. Никакое смятение чувств, никакая волна гнева не заставили бы его повысить голос. В трезвом виде — ни за что. Он слишком себя уважал. Случалось — раз или два, — что он звонил в три часа ночи, явно поддавшись эмоциям, о которых говорил не слишком складно. Но голоса и тогда не повышал. Того же требуя от меня.

Моя мать не считала американку родственницей. Она была свойственницей — вышла замуж за далекого родственника, вот и всё. И любила нашу семью. Мать против нее ничего не имела, но по привычке воздвигала крепостные стены везде, где только можно, не подпуская мир слишком близко.

Никто бы не догадался, что наши матери — сестры. Они не были похожи даже внешне. По характеру — тем более. Вера его матери — или, скорее, уверенность, двухсотпроцентная уверенность, будто она знает все выходы из положения — придавала ее голосу веселые и беззаботные интонации, а взгляду — слегка ироничное выражение. Интонации моей матери были тяжелее, задумчивость — глубже, взгляд — нередко отсутствующим. Она взирала на эту веселость отстраненно, порой, наверное, устало, хоть и не без уважения. У них за плечами была хорошая школа. Вспоминать о ней сестры не любили. Никогда не говорили о том, что за уроки им там преподали. Его мать наверняка полагала, что усвоила их лучше. К моей матери относилась немного свысока, хотя была на два года младше. Полагала, что мир, открывшийся ей потом, когда уроки закончились, не заслуживает серьезного к себе отношения. Ее успокаивала уверенность, что она умеет с ним обращаться. Больше она уже никогда не позволяла себе этого не уметь. Избавилась от неуверенности, как избавляются от аппендикса: раз и навсегда. Тем, кто не всегда знал, что делать, она в случае необходимости могла помочь, бывала при этом любезна, к людям относилась доброжелательно и свое чувство превосходства тактично скрывала.

А я никогда не знала, что делать, жизнь оказывалась для меня слишком трудной. В то время я не догадывалась, насколько тяжело ей это выносить, — ведь я верила, что для нее не существует вещей сложных. Прищурившись, она посмеивалась надо мной:

— Буквы проказничают.

Это была чистая правда. Буквы проказничали, прятались друг за дружку, порой загораживали собой слово, особенно когда в классе мне велели читать вслух. Я готовилась к худшему, потому что фраза получалась явно бессмысленная.

— Долго нам еще ждать? — раздражалась учительница.

— Нит... ки... тон... тонут... — лепетала я и, краснея, умолкала под взрывы хохота. Все, все до единого знали, что нитки тонки.

— Я не разрешала тебе садиться! Встань! — кричала учительница.

Измученная и безучастная, я не слышала ее криков и сидела за партой, как приклеенная. Мое упрямство смешило одноклассников не меньше, чем до этого тупость.

Надо мной так часто смеялись, что я мечтала о покое хотя бы за воскресной шарлоткой. Воскресенья в их доме были днями, предназначенными для общения с родственниками, а общение с родственниками заключалось именно в этом. Ее советы уже на первый взгляд казались мне бесполезными. Она не желала слушать, так могло ли быть иначе? Спустя год появлялись новые аргументы.

— Ты в состоянии выполнить все, что требуется, иначе тебя не перевели бы во второй класс. Попробуй быть прилежнее, — сказала она ласково и повернулась к моей матери: — Ты должна больше следить за дисциплиной. Пусть она каждый день ложится в одно и то же время. Проверяй, сделаны ли уроки и сложен ли ранец.

Я не сомневалась, что нет на свете таких проблем, с которыми его мать не справилась бы играючи. Но в моем случае она пошла по линии наименьшего сопротивления. Моя мать тоже наверняка это чувствовала. Она кивала. Соглашалась с его матерью. Она не собиралась сопротивляться двухсотпроцентной уверенности. Необходимость скрывать тайну превратила для нее повседневный труд существования в непосильное бремя. Тайной моей матери была школа, которую они прошли. Она не хотела, чтобы у нее на лбу было написано, что это за школа и где она находилась. Скрывать тайну было тем более трудно, что, в отличие от его матери, она не умела ничего забывать. На то, чтобы скрыть тайну, уходили почти все силы, а оставшиеся она вынуждена была экономить, чтобы хватило на работу, поскольку работу моя мать любила. Поэтому на то, чтобы совладать с повседневностью, сил уже недоставало. Два раза в неделю приходила женщина — убирать и стирать. Это не настолько облегчало жизнь, чтобы матери удалось хоть на мгновение приподнять голову над поверхностью воды и сделать вдох. Она была не готова

брать на себя новые задачи, которые по моей милости ставила перед ней сестра. Она и без того чувствовала себя перегруженной. Но отвергнуть совет его матери никогда бы не решилась. Надо было хотя бы попробовать, пусть даже вопреки здравому смыслу. Теперь меня укладывали спать в восемь. Этого оказалось недостаточно, и время сдвинули еще на полчаса назад. Они рассчитывали, что, проспав так долго, я наконец услышу звонок будильника. Больше мне помочь никак не удавалось, и постепенно его мать с этим смирилась. Ей требовался уже только символический жест оптимизма.

Оптимизмом она преисполнялась необычайно легко. Это ничего ей не стоило.

— Выше голову, — говорила она. — Все будет хорошо.

— Не будет! — вопила я, потеряв последнюю надежду все же достучаться до нее со своим отчаянием — до нее, единственного человека на свете, который умел решить любую проблему. Я была уверена, что она бы с ходу придумала, как меня спасти, если бы только перестала упрямо отрицать факты, которые я пыталась довести до ее сознания. — Не будет!

— Я тебя очень прошу, не ори, — ответила она шепотом, и взгляд на мгновение сделался страдальческим.

Он коротко взглянул на нее — точно первая скрипка на дирижера, отложил десертную вилочку, нахмурил брови и демонстративно заткнул уши. Я произнесла свою реплику чуть тише. Продолжая на что-то упорно надеяться.

— Еще на полтона ниже, — попросила она шепотом, поднося палец к губам.

Мой отец при этом не присутствовал. По воскресеньям он, как правило, бывал занят: сидел дома и читал. Когда-то он приходил к ним, хоть и не каждое воскресенье, чтобы вместе со всеми съесть свою порцию шарлотки, но чем старше я становилась, тем реже это случалось. Язык он знал для иностранца очень неплохо, но над шутками не смеялся. Ничего не говорил, только сидел и слушал, размышляя о чем-то на чужом языке. Это всем настолько мешало, что потом никто уже не пенял ему за отсутствие. Отец ее сына был не слишком многословен. По поводу моих дел он никогда не высказывался. “Дети и рыбы не разговаривают”, — говорили у них в семье, когда он был маленький. Он любил мне об этом напоминать, намекая, что меня слишком хорошо слышно. Через несколько лет обоих не стало. Если они вообще собирались занять какую-то позицию по этому вопросу, не стоило откладывать до бесконечности.

— Не будет хорошо! Не будет! — повторяла я, беззвучно шевеля губами.

На меня уже никто не смотрел. Напряжение спадало, разговор переходил на другое. Они предпочитали темы, не имевшие к нам никакого отношения. Я верила, что в моей жизни может многое измениться, если я выучусь говорить не слишком громко, не слишком тихо, именно так, как полагается. Я понятия не имела, насколько важно содержание, потому что о содержании никто даже не упоминал. Мои темы — те, что не давали мне покоя, — по другую сторону стола вызывали молчаливый протест и запускали зубчатое колесо иронии, а та при помощи специальной передачи щелкала замком обиды. Язычок замка отскакивал, подстегивая эмоции, вот уже реостат сам оказывался в критическом положении. Механизм не спасал родных от криков, которых все стремились избежать, в этом был его недостаток. Но, надо признать, свою основную функцию он выполнял: чем больше я желала, чтобы меня услышали, тем больше саму себя заглушала.

Мне казалось, что это она, его мать, навязала строгие правила, ограничивавшие громкость. Если даже так оно и было, моя мать охотно их приняла. Это устраивало всех: его мать, которая знала все выходы из положения и для которой жизнь была до смешного проста, мою мать, имевшую собственные способы не подпускать мир слишком близко, и его, вознаграждаемого за понятливость. И только на мою долю доставались одни неприятности. Я вызывала жалость, и все из-за этой роковой привычки повышать голос. Мне не удавалось попасть в узкую щель нужной громкости, которую с двух сторон теснили запретные поля крика и глухой тишины. Мне ставили в пример его — он умел. Его наградой было мое наказание.

— Что нового в школе? — спрашивала его мать в воскресенье после обеда.

Нет никаких оснований подозревать, будто она испытывала меня сознательно. Каждую неделю я с нетерпением ждала этого вопроса. Рассказывала с пылающими щеками. Мечтала, чтобы она наконец согласилась со мной хотя бы в том, что вина моя невелика, а проблемы огромны и незаслуженны. Некоторое время все меня слушали. Он взглядывал на свою мать, как всегда готовый в случае необходимости заткнуть уши.

— Не надо так кричать, мы тебя отлично слышим, — улыбалась она краешком губ.

Неужели однажды в такой момент я увидела в ее глазах страдание? В это было невозможно поверить. Я бы не сумела вывести ее из равновесия, даже если бы захотела. Я? Ее? Исключено.

У нее были основания прерывать меня на полуслове, не проявляя интереса. Она все это уже знала. Знала от моей матери, которую то и дело вызывали в школу. Знала с другой сто-

роны, в улучшенной, сокращенной версии, без лишних деталей, без сомнительных домыслов и лишних повторов. И знала еще кое-что, чего я знать не могла: что нет у меня никаких проблем, проблема — я сама. Проблема ее сестры, которую она любила больше всех на свете. Моя мать не произносила ни слова, но, казалось, она рада, что его мать заткнула мне рот. Дома ей тоже не хотелось это слушать. Проблемы множились, разрастались в саду моих обязанностей, словно крапива или пырей. Вскоре матери надоело проверять, сделаны ли уроки. Да и к чему? Они никогда не бывали сделаны. Когда бы я за них ни села, все равно не успевала управиться до вечера, неизменно ухитряясь растранжирить все имевшиеся в моем распоряжении часы. Когда наступала половина восьмого, оказывалось, что день прошел впустую и слишком поздно пытаться это исправить. Я ложилась спать, исчезала из поля зрения, мне не разрешалось попадаться ей на глаза. Но это не помогало. Я засыпала под утро, незадолго до звонка к первому уроку. Зимой в восемь бывало еще совершенно темно. Мы жили тогда по времени, которое действовало далеко на востоке, поэтому светало у нас лишь после девяти. В школу мне не хотелось, в тетрадях не было ничего, за что мне не пришлось бы краснеть. Единственное, о чем я мечтала, — чтобы мне позволили спать, до самого вечера. Иногда я выключала будильник и просыпала.

— Что ты тут делаешь в это время? — спрашивала мать в половине десятого — она как раз вставала, занятия у нее начинались позже, чем у меня.

— Не пойду в школу, — была вынуждена отвечать я. — Спать хочется. Я не спала всю ночь.

Я рассчитывала хоть на каплю сочувствия. Когда я искала у нее спасения после полуночи — она как раз ложилась спать, — меня отсылали прочь. Вечером она не желала об этом слышать. Утром тоже.

— Этого не может быть, — отвечала она спокойно. — Я бы знала.

А он? Это другая история, совсем-совсем другая. Обаятельный и симпатичный, улыбчивый, правдивый и предсказуемый, увешанный пятерками с головы до пят. Он все делал вовремя, ни о чем не забывал. Учителя его обожали, но даже это не мешало дружбе с одноклассниками. Он служил живым доказательством того, что сестра матери с ее двухсотпроцентной уверенностью по всем вопросам действительно умеет воспитывать детей. Это банально просто, говорила она. Я жалела, что я — не он, что мне не причитается доля этой ба-

нальной простоты, к которой я стремилась больше всего на свете. Но я не была такой, как он, не была ни улыбчивой, ни обаятельной, по воскресеньям являлась к ним возбужденная и без всякого повода повышала голос, словно не понимала, чего от меня хотят.

Все это их смешило. Он поднимал брови так высоко, как только мог, выжидающе глядел на нее, потом переводил взгляд на меня.

— У речки стояла будка, жила там чудачка-утка! — хихикал он.

— У тебя что — нет чувства юмора? — Его мать схватила меня за руку. — Куда ты?

Я не знала.

— Бантик носила из шелка, перья подрезав на челке...

— Сядь! — велела моя мать.

— Повар услышал беседу...

— Сядь! — велела его мать.

— Утку подам я к обеду!

Он не сводил с меня глаз — приближалась кульминация.

— С противня спрыгнув, чудачка прочь удалилась враскачку! — он сделал театральную паузу и добавил: — В чем же таится здесь шутка?

Заяц то был, а не утка — гласила последняя строчка, которой я уже не слышала. Я тоже знала это наизусть. Я была уверена, что он смеялся слишком громко. Если бы кто-нибудь напомнил ему о существующих правилах, я бы испытала облегчение. Я была в отчаянии, но не смела в этом признаться — я бы только ухудшила свое положение. Они бы сокрушенно покачали головой. Что на нее нашло? Удивлялись бы: такой невинный стишок — неужели ей самой не смешно? Ведь он попал точно в цель, я была чудачкой, разве нет? И разве я не сама захотела ею стать? Чудачкой без чувства юмора. От меня ждали вовсе не этого, а чего ждали — давали понять достаточно ясно. Им хотелось чего-то нормального, то есть более веселого, без чудачеств!

Однажды мне приснился сон: я сижу вместе с ними за столом и одновременно лежала на их самом большом блюде, том, что в мелкий цветочек, рядом с овощным гарниром. Слишком сложно. И все же я предпочитала сидеть у него в комнате.

— Сколько будет восемью восемь? — спрашивал он, доставая шахматную доску.

Я пожимала плечами, не понимая, чего он от меня хочет. Один против одного — я считала, что шахматы, уж во всяком случае, — игра справедливая. Обычно он с легкостью меня

обыгрывал. Если по какой-то причине это удавалось ему не сразу, он начинал нервничать. Разглядывал мои фигуры, потом выбирал себе одну. Просто забирал ее и сжимал в кулаке. До них, сидевших за столом, доносились отдаленные звуки возни и грохот опрокинутой доски.

— Дурак! — кричала я. — Дурак!

Моя мать считала его идеально воспитанным молодым человеком. С ее точки зрения, я вела себя неприлично.

— Немедленно извинись перед ним, — требовала она решительно, входя в комнату.

Я открывала было рот, чтобы все объяснить, но она не желала ничего знать. Не имело никакого значения, что произошло. Она, не раздумывая, отдавала предпочтение форме, ибо только форма была ей подвластна. На власть над содержанием она давно не претендовала: жизнь ее к этому вынудила, одарив содержанием, единственным возможным ответом на которое была беспомощность — однако к такому ответу всегда прилагаются стыд и боль. В исключительных случаях жизнь расклеивала свое содержание на стенах домов в виде двуязычных приказов. Оставалось только не терять присутствия духа, что бы ни случилось. Его мать выглядывала из-за спины моей матери. Она тоже считала, что мне следует извиниться, но вежливо молчала.

Если он когда-либо задумывался, почему ему можно все, а мне — ничего, то не мог не заметить, что доступа к откровенным ответам на подобные вопросы у нас нет. Они находятся вне досягаемости, за исключением одного, гласящего: потому что. Но, может, он привык к своим правам настолько, что никакими вопросами не задавался. Я завидовала его безнаказанности.

Но не больше, чем его частым болезням. Как-то он несколько недель пролежал в постели, и по воскресеньям следили, чтобы я не нарушала его покой. Мне велели сидеть со взрослыми, не разрешали заглядывать к нему даже через замочную скважину.

Из-за этого учительница снова вызвала мою мать в школу.

— У нее есть брат? — спросила она.

— Нет, — ответила мать.

— Она рассказывает, что ее брат умер от воспаления легких.

— Ничего подобного, — сказала мать и поджала губы.

— Я так и думала. Она постоянно врет.

Моя мать рассказывала его матери обо всем, но об этом не рассказала. Ей пришлось оставить это при себе, и она не знала, как избавиться от бремени.

У меня были самые плохие оценки в школе и больше всего опозданий, о чем сообщили на специальной линейке, на которую я опоздала, а потому не смогла лично выслушать официальное объявление, а моя мать узнала обо всем лишь на родительском собрании. Быть может, в этот момент и она почувствовала, что жизнь слишком трудна. Назавтра она спешила на свои занятия и никак не могла меня добудиться. Мать не любила опаздывать и сердилась, что перед уходом вынуждена еще выпроваживать меня в школу.

— Не пойду, — сказала я, не открывая глаз.

Она применила оружие, о существовании которого я не подозревала.

— А может, хочешь пойти на могилу покойного брата? — спросила она, без предупреждения пронзив меня насквозь убийственной иронией.

Ошеломленная, я встала с постели и, отводя глаза, начала одеваться.

Через несколько дней ее снова вызвали в школу, чтобы сообщить, что я кидалась ножками стула. Самая маленькая в классе! Тем больше — если судить пропорционально росту и с учетом пола — было совершенное мною преступление. Мать с трудом могла вообразить себе эту сцену. Она не понимала, откуда у меня взялись силы, чтобы сломать стул, но кивала головой, соглашалась, что я подвергла опасности других детей, признавала, что подобное поведение недопустимо. Сказала только, что сама не понимает и что учила меня другому. Меня вывели из комнаты, где я сидела запертая, и отдали ей. Она повела меня домой. Была зима, мороз. Сумерки опускались рано. Мать молчала.

— Ты бы видела эти стулья, они сами рассыпаются, — я пыталась что-то объяснить, но она продолжала молчать и лишь ускоряла шаги, а я брела за ней вслед, по снегу, в незашнурованных ботинках, едва поспевая.

Дома она даже не сняла пальто — заперла меня в квартире и поехала к ней, его матери. Она пробыла там до самого вечера, вернулась поздно, совершенно успокоенная — теперь у нее имелся план преодоления кризиса. На следующее утро его мать забрала меня к себе. Я провела там неделю. Узнала о существовании одного места на юге Польши, где очень красиво, особенно весной. Никто не заставлял меня ехать туда силой, но добиться моего согласия было проще простого. Я и не подозревала, что растратила весь кредит терпения. И именно поэтому должна исчезнуть. Перегни палку он — хотя такое и представить себе было невозможно, — последствия, очевидно, оказались бы такими же.

Наступила оттепель, и мне показалось, что весна уже близко. Я мечтала, как буду в одиночестве гулять по лугам. Я не опасалась, что кто-то может запретить мне гулять в одиночестве. В этом смысле дома я пользовалась полной свободой. Свобода была самым лучшим, что у меня было, я поняла это, лишь утратив ее. Слово "интернат" пробудило во мне надежду, поскольку в школе мне не удавалось стать частью коллектива. Однако больше всего мне понравилось, что это место так далеко. Его мать предварительно переговорила с ними по телефону.

— ...одиннадцать лет. Немного строгости ей не повредит. Да, упрямая. Дерзкая? Пожалуй, нет. Это упрямство иного рода.

Долгая пауза.

— Нет, они неверующие, — снова раздался ее голос из соседней комнаты. — Да, она может участвовать.

В чем? В религиозных обрядах? Я прислушивалась, лежа на раскладушке в его комнате. Под аккомпанемент его спокойного, сонного дыхания.

В процессе этих переговоров стали ясны сомнения на том конце провода. От меня ждали, чтобы я их развеяла, собственноручно написав письмо сестре-настоятельнице. Я написала это письмо за столом его матери, накарябала ее вечным пером на нелинованном листе бумаге. Линейки бы не помогли, в тетрадях они все равно не служили опорой моим буквам, слова и предложения шли под уклон, словно погружаясь в незримую трясину. В письме говорилось о том, что я учусь хуже всех, опаздываю и постоянно вру. И что хочу исправиться — фраза, заключавшая в себе это признание, казалась мне ключевой. В моей школе еще никому не удалось заставить меня ее произнести. Я чувствовала, что нужно написать еще что-то, но не знала, что именно.

— Что ты рассчитываешь на ее помощь, — подсказала его мать. — Не соси перышко.

Вот именно. Я рассчитывала, что кто-нибудь мне поможет.

Приготовления ускорились. Моя мать купила билеты на поезд. Перед отъездом я вернулась домой. Собрав вещи, я мгновенно уснула и спала как убитая, с легким сердцем, без тревог. На сей раз она, моя мать, мучилась бессонницей. Может, беспокоилась, окажет ли строгость свое спасительное воздействие так просто, как это воображала себе ее сестра, и не выйдет ли дело на новую орбиту, еще более опасную, не окажутся ли концы наших путаных сюжетов в руках посторонних людей, а вместе с ними и мы сами, обнаженные, безо-

ружные перед критикой, сдавшиеся на милость и немилость домыслов и праздного любопытства, более настойчивого, чем она могла допустить. Но она знала, что такого рода беспокойство не перевесит двухсотпроцентную уверенность.

Я проспала. Когда встала, наш поезд уже давно ушел. Моя мать сидела в кухне, спокойно пила кофе и читала газету. Точно так же, как делала бы в вагоне-ресторане.

— Почему ты меня не разбудила? — спросила я.

— Рано утром звонили из этого интерната, просили тебя не привозить, — ответила она. — Там карантин. Из-за гриппа.

Потрясенная, я даже не спросила, что такое карантин.

Пока меня не было, информация о том, что я больше не приду в школу, просочилась за пределы учительской. Но все равно никто не сомневался, что исходит она от меня.

— Опять она наврала, — возмущались отличницы, сидевшие за первой партой. На сей раз они не могли понять, зачем мне это понадобилось, да уже и не пытались.

— Карантин — это такая болезнь? — спрашивали они друг друга.

В карантин не поверил никто, кроме его матери, которой не пришлось объяснять дважды — видимо, когда-то в прошлом они с сестрой уже сталкивались с карантином. В следующее воскресенье его мать уже не вспоминала об интернате — вероятно, потому что за это время моя мать снова обрела равновесие, и хаос жизни перестал казаться ей неохватным. Я раздумывала, знает ли обо всем этом он. Сказали ли ему что-нибудь. Надеялся ли он, что я исчезну, и, подобно моим одноклассникам, теперь удивлен, что снова меня видит. Он не выглядел удивленным. Повел меня в свою комнату. Прежде, чем вынуть шахматную доску, спросил:

— Сколько будет семью девять?

И так из года в год, а годы в те времена были длинными, особенно снежные зимы тянулись бесконечно, лишь в самой темной точке на миг озаряемые сверкающей рождественской елкой — чудесной, если бы общение с родственниками не заставляло ее тускнеть.

Его долей наследства оказались укрепленные линии окопов, а мне досталось открытое пространство. Память о сценах, разыгрывавшихся над опрокинутой шахматной доской, укрепила его веру в собственные права и подорвала мою. Мы уже много лет не играли в шахматы, и теперь у него не было возможности отбирать у меня фигуры. Вместо этого он швырял трубку. Мне хотелось, чтобы он узнал, как я отношусь к швырянию трубки. Но его это не интересовало, он полагал,

что рано или поздно я все равно смягчусь, уступлю и извинюсь. Белый флаг всякий раз должен был развеваться на моей стороне, он настаивал на этом с молчаливым упорством. Захоти я объяснить ему, как отношусь к швырянию трубки, мне пришлось бы выйти на открытое пространство: на собственный страх и риск снова набрать его номер. Он, в своих окопах, вновь положил бы трубку — на сей раз, едва услыхав мой голос. Вместо этого я решила послать письмо. Порядки, установленные в те давние времена, можно скорректировать, подумала я. Попотев немного за компьютером, я написала ему, что имею право выражать свои чувства. Это нельзя запретить ни одному живому существу. Швырять трубку — перебор. Я имею право чувствовать то, что чувствую, даже если в этой семье по каким-то причинам принято считать иначе. Ведь правила можно установить заново, думала я. Нет больше тех, кто их ввел, следовательно, они потеряли смысл. Новые правила должны служить ему и мне.

Назавтра, рано утром, еще в ночной рубашке, я заглянула в почту. Ответа не было, и я подумала, что он не успел прочитать мое сообщение. Через неделю я стала забывать, что чего-то жду. Через две и ему должно было стать ясно, что на сей раз я не сдамся. Но он не ответил.

Что же теперь будет? — ломала я голову. Как это, с его точки зрения, должно закончиться?

А с его точки зрения, это и не должно было заканчиваться. Должно было остаться так, как есть.

Должно было остаться так, как есть, — потому он и написал американской родственнице своей матери, что мы друзья. Не моргнув глазом, поскольку мои чувства уже не имели для него никакого значения. Не выказав должной уступчивости, я лишалась отведенного мне места. Впрочем, рядом уже все равно не было никого, кто мог бы посмеяться надо мной вместе с ним. Американка, так близко дружившая с его матерью, для этого не годилась. Ведь пришлось бы следить, чтобы она не узнала о нас слишком многого.

Для общения с родственниками я сделалась непригодна много лет назад. Еще школьницей начала избегать этих визитов. Со временем появлялась все реже и на вопросы отвечала уклончиво. Я не сжимала кулаки, не повышала голос. Им было со мной неуютно. Словно в семью прокрался кто-то посторонний, переодетый мною — чтобы никто не догадался. Они были убеждены, что именно в этом проявилось пагубное влияние моего мужа.

— Ждет ребенка, — говорили они, если кто-то обо мне спрашивал, довольные, что могут ответить хоть что-нибудь,

ведь признаться в том, что не знаешь, — означало прокол — худший из возможных.

Тогда, за несколько месяцев до родов, они снились мне почти каждую ночь.

— Покажи, что там у тебя, — говорили они.

— Младенец, — отвечала я, крепко прижимая его к себе.

Он забирал у меня сына и передавал своей матери. Я ничего не могла поделать, ведь младенец был таким хрупким.

— Собачка! — улыбалась она. — Какая забавная.

— Собачка! — хихикая, вторил он. — Она родила собачку!

И отдавали мне запеленутого щенка.

Общение с родственниками осложнилось. Мой муж не был принят в лоно семьи, во всяком случае, на приемлемых для него условиях. Он не смеялся над шутками вместе со всеми. Мои родственники могли счесть это невоспитанностью. Он, как некогда мой отец, остался вовне, но, не будучи иностранцем, не мог рассчитывать на снисхождение. Однако в первую очередь от общения с родственниками я уклонялась из-за детей.

Тридцатилетний сын своей матери уже не взглядывал на нее, чтобы знать, когда следует заткнуть уши. Он успел освоить все приемы, необходимые для того, чтобы без ее помощи следить за соблюдением навязанных мне правил. Но с тех пор, как у меня появились дети, я стала задумываться также о том, чему они от меня научатся. Искусству поджимать хвост? У него детей не было, и он этого не понимал.

Общение с родственниками ограничивалось уже только тем, без чего увяло бы окончательно. Пасхой и Рождеством. Словно позабыв о том, что это мои дети, родственники позволяли им бегать и орать вволю, пока, выдохшиеся от собственных безумств, они не валились на диван. Оказывается, крики никому особенно не мешали. Однажды после пасхального завтрака его мать согнала с колен пса, чтобы освободить место для моего рыжего ребенка. Спаниель поджал хвост и уселся неподалеку, не сводя с нее взгляд, исполненный боли и тревоги: его мир рушился на глазах.

— Ревнует, — сказала она.

И поглядела на него с ироническим прищуром. Ревность спаниеля не вызвала в ней сочувствия. Разве что жалость. Казалось, она рада, что не является таким злосчастным клубком чувств, как ее пес. Пес молча рассчитался с моим младшим сыном в темном углу коридора. Тот прибежал, потрясенный. Его предал друг, это было больнее всего. Потеряв дар речи, он даже забыл расплакаться.

— Быть этого не может, — сказала она, глядя на его руку со следами собачьих зубов. Жизнь не стала бы такой до смешного простой, как ей хотелось, не умей она приструнить также и факты. — Ребенка он в жизни не укусит. Посмотри, мне кажется, это старые царапины.

Она отправила меня в ванную за аптечкой, где были спирт и пластырь — на всякий случай, перевязать младшего, и, пока мы этим занимались, посадила на колени старшего.

Мой муж догадался, что надо сделать. Он поднялся с кресла и погладил пса.

В Сочельник общение с родственниками сияло огнями рождественской елки.

— Что здесь написано? — спрашивал он, сын своей матери, глядя, как дети распаковывают приготовленные им подарки.

— У... у... т... — заикался мой старший сын, напряженно вглядываясь в разноцветную обложку. Он не мог сдвинуться с мертвой точки, буквы заслоняли слово. — К... к...

Мы прекрасно знали, что в свои шесть лет он бегло читает вслух.

— Утка, — подсказал сын своей матери. — А дальше?

— Ч... ч...

Мой старший сын отложил книжечку и, очнувшись, поднял глаза.

— Сколько будет сто семнадцать умножить на пятьдесят четыре? — вдруг спросил он.

Сын своей матери приподнял брови, показывая, что не понимает, чего от него хотят.

— Шесть тысяч триста восемнадцать! — выпалил мой младший сын, прыгая по дивану.

Однако беспорядок был меньше, а дети — спокойнее, чем мы опасались. Они ни разу не перевернули ни елку, ни даже стул, не разбили ни одного шарика. Не стянули на себя скатерть вместе с сервизом, что — как все мы прекрасно помнили — произошло в свое время, в весьма нежном возрасте, с ним. Самая большая сложность заключалась в том, что дети изменили расстановку сил. Если бы он только мог, он бы схватил их, как коня и ладью, и, зажав в кулаке, дожидался вмешательства высшей инстанции.

Болезнь моей матери началась со странных воспоминаний.

— Когда же это было? В начале пятидесятых, не раньше. Рынок уже восстановили. Какие-то люди выследили эсэсовца в черной форме с отпоротыми знаками отличия. Поймали

его и куда-то повели, а следом тянулась огромная толпа. Я видела этого человека, у него был сломан нос, на лице кровь. И его застрелили, прямо там.

Она вспомнила даже сломанный нос. Я встревожилась.

— Но откуда он там взялся, спустя столько лет после войны? — спросила я.

Она понятия не имела.

— И никто не вмешался? — допытывался мой муж.

Нет, в ее памяти не нашлось службы, которая могла бы разогнать эту толпу. Пока что там не было ни Гражданской милиции, ни Корпуса внутренней безопасности и даже камеры, куда прокурору полагалось заточить эсэсовца вплоть до судебного процесса.

— У гражданских было оружие? — уточнила я.

— Кажется, его застрелили из его собственного пистолета.

Это успокоило меня не больше, чем если бы она утверждала, будто они были вооружены до зубов.

— И ты видела эту казнь?

Нет, она не захотела на это смотреть. Она шла в противоположную сторону, вернее, протискивалась против течения по Свентояньской и Замковой площади.

— Эсэсовец? Так она сказала? Не верю, — заявила его мать, когда я рассказала ей об этом по телефону. — Вы всё придумали.

Нам удалось уговорить мою мать пройти обследование.

— Не валяй дурака! — узнав об этом, сказала его мать моей, впервые таким резким тоном.

Факты начинали выходить из-под контроля, ей пришлось приложить все силы, чтобы призвать их к порядку. Чтобы в жизни моей матери, а следовательно, и в ее собственной, не зародилась предательская беспомощность. Всем нам стало ясно, что есть болезни, с которыми она не смирится ни за что на свете. Но день обследования был уже назначен.

— Все в порядке, — сказала моя мать, вернувшись. — Это не то.

Лишь тогда его мать успокоилась.

Странных воспоминаний тем временем делалось все больше — сегодня одно, завтра другое. Они склеивались в диковинный слоеный пирог или сталкивались лоб в лоб и сходили с рельсов, точно поезда, следующие по одному и тому же пути в противоположных направлениях. Долгое время невозможно было понять, откуда они берутся. Моя мать снова скрывала тайну. Однажды я пришла помочь убрать в квартире и за тарелками в буфете обнаружила пузырек с незнакомым мне лекарством, нераспечатанным, но давно уже просроченным. В аптеке мне

объяснили, в каких случаях его принимают, потом я названивала по разным телефонам, пытаясь выяснить, где был поставлен диагноз и выписан рецепт. Выяснила и покаянно выслушала нагоняй: мать не пришла на повторное обследование, столько времени прошло, как я могла позволить ей так запустить лечение? Мы пытались все наверстать, хотя, в сущности, было уже поздно. Его мать наблюдала за нашей суетой раздраженно, в полной уверенности, что новые лекарства только вредят. Из-за них моя мать начала худеть и якобы весила уже ровно столько, сколько сразу после освобождения из лагеря — его мать упорно это подчеркивала. Она полагала, что вредит также моя помощь — я следила за посещением врача и оплатой счетов. Она все спрашивала, с какой целью я внушаю им с матерью, будто она страдает этой болезнью — ведь диагноз тогда исключили, откуда у меня эти рецепты и зачем я вообще вмешиваюсь. Суровые взгляды на меня не действовали. Все это было совершенно на меня не похоже, зато напоминало поведение моего мужа, о котором — кроме того, что за воскресной шарлоткой он невоспитанно молчит, отказываясь смеяться вместе со всеми, — родственники знали немного. Мой демарш становился чуть понятнее, если предположить, что, полностью и бескритично подчиненная его воле, я осуществляю некий коварный план.

— И тебе, и мне прекрасно известно, что никакого врача не существует, — парировала она, когда я предлагала с ним поговорить.

— Рискни, — сказала я. — Хоть разок проверь эту свою двухсотпроцентную уверенность на прочность, и убедишься, что она не имеет ничего общего с реальностью.

— В чем ты меня обвиняешь? — помолчав, обиженно спросила она.

— Я уговариваю тебя встретиться с врачом.

— Мне показалось, ты сказала что-то другое. На что ты намекаешь?

— Чтобы ты туда пошла.

— Ну хоть не ври, — сказала она и повесила трубку.

— Если ты не перестанешь действовать мне наперекор, — говорила я его матери в разных ситуациях, — то лучше вообще не приходи.

Я прекрасно знала, что моей матери сестра дороже всех на свете, и не рассчитывала, что она перестанет приходить. Скорее надеялась, что это заставит ее задуматься, и полагала, что тогда, наконец, можно будет все обсудить. Оказалось, что нельзя. Почтальон принес мне повестку в суд. Она не могла поступить иначе, меня следовало срочно остановить, некогда было выбирать

средства, поскольку состояние ее сестры под моей опекой ухудшалось с каждым днем, с каждой неделей. Оно действительно ухудшалось, я сама это видела. Однако судиться — это было на нее не похоже. Как и она, я предположила влияние третьих лиц. Ей ведь давали много советов. Каждый готов был помочь, услыхав, сколько весит моя мать. Исключительная ситуация требует исключительных средств, думали друзья. Быть может, у кого-то нашлись родственники-юристы. Судя по тому, что на сей раз советы принимались, а не давались, она не была так упряма, как мне казалось прежде. А может, в самом деле теряла почву под ногами. Во время слушания судья просмотрел медицинские документы и спросил, разговаривала ли она с лечащим врачом.

— Нет никакого врача, — заявила она спокойно.

Врачу она позвонила после того, как проиграла процесс. Эта встреча что-то в ней переломила. Она не хотела рассказывать, но мне стало очевидно, что она сдалась. Кроме облегчения, я ощутила смутное беспокойство. Знала, что будь она в лучшей форме, не смирилась бы ни за что на свете.

Болезнь его матери началась через два года с внезапной слабости. Я узнала об этом не сразу: важную информацию оба имели обыкновение держать под строгим контролем. Лишь пару дней спустя стало ясно, что без моей помощи не обойтись. В понедельник раздался звонок. Это был он. Просил меня после обеда зайти в больницу.

— Я был вчера и позавчера, — проговорил он севшим голосом, — но сегодня не могу.

И продиктовал мне список того, что надо принести. Я дрожащими руками укладывала вещи в большую сумку. Теперь она тоже умрет, как и моя мать, думала я.

Его мать вовсе не опасалась, что может умереть. Ей это даже не пришло в голову. Зимой она собиралась за границу, на юг. А пока лежала в трехместной палате, на средней кровати. Увидев меня на пороге, отложила книгу.

— Какая-то проблема с составом крови, — чуть насмешливо ответила она на мой вопрос. — Белых телец слишком много, красных слишком мало.

Больны результаты анализов, а не она. Что касается ее, она чувствовала себя вполне прилично, и я поверила, что все будет в порядке. Из подвешенной на штативе бутылки что-то капало в прозрачную трубку, на конце которой была игла, воткнутая в синюю вену на тыльной стороне ладони. Она смотрела, как темнеет за окном.

— Я говорила тебе, что видела, как бомбили Дрезден? — заговорила она.

Ее молчаливая соседка на мгновение приподняла тяжелые веки.

— Нет. Не говорила.

— Видела в окно, такое же, как это. Я тогда тоже лежала в больнице.

Этот лагерь не был плохим. Он был самым лучшим из тех, через которые она прошла. Больных не убивали, им давали отдохнуть или спокойно умереть. Там делали крылья для немецких истребителей. Склады лопались по швам, самолетам больше не требовались крылья, фабрика не забирала заказы. Узники голодали, но за все те месяцы, что его мать там пробыла, никого не избили и не унизили. Лагерь находился далеко за городом — несколько высоких зданий из красного кирпича, окруженных колючей проволокой. Лежа с температурой, она смотрела в окно на фейерверки, озарявшие ночное небо. Грохот по пустому пространству несся такой, словно кто-то включил на полную мощность сразу все регистры музыки сфер. Она не видела ни стекол, становившихся мягкими, словно воск, ни сорванных стропил, которые огненный вихрь кружил высоко в воздухе, ни пальто и шляп, горевших на дрезденцах, которые выбегали из раскаленных докрасна убежищ и беспомощно вязли в расплавленном асфальте. Ада она не видела — лишь небо, испещренное вспышками и освещенное кроваво-красным заревом.

— Красиво, — вспоминала она. — Сколько же в нем было надежды.

Ей удавалось выходить целой и невредимой из передряг похуже, чем та, в которую ее загнали результаты анализов, жизнь была сохранена и дарована ей, все опасности давным-давно преодолены. Надо только встать на ноги. После понедельника наступил вторник. Во вторник слабость усилилась, она не могла даже сидеть на кровати.

— Боюсь, что на юг я зимой не поеду, — сказала она в среду.

И молча смотрела, как я вынимаю из сумки и ставлю в тумбочку пакеты с соками. Пересчитывала? Сомневалась, успеет ли их выпить? О будущем она говорить не хотела. Скорее уж о прошлом. В четверг она вспоминала его детство — он был таким обаятельным, таким милым ребенком — и свой брак. Лучшее, что случилось в ее жизни.

— У меня была хорошая жизнь, — сказала она, не замечая прошедшего времени, как-то незаметно вкравшегося в эту фразу.

Но потом она начала припоминать и другое: рассказала мне о Фране, служанке, которая была у них в Лодзи до войны.

Девочкой она очень любила Франю. После войны они виделись только однажды, коротко.

— Я уехала в Варшаву, — объяснила она. — Училась. Занималась множеством разных дел, большей частью всякой ерундой. А о Фране забыла.

Она молча погрузилась в горечь этого забвения. Я держала ее за руку и горечь перешла ко мне. Я бы отыскала Франю, чтобы сказать ей, как сильно моя тетка сожалела, что давно о ней забыла. Но она не могла вспомнить фамилию. В их доме Фране фамилия не требовалась.

— Боюсь, что ее уже нет в живых, — подумав, с тенью удивления в голосе добавила она. — Ей было бы за девяносто.

В пятницу стали известны результаты всех анализов и был поставлен диагноз. Если бы она не могла расстаться с надеждой, можно было бы испробовать какие-то другие средства вроде пересадки костного мозга. Она и слышать не хотела о пересадке костного мозга. Выписавшись из больницы, вернулась домой, где ее, наконец, оставили в покое. Смертельно усталая, она лежала на специальной кровати со специальным матрасом. Дышала с трудом, из носа торчала кислородная трубка. Жизнь докучала ей и раздражала, как никогда прежде. Она была разочарована: на поверку мир оказался еще более легковесным, чем она думала. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что он не вполне настоящий, а выдержка ничего не давала, это было уже ни к чему. Смех один! — говорил ее взгляд. Но чтобы действительно засмеяться, нужны хоть какие-то силы.

Разговаривать ей тоже уже не хотелось.

— Не думала я, что все так глупо кончится, — сказала она, разом закрыв все темы.

Столовая ложка выскользнула из руки и упала на пол. Слишком тяжелая. Но его мать не желала, чтобы ее кормили. Жестом показала, что категорически против. О кормлении не может быть и речи. Впрочем, голода она не чувствовала. Я все настаивала, чтобы она поела, — пока, наконец, не опомнилась, заметив сверкнувшую в ее глазах знакомую иронию.

И я все еще не понимала, что правила были придуманы не для меня. И по-прежнему не догадывалась, кому они были жизненно необходимы.

О туннеле я узнала уже после ее смерти. Это история недатированная, из третьих рук. Поезд въехал в туннель, но свет не зажегся. Обычно в какой-то момент туннель внезапно заканчивается, но этот, казалось, не имел конца. Он вел непонятно куда, во тьму, в пустоту. Конечно, она держала нервы в уз-

де — пока могла и даже дольше. Потом начала задыхаться. Наконец встала и, в отчаянии дернув, открыла окно. В купе ворвался живший в туннеле холодный ветер, подхватил шуршащие полотнища газет и принялся листать их — туда-сюда, туда-сюда, — а поезд с грохотом мчался дальше — в темноте, без цели и направления, не было даже уверенности, что под колесами по-прежнему рельсы, а под рельсами — земля. Крика, исторгнутого ее горлом, она, быть может, не услышала вовсе. Вероятно, он был ужасен. Прибежал проводник в форме, кто-то подхватил ее, кто-то кричал: "Воды!", кто-то бросился искать по соседним купе врача. Сквозь стиснутые веки она не могла увидеть облака, вновь спокойно плывшие над полями, крик заглушал звучавшие рядом человеческие голоса.

Этот крик стоит у меня в ушах. Я слышу его внутри себя, словно это кричала я.

II

Моя мать скрывала тайну, а потому не любила ничего объяснять посторонним. Тайной являлось то, что она пережила и что не желала пережить еще раз, даже в воспоминаниях. Увы, оно цеплялось за любую повседневную мелочь, словно неведомо откуда взявшийся обрывок колючей проволоки. Она не любила ничего объяснять, жизнь однако была устроена так, что избежать объяснений вовсе оказывалось невозможно. Например, матери приходилось без конца объясняться в моей школе.

— Я не понимаю, почему она все еще путает буквы, — говорила ей наша учительница. — Пожалуйста, приймите меры.

Моя мать передала это его матери — слово в слово, и обе улыбнулись, впрочем, его мать улыбнулась беззаботнее, чем моя, поскольку он, ее сын, букв не путал. Это было единственное, что мать могла сделать, чтобы отплатить за тон, которым к ней обращались и который ее не устраивал. Претил именно тон, а не выговор — память о Кресах[1]. Тон был навязан сверху, властями, которые приучили к нему всех нас. Он ощущался в каждом публичном выступлении — тон нагоняя младшему от старшего, тяжелый, словно испарения насилия,

1. Восточные Кресы (от польского слова "kres" — граница, конец, край) — польское название территорий нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав межвоенной Польши. После войны большая часть польского населения этих территорий была репатриирована в Польшу. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

которые в любой точке на карте нашей страны неизменно стекали сверху вниз. Если что-то и поднималось вверх, то очень редко, тайком, во вздохах, исполненных ощущения смехотворности того, что там, наверху, находится. Стекавшее сверху вниз пренебрежение могло и не ощущаться, даже если ты вдыхал его ежедневно. Полузадушенные, люди благодарили за него аплодисментами, откровенность которых исчислялась в минутах — всегда слишком мало. "Кресовый" же выговор ассоциировался у властей с прежними порядками, а прежние порядки — с временами, когда руководили другие, почему и пробуждал естественные подозрения. Словно кто-то зловредный напоминал властям, что они не единственны и не вечны, в то время как сами они пытались убедить нас в обратном. "Кресовый" выговор власти не любили и лишь вынужденно с ним мирились. Свое презрение к бедным и простым людям они старалась скрыть, поскольку именно на интересы этих людей ссылались, прижимая к ногтю всех и каждого. Власти не доверяли ностальгическим настроениям и местному колориту, разве что те подавались в стерильной и инфантильной версии — вкупе с народными танцами и костюмами.

В тех местах, где выросла учительница, — мать предполагала, что это, скорее всего, Пултуск или Остроленка, — выговор у всех был одинаковый. К нему привыкали, как к воздуху — он ведь невидим. Моя учительница так и не избавилась от предательского выговора, не догадываясь, что речь ее разоблачает. Словно иностранка, уверенная, будто блестяще владеет языком, тогда как всякий сразу понимает, откуда она родом. Выговор, вывезенный ею из дому, выплескивался даже на зеленоватые квитанции, которые она выдавала, собирая взносы в родительский комитет. Она вычеркивала слова "Касса выплатит" и от руки дописывала: "Касса приймет", не замечая бестактной буковки "й", так же, как я была не в состоянии разглядеть орфографические ошибки в своей тетради, хоть учительница и подчеркивала их красными чернилами. Кроме этого выговора, в ней не осталось ничего ностальгического и никакого местного колорита. Она сильно красила глаза и носила узкие юбки выше колена. У нее был муж, дочка примерно моего возраста, и наверняка имелись собственные проблемы, но — обычные, не такие, как эти, не такие! Не такие, как эти! — воскликнула бы она возмущенно, если бы ей пришлось объясняться перед кем-нибудь вышестоящим. Я вызывала у нее изумление, раздражение и где-то в глубине души — проблеск удовлетворения: у нее-то ребенок не такой. У нее, к счастью, ребенок был совершенно дру-

гой — перед людьми не стыдно. А мою мать то и дело вызывали в школу. Она шла по выкрашенному масляной краской коридору, мимо стенгазет и выставки наших рисунков, темы которых чередовались с календарной регулярностью: осенью — победа Октябрьской революции, зимой — освобождение Варшавы, весной — Первое мая. Все вокруг было пропитано незримыми и неосязаемыми испарениями насилия. Учительница разговаривала с моей матерью в коридоре. Потом звонил звонок на перемену, и они поспешно заканчивали беседу, уже в толчее и гаме. Мать знала, чего школа от нее добивается: чтобы она взяла на себя бремя моих поражений. Ведь я была тем, что она передала школе, представительницей нашего дома, ей бы не позволили так легко от меня отречься. У каждого фиаско должен быть виновник — пусть стоит рядом, вытянувшись по стойке смирно, словно арестант, нравится ему это или нет, и сгорает от стыда. А мать не желала. Они бы даже не возражали, если бы она расплакалась, подтвердив тем самым, наконец, что у нее куча проблем и дома неладно. Ведь достаточно взглянуть на этого ребенка, чтобы понять: проблемы есть. Мать никогда не плакала. Сколько я ее помню, ни слезинки — ни тогда, ни потом, — даже дома, а уж в школе и подавно.

Ей случалось вскрикивать во сне. В этом было все и дело: что-то время от времени снилось обитателям нашего дома, что — неизвестно. Возможно, черные мундиры, как на том эсэсовце, которого застрелили из его собственного оружия. Черные мундиры? Учительницу не проведешь. Она свое знала, так что ее могло удовлетворить только конкретное несчастье, желательно такое, какого ей самой удалось счастливо избежать — быть может, разминувшись на волосок. Раз мать не хотела плакать, оба — учительница и директор школы — были вправе рассчитывать, что она хотя бы покорно выслушает советы. Советы сыпались, как из решета, неважно какие. Важно было то, как их принимают: с доверием ли и должным почтением. Матери все они были давно известны, поскольку первыми приходили в голову. Следить за тем, чтобы ранец был тщательно собран и чтобы в тетрадях было все, что полагается. Если что-то все же окажется не в порядке, это уж вина одной только матери — значит, она пренебрегла советами. Но как добиться, чтобы в тетрадях было все, что полагается? Не самой же в них писать! Таких советов мать наслушалась выше крыши, они не могли помочь и не затем давались: ритуал представлял собой привилегию одной из сторон и был призван прежде всего напоминать об их неравенстве. От матери добивались того же, чего требовали от

всех матерей, — чтобы она поспешно это неравенство подтвердила. Но даже испытай к ней кто-нибудь искреннее сочувствие, она не сумела бы его принять. Мать не желала сочувствия, этого липкого клейстера, в котором того и гляди увязнешь по уши, она не могла допустить, чтобы сочувствием ее удерживали там, откуда она уже почти сумела выбраться.

Опасаться ей было нечего. Сочувствия после войны едва хватало для убитых. Да, это было ей на руку, она не желала, чтобы кто-то ее оплакивал, и уж точно не там. Приходилось мириться с тем, что ее заставляют выслушивать истории очередных моих провалов. Она была готова бесстрастно признать, что ребенок трудный. На большее рассчитывать не стоило, даже под дулом пистолета. Мать скрывала тайну, и в школе не было никого, кому она захотела бы довериться. Она возмущалась, когда ее обвиняли в моем вранье, и особенно — когда напоминали о моем знаменитом приступе ярости. Школа не желала понять того, что для матери было очевидно: мои дела — не ее дела и отвечать за них она не намерена. Мать надеялась, что этот мой приступ ярости в конце концов забудется, как все прочие скандалы, которые потом затмили следующие. Но приступ ярости школа ни проглотить, ни переварить была не в состоянии.

— Это которая же из вас кидалась ножками от стула? — спросила сторожиха, открывая после уроков раздевалку.

Она обо всем узнавала последней. Одноклассники, хихикая, показывали на меня пальцем. Вахтерша тоже засмеялась — я ведь была самой маленькой. С тех пор как я сделала то, что сделала, в школе были разбиты два окна и лампа, виновников найти не удалось никому, даже молодому учителю русского, считавшему себя специалистом по криминальным загадкам, которые он разгадывал одну за другой, словно дотошный следователь. Но разбитые окна и лампа — это другое, тут все были единодушны.

— Подумать только, чтобы девочка так себя вела! — твердили учительницы. Ладно бы мальчик, это им было бы легче понять и переварить.

Матери забеспокоились.

— Чудо, что она никому голову не разбила, — переговаривались они между собой.

Спинка, сиденье и ножки стула стояли, прислоненные к стене, в углу класса продленки, словно памятник скандалу. Неприятное состояние выжидания затянулось на многие недели, все помнили о моем проступке и предвкушали финал — меня все еще не наказали. Но исключительно потому, что руководство школы никак не могло подобрать наказание. Если бы

речь шла о мальчике, ему бы влепили единицу по поведению. Единицу по поведению мои родные проглотили бы с легкостью — оценкам особого значения не придавалось. Но для девочки этого было мало. Они требовали от матери невозможного, и прекрасно об этом знали. Требовали обещания, что такое больше не повторится. Мать чувствовала себя в западне, она не умела защищаться от такого рода насилия. Именно тогда, после долгих бесед с его матерью, она задумалась о каком-нибудь радикальном средстве. Без риска оскорбить врачиху из районной поликлиники: "Не надо учить меня медицине". Они ведь были обидчивы, эти врачихи, стоявшие на запасных путях, в то время как их коллеги делали карьеру в клиниках. Мать хотела, чтобы ей помогли, но без скандалов, без праздных вопросов и неудобных ответов. Моя медицинская карта никак не защищена, утечка информации может случиться в любой момент, и та вдруг всплывет в школе, в самый неподходящий момент, застав мать врасплох. Врач, которому она позвонила, был ее приятелем по студенческим временам. Мать знала, что может ему довериться. Приятель оказался человеком добросовестным и назначил обследование. В результатах кое-что его насторожило. Это еще ничего не значит, ободряюще сказал он матери. Те или иные сбои случаются даже у людей, функционирующих безупречно.

Мать осталась в коридоре. Все, что представлялось ей важным, она уже рассказала врачу по телефону. Мы беседовали в его кабинете, за закрытой дверью, из таблички на которой явствовало, что он является ординатором отделения неврологии. Он расспрашивал меня о разных вещах, в частности, о ножках от стула. Пытался понять, почему я сделала то, что сделала. Я же пыталась увильнуть от признаний. Иначе пришлось бы рассказывать слишком много, а рассказывать я не очень любила, особенно об этом. Причина была очевидной: не сумела вовремя остановиться. Мне было меньше терять, чем другим, и я была более дикой. Я не надеялась, что врач это поймет. Я не сказала ему, как меня обзывали, постеснялась. Сестра моей матери считала, что я должна относиться к этому с юмором, смеяться вместе с обидчиками, тогда они сами увидят, что я не гожусь на роль жертвы. Ее советы не могли мне помочь. Прозвища не казались мне смешными. Врать — но не притворяться.

Я пожала плечами.

— Не знаю, — ответила я врачу.

Не пожимай плечами, когда разговариваешь с взрослыми, вставила бы моя учительница, окажись она рядом. Врач на всякую ерунду не отвлекался. Он спросил, первый ли это

подобный случай. Случай не был первым. Тогда, при других обстоятельствах, обошлось без скандала. Не ори, ты не в лесу, сделала мне замечание чья-то мать в чужом дворе. Жалко, сразу подумала я, ясно же, что в лесу лучше. Я почувствовала: вовне меня нет места тому, что не умещается внутри. В любом случае, то, о чем он спрашивал, уже случалось раньше.

— И тогда ты тоже не знала почему? — уточнил он. — Тогда тоже.

В результате ему пришлось согласиться с матерью: мои приступы ярости беспричинны и никак не связаны с происходящим вокруг. Они случаются ни с того ни с сего. Лекарство от этого недуга существовало, и мне начали его давать. Это было сильное средство, но все же, как сказала, понизив голос, по телефону моя мать его матери, меньшее из двух зол. Иногда я засыпала, положив голову на парту, и спала, пока меня не будили, — за исключением этого, все было в порядке. Время от времени мать вызывали в школу.

— Она спит на уроках, — жаловалась учительница, но без прежней настойчивости.

Она понимала, что может показаться, будто уроки скучные. Они и были скучными — скучными, как не знаю что. Приятель моей матери поменял лекарство на другое, аналогичное. Приступы ярости больше не повторялись, мы все освободились от них раз и навсегда, а вместе с ними навеки избавились от девочки, сломавшей стул. Я даже не заметила, как она исчезла — один из многих персонажей, с которыми мне приходилось иметь дело, не более того. В хаосе своей жизни я могла прозевать чье-нибудь исчезновение. Порой, по привычке, меня еще тянуло огрызнуться, посопротивляться. Но не было сил.

Отца в школу не вызывали, да его никто и не знал. Они никогда с ним не общались: отец не ходил на родительские собрания. Строчка в дневнике, предназначенная для его данных, осталась пустой — только диковинно звучащие имя и фамилия. Дело в том, что я не могла принести справку с его места работы — на соответствующем бланке, заверенную отделом кадров. Все взрослые работали, обычно они состояли на государственной службе, в одном и том же учреждении до самой пенсии. Порой взгляд кого-нибудь из учителей цеплялся за незаполненную рубрику и тогда раздавался вопрос: где работает отец? Я молчала. С первых парт доносился шепот: “Она даже этого не знает!” Только в первый раз я по наивности ответила — назвала по-итальянски культурный центр при посольстве. Я слыла вруньей, так что все покатились со смеху. Все, включая учителя русского языка, славившегося свои-

ми настойчивыми расспросами. Отец в моей школе пользовался привилегией несуществования, а она давала возможность не принимать к сведению то, что там происходило.

Девочка, сломавшая стул, перебралась жить в лес. Она поселилась в просторной и удобной берлоге, вероятно, медвежьей, и спала в ней на подстилке из сухих листьев. Она не взяла с собой ни тетради, ни будильник. Питалась лесными орехами, как белка. Орехи колола камешками. В лесу никто не запрещал кричать, но, с тех пор как она туда переселилась, кричать не стало ни причины, ни желания. Обо всем этом я узнала из раскраски, которую мне привезли из Милана. Я любила ее разглядывать, потому что в ней не было букв. По лесной тропинке шла девочка, одетая в мое зеленое платьице. На другой картинке сидел лис. У него были веселые глаза, и он вызывал у меня доверие. Я пожелала ей, чтобы у нее был такой друг. Подумала, что надо их познакомить, и на уроке рисования нарисовала обоих в альбоме. Держась за руки, они шагали среди деревьев, улыбающиеся и похожие друг на друга почти как две капли воды — почти, но не совсем: за лисом волочился утопавший в мокрой зелени рыжий хвост. Моя картинка, как всегда, оказалась не по теме. Она не имела никакого отношения к освобождению Варшавы. Поэтому я смогла забрать ее домой и поставить на стол, за которым делала уроки.

Лис считал, что не стоит огрызаться и сопротивляться. Ему случалось убегать, держа в зубах украденное из курятника при лесничестве яйцо, — так, что пыль стояла столбом, — но не потому, что он боялся. Он ничего не боялся. Лис убегал из соображений здравого смысла: лесничий брал двустволку и стрелял в него. Лис был убежден, что бегство — более эффективное решение проблемы, чем если бы он начал сопротивляться, это просто-таки мгновенная победа. Не сопротивляясь, он получал возможность уберечь яйцо и съесть его в кустах. Он не чувствовал себя виноватым, совесть его была чиста, ведь он был лисом. Не он придумал курятник, яйца и двустволку.

— Хорошо быть лесным зверем, — говорил лис. — Не приходится выполнять ничьи поручения, просто бегаешь по лесу по своим делам, а дела эти настолько нехитрые, что ничего не перепутаешь. И нет риска устремиться к чему-то большему.

Уроки лиса помогали мне каждый день.

В течение довольно долгого времени я каталась после школы на автобусах — вместо того чтобы дожидаться возвращения матери на лестничной клетке, поминутно включая свет, который гас автоматически, а потом, сдавшись, сидеть на ступеньках в темноте до самого вечера. В автобусе было

тепло, а город за окном можно было разглядывать, как на экране кинотеатра. Я видела мост, парк и Дворцы культуры, которые поначалу все никак не могла сосчитать. Я озиралась, взбудораженная и изумленная. В моей жизни все это было, словно неизвестные и неиспользуемые активы. Ближе к вечеру в автобусе зажигался свет, и не гас то и дело, как тот, на лестнице. Благодаря автобусам, я совершила просто-таки цивилизационный скачок. Начала интересоваться временем. Научилась спрашивать прохожих, который час. График работы матери на неделю я знала наизусть, лучше, чем собственное школьное расписание. Автобусы мне нравились, но под вечер, когда было из чего выбирать, я предпочитала дом.

— Где ты была? — спрашивала мать, если я опаздывала.

— В библиотеке, — отвечала я, не моргнув глазом.

Мать хорошо знала, что читаю я с трудом, но все же верила. Сидение в библиотеке казалось ей чем-то естественным.

Зимой темнело рано. В конце каждой моей экскурсии окно автобуса превращалось в мутноватое запотевшее зеркало, и в нем можно было разглядеть уже только нечеткое отражение толпы пассажиров. Тогда я начинала наблюдать за людьми. В автобусе мог оказаться кто угодно, например, плохо одетый беззубый человек, поносивший государственную власть. Ничего ему за это не было, в документах у него значилось, что это безобидный сумасшедший, а если даже он таких бумаг и не имел, то ведь действительно был сумасшедшим, и все знали, что ему позволено делать то, что другим запрещается. Идеи, которые высказывали такого рода пассажиры — всегда немного шепелявившие, — нельзя было услышать ни в школе, ни по радио. Окружающие молчали, кроме тех моментов, когда накопившееся раздражение внезапно взрывалось скандалом. Парень со скрипкой в футляре слегка покачивал головой, в которой играл оркестр. Женщины с сумками, набитыми зеленью и костями для бульона в серой бумаге — с пятнами жира и крови, — стояли на отекших ногах, держась за поручни опухшими пальцами, с которых с трудом снимались обручальные кольца. Худой мужчина в тиковом костюме сидел у окна, упорно притворяясь, будто никого не видит, и рассматривал свои грязные ногти. Когда автобус поворачивал, люди падали друг на друга. Порой я выходила на первой попавшейся остановке, просто из любопытства — какие тут дома и найду ли я дорогу обратно. Кто-то сказал моей матери, что видел меня на окраине, на Белянах.

— Быть такого не может, — ответила она. — Как бы она там оказалась? Откуда у нее деньги на билет?

Ниоткуда. Билет я никогда не покупала. В давке, большей или меньшей, со своим вечно сонным и не слишком смышленым взглядом, я преспокойно протискивалась мимо контролеров в безопасное место. Люди не очень наблюдательны, говорил лис и не ошибался. Мне было одиннадцать лет, а выглядела я на девять. Не я придумала ключи от квартиры и деньги. Ключи я забывала, денег мне не давали. Совесть моя была чиста. Я не чувствовала себя виноватой.

Однажды по дороге в школу я увидела таксиста, которого знала в лицо. При встрече мы всегда обменивались парой слов.

— Как дела? — спросил он, на мгновение перестав копаться под капотом.

— Так себе, — сказала я. — Слишком много проблем.

— У меня тоже, — ответил он.

Я не понимала, какие проблемы могут быть у взрослых. Ведь они не ходят в школу. Я собиралась спросить его об этом, но тут появилась школьная учительница, которая дружила с нашей. Надо подождать, пока она пройдет мимо, подумала я. Но она остановилась. Молча схватила меня за воротник и довольно грубо подтолкнула вперед. Я сразу все поняла. Да, я опаздывала, и порядочно. Но вместо того, чтобы сломя голову мчаться в школу, болтала на улице с взрослым. Ладно бы еще с ребенком.

Однако на сей раз дело было в другом.

— В школу на такси! Неслыханно! — возмущались учителя.

Новость быстро просочилась за пределы учительской. Дежурные, которых посылали туда за журналом, разносили сплетни. На третьей перемене мой класс гудел: она собиралась ехать в школу на такси. Новый скандал на мгновение затмил предыдущий, все еще остававшийся незавершенным.

— Что ты себе позволяешь? — спросила разъяренная учительница, когда прозвенел звонок.

Я клялась, что у меня и в мыслях не было ехать в школу на такси, я ведь не настолько спешила. Каждое слово только ухудшало мое положение. Еще я добавила, что этот таксист — мой знакомый, нельзя же было не поздороваться.

— Не ври, — зло отрезала учительница. Она знала, что у меня не может быть знакомых среди взрослых. Уже то, что я упорствовала, показалось ей наглостью.

— Но ведь, — попыталась я апеллировать к реальности, — у меня даже не было денег, чтобы ему заплатить.

— Даже не было денег, чтобы заплатить! Неслыханно! — воскликнула она, закатив глаза, и вызвала мать в школу.

Лис над ней посмеялся.

— Что за истеричка. Ну а если б ты захотела поехать на такси — что в этом такого? Напрасно она сует нос в наши дела, — сказал он мне после уроков.

Лис никогда не ходил в школу, это было очевидно. Он не знал правил, которые все мы впитали с молоком матери. Я пыталась объяснить, но он раздраженно махнул лапой. Лис считал, что ничего страшного не произошло, и не понимал, зачем я стала оправдываться.

— Не надо было этого делать, разве что тебе самой захотелось, — сказал он.

Ничуть мне этого не хотелось.

— Вот видишь, — сказал лис. — Тогда лучше молчать. Против молчания они бессильны. Если ты молчишь, им приходится самим что-то говорить, махать руками и кричать, а мы — молчок. Отдыхаем себе и ждем, пока они выбьются из сил. Это справедливо, не мы ведь начали.

С матерью я увиделась только вечером, вволю накатавшись на автобусах, а последнюю четверть часа перед ее возвращением просидев на лестнице.

— Как это случилось? — спросила она с беспокойством, когда я рассказала о скандале с такси и о том, что ее снова вызывают в школу.

Я успокоила ее. Все в порядке. Никто не кричал, не размахивал руками, во всяком случае, я. Мать слушала, довольная.

— У меня нет времени, я занята. Скажи им, что я приду на родительское собрание.

Она перестала являться в школу по каждому требованию. Роли поменялись: теперь мне приходилось принимать на себя раздражение, которое она вызывала, нарушая правила игры. Я выслушивала нагоняи и молчала. Я могла, как раньше, кидаться в бой, кричать и размахивать руками, но уже понимала, что мы не в лесу — о чем однако сожалела.

— В лесной жизни меньше неожиданностей, — говорил лис. — Следует только остерегаться охотников.

Но в школьных коридорах толпы охотников, а я ужасно невнимательная.

Как трудно быть мной, думала я.

— А мной — очень легко, — заверял меня лис.

Он улыбался по-лисьи, на прощание мел рыжим хвостом и возвращался в лес.

Каждый раз, когда я смотрела на лиса и девочку, у меня возникало ощущение, что на моей картинке кого-то не хватает. Кого-то третьего, на заднем плане, у них за спиной. Возможно, намного выше их. Этого требовала композиция. С двуствол-

кой, вроде лесничего? Я бы дорисовала этого кого-то, если бы только знала, кто он.

Тогда, всего через два с небольшим десятилетия после поражения Гитлера, повсюду еще было полно эсэсовцев, однако я не могла об этом знать. Их черные мундиры замечали только те, кто уже сталкивался с ними раньше. Уходя в мир иной, такой человек забирал их с собой, но не всех. Каким-то образом они умели выбираться оттуда, куда мечтала запереть их моя мать, — из этого проклятого края. Незримые, они без устали прочесывали окрестности Пултуска и Остроленки, точно так же, как наши прихожую, кухню, комнаты. Днем и ночью по всем этажам нашего дома, по всем домам нашей улицы маршировали стройные колонны, от которых на мгновение отделялись фигуры, чтобы совершить нечто ужасное, такое, что остается в памяти навсегда, а потом вновь раствориться в шеренгах.

Быть может, в окрестностях Пултуска и Остроленки их видели только издали, из окон, выходящих на улицу, со скамейки перед домом, может, там они были все одинаковы, одинаково черны с ног до головы, одинаково красивы и чисты в расовом отношении. Но не у нас. Фигуры, которые отделялись от шеренг здесь, наверняка имели глаза, нос и рот. Глаза навыкате или запавшие, нос большой и маленький, губы толстые и приоткрытые или узкие, плотно сжатые. По ним мать могла моментально узнать каждого из них. Ни с одним из них ей ни разу не довелось поговорить, — к счастью, поскольку те, кому довелось, были теперь мертвы, — но, разумеется, она знала их в лицо и знала их привычки, это помогало выжить. У одного во время внезапных приступов ярости, когда он принимался палить по людям, словно по уткам, краснели белки глаз, другой мог унизить ни за что, но убивал лишь за незастегнутую пуговицу. Вечерами они на полную громкость заводили трофейные патефоны. Сентиментальные танго и ироничные фокстроты сороковых годов разносились по округе. Я эту музыку не различала: ее заглушала другая, та, которую передавали по радио. Особенно летом — звуки оберека слышались из каждого окна. Присутствие эсэсовцев лишало окружающий мир иллюзии физической цельности. К примеру, пол нашей квартиры, на первый взгляд сделанный из крепких буковых досок, на самом деле заключал в себе незримые бездны. Неосторожный шаг — и мать, только она одна, полетела бы вниз, сквозь множество этажей — больше, чем было в доме, — прямиком на апель-плац. В таких условиях, когда не приходилось рассчитывать на твердую почву под ногами, мать была вынуждена приноравли-

ваться к жизни, причем приноравливаться так, чтобы ее метания не оставляли следов — чтобы труд был невидим. Но мать была упряма, не отчаивалась, не жаловалась, делала свое дело, и худо-бедно все как-то шло, и со временем ей бы даже стало легче, если бы не эта школа и эта девочка.

— Дети — лотерея, — сказала она мне однажды, несколько десятилетий спустя, на прогулке в парке, у качелей. В свое время она приняла участие в этой лотерее и ничего не выиграла, так что чувствовала себя разочарованной. — Невозможно предугадать, кто родится. Все решает случай.

Может, она и любила прогулки по парку, но наверняка предпочла бы сесть в автобус и отправиться куда-нибудь подальше, одна. Но на тот момент стало уже почти очевидно, что в таком случае она в очередной раз попадет в беду и домой вернется нескоро, на полицейской машине. Так что ни на что, кроме парка, рассчитывать не приходилось.

— Ребенок — как шкатулка, — заметила я. — Чего туда не вложил, того и не вынешь.

Она со мной не согласилась. Очень даже вынешь, некоторым удавалось, когда-то давно она тоже верила, что ей удастся. Она на это рассчитывала. Надеялась что-нибудь в этой шкатулке обнаружить. Лотерея ведь в том и заключается, в том весь и фокус, что она дает шанс. Но в лотерее требуется везение.

Дул холодный ветер, я застегнула матери верхнюю пуговицу.

— Не было у меня, знаете ли, такой возможности — что-то в эту шкатулку положить, — добавила она. — С ней невозможно было разговаривать, ничего не помогало. С самого начала — сплошные проблемы.

Я заглянула в колодец минувших десятилетий. Проблемы лежали на самом дне, маленькие, точно камешки.

— А теперь? Стало лучше? — спросила я, ошеломленная мыслью, что мать, возможно, все же права: это лотерея, и в нее можно что-то выиграть. Разве мои сыновья — не лучшие дети, чем была в свое время я? А моя мать — разве она все же не вынула из этой шкатулки больше, чем туда положила?

Она посмотрела на меня подозрительно — вероятно, на мгновение ей показалось, что я немного похожа на ее дочь, которую она уже почти не помнила.

— Нет, не стало. Она уже много лет не приходит, — ответила она. — Даже не позвонит никогда. О чем-нибудь ее попросишь — всегда отказывает.

Таблетки не помогали. Они и не могли помочь. Да, болезнь развивалась бы медленнее, если бы мать начала принимать

их сразу, вместо того чтобы успокаивать нас, что худшего можно не опасаться. Ведь именно тогда ей дали коробочку с лекарством, которую я потом обнаружила нераспечатанной в буфете. Нам сказали, что эти таблетки замедляют процесс. Но болезнь неизлечима. Неизлечима? Его мать не могла понять, что это значит. Ничего нельзя сделать? Надо радоваться проблескам сознания, пока они еще случаются? Как вы можете мириться с этим, как можете сидеть, сложа руки, и ждать, пока не станет еще хуже! — гневно повторяла она. Она не мирилась, не хотела сидеть и ждать. Нет ничего неизбежного! — восклицала она, забывая, что никогда не повышает голос. В районной поликлинике — напоминала она нам, до того, как начала подозревать во всех грехах, — у матери был хороший врач, он ей таких лекарств не прописывал. По мнению его матери, следовало вернуться к этому врачу из поликлиники. Меня она все время просила только об одном — чтобы я перестала во все вмешиваться. Чтобы позволила своей матери ездить на автобусах одной, так далеко, как ей хочется, чтобы оставила ее в покое с этим парком. Она должна пользоваться полной свободой, имеет на это право, разве она не живет в свободной стране? Самостоятельность — то, что будет поддерживать ее в форме. Только самостоятельность. Единственное спасение.

— Она уже давно не в форме, — напоминала я, пытаясь вернуть его мать на землю.

— Вот именно, — отвечала она. — Потому что ты лишила ее самостоятельности. — И обращаясь к сестре, просила: — Обещай мне, что избавишься от этой опеки.

Моя мать сделала бы все возможное, чтобы успокоить сестру и доставить ей радость. Но обещания не задерживались в ее памяти. Правда, о лекарстве она не забыла. За ужином завернула таблетку в носовой платок и спрятала в карман.

В те моменты, когда его мать начинала спорить со мной о диагнозе и методах лечения, в обеих нарастал одинаковый гнев и разливался между нами бурным морем. Я не могла ей простить, что она настойчиво требует от меня невозможного. Она полагала, что остановить неизбежное — мой святой долг, а во мне, кроме девочки и ее лиса, жил еще некто, с кем я была не слишком хорошо знакома, некто упрямый, готовый на все, кто мог бы броситься в бой и открыто пойти против ее воли. Я украдкой рассматривала ее — мы были немного похожи, если не внешне, то, во всяком случае, по характеру. Ничего удивительного, ведь у нас были общие предки. С той только разницей, что во мне тот, кто мог бы сопротивляться ее воле, жил скованный, с кляпом во рту. Его ярость вскипала во мне

бессильно и немо. Гнев не обращался в дерзость и не умел столкнуть сестру матери с моего пути. Кто бы ни был этот некто, на него я рассчитывать не могла. Следовало искать помощи в другом месте. Встретиться с ним, ее сыном.

Он согласился, нашел время для встречи, но сразу дал почувствовать, что считает мою просьбу бестактной. Ведь это его мать — напомнил он мне. Он будет ее поддерживать, вне зависимости от того, уверен ли в ее правоте. В его глазах отраженным светом сверкнула ее непреклонность. Он умел быть непреклонным, когда отстаивал заведенные матерью правила, когда отказывался подвергать сомнению точку зрения, высказанную ею непререкаемым тоном. Он умел быть непреклонным только в этих случаях.

— А чего ты от меня ждала? — спросил он.

Помимо протеста, ее безумие вызывало во мне уважение. Когда мне доводилось ехать с ней на машине, дома и деревья неслись мимо так, словно мы готовились финишировать в чемпионате мира по автогонкам. Она излучала уверенность в том, что несокрушима и что окружающие рядом с ней тоже в полной безопасности. После проигранного судебного процесса она немного опомнилась, согласилась съехать на обочину. На следующий день после того вечера, когда умерла моя мать, я занималась документами, потом приехала к ней. Мы сидели в кухне, пили чай. Обе растерянные внезапным отсутствием, казавшимся непостижимым. Утром я искала квитанцию об оплате за могилу моего отца. Обнаружила ее в конверте, где лежало письмо, адресованное нам обеим. Я положила листок на стол. Его мать начала читать и нахмурилась. В письме говорилось о том, что моя мать не хочет, чтобы устраивались похороны, не хочет никакой могилы и просит ее кремировать.

— Она не могла написать это в семьдесят восьмом, — сказала его мать, разглядывая пляшущие буквы.

Разумеется, в семьдесят восьмом — наверняка нет. В то время она была здорова, буквы в ее красивом почерке еще даже не начали спотыкаться. Эта допотопная дата в правом верхнем углу красноречиво свидетельствовала об особом календаре моей матери, где время не текло вперед по прямой, а сворачивало, петляло и пятилось на три десятилетия назад.

Меня мучила мысль о том, что мать, возможно, хотела пить, когда умирала. Я не могла думать ни о чем другом. Рассказала об этом его матери. Она накрыла мою ладонь своей.

— Я уверена, — сказала она мне, — что ты сделала все, что было в твоих силах.

Незадолго до болезни и смерти его мать решила посетить выставку, посвященную концлагерю — последнему и худшему из всех, через которые она прошла. Я удивилась — раньше она избегала подобных мест. Он не хотел идти туда вместе с ней, отказывался. Поэтому она позвонила мне. Ей казалось, что если она отправится одна, то уже оттуда не выйдет. Она боялась, я в этом уверена.

Ее последний и худший лагерь располагался близ города Линца, она попала туда из другого лагеря, лучшего, в окрестностях Дрездена, вместе с колонной узников, переживших несколько недель каторжного пути в товарных вагонах, который был поделен на этапы длинными пешими маршами. Каким-то чудом никто не умер. У коменданта эвакуированного лагеря был мешок сахару и чайная ложка. Он вручил этот мешок унтер-офицеру, и тот, невзирая на чудовищный хаос, воцарившийся на дорогах и вокзалах, ежедневно клал в рот каждому узнику по ложечке сахару. Когда они достигли цели, эшелон передали администрации лагеря. Дальше совестливый командир за узников не отвечал. В этом худшем лагере сестра моей матери пробыла двенадцать дней, несколько последних — без сознания. На тринадцатый день в лагерь вошли американцы. Если бы они замешкались, на четырнадцатый ее бы, наверное, не стало.

В полутемном зале она долго вглядывалась в знак на лагерных воротах, интерьер барака. И череду фотографий. Потом села на стул возле гардероба, словно чего-то ждала. Был тринадцатый день, но я собственными глазами видела, что американцы не пришли. Я забрала ее оттуда. Для этого она меня и позвала.

На улице светило яркое солнце.

— Можно угостить тебя обедом? — спросила я.

Какой обед?! Она посмотрела на меня так, словно я свалилась с луны.

Однажды, мы с лисом шли по лесной тропинке и на распутье увидали человека со сломанным носом, в грязной военной форме. Ветер срывал первые желтые и красные листья. В этом лесу всегда стояло начало осени, чудесные теплые дни — те, что заканчивались сразу после моих первых фиаско в очередном учебном году. За вечной осенью всегда маячила зима. Мундир, когда-то черный, сидел ладно, но за годы лишений истрепался и выцвел. Оборванец схватил меня за рукав.

— Нельзя разрешать помыкать собой всем подряд, — воскликнул он. — Тебя вынудили быть покорной, ты позволила. В этом нет никакой доблести.

— Мы не стремимся к доблести, — ответил за меня лис. — Доблести не существует.

— Aber doch![1] Доблесть — это когда не раздумываешь, если надо стукнуть кулаком по столу. Доблесть — иметь силу и толково ею распорядиться.

— Оставь нас в покое, — ответил лис. — Иди, куда шел.

— Мне некуда идти, — сказал человек. — Я вас тут долго дожидался, вы — моя семья.

Мы ускорили шаг.

— От лиса ты ничему не научишься! Он умеет только прятаться в кустах да подкрадываться незаметно. Нужна твердость, а не мягкость. — Он догонял нас, я чувствовала его дыхание у себя на затылке, вместе с ветром. — Ведь однажды ты уже совершила кое-что по-настоящему ужасное. И что? Ты испытала облегчение, а значит, сделаешь это снова. Или я ошибаюсь?

Я думала, он имеет в виду те ножки от стула, которые я швыряла в школе, лишь чудом никому не разбив голову. Если ему об этом известно — может, в самом деле родственник? Мне не раз хотелось совершить что-нибудь ужасное, что уравновесило бы груз унижения, уравновесило бы общий вес всех унижений. Чтобы забыть о том, насколько они обременительны, на другую чашу весов пришлось бы бросить нечто очень тяжелое. Но мне не хватало решимости. Больше я никогда ничего не швыряла.

— Да, — ответила я. — Ты ошибаешься.

В то мгновение, о котором он говорил, я не испытала облегчения. И впоследствии всегда выбирала что-нибудь не столь ужасное, гнилой компромисс между тем, к чему меня толкало лихорадочное желание, и тем, на что я была способна.

Мы пришли к выводу, что он опасен. Во сне крепко связали его веревкой — выше пояса. Руки тесно прижаты к туловищу, ладони вывернуты назад. Поэтому теперь нам приходилось кормить его с ложечки. Ноги мы оставили свободными из чистого милосердия. Мы знали, что с этими узлами на запястьях он все равно не сможет совершить ничего ужасного, ничего такого, что свидетели помнили бы до конца своих дней. Он даже защититься ни от кого не сумеет. Так что, в случае чего пускай спасается бегством, подобно нам. Это не было жестокостью. Будь у нас возможность, мы бы поступили так со всей этой формацией.

1. И тем не менее! (*нем.*)

III

Что касается вермахта, облаченного в форму цвета серовато-полевой зелени, а на фотографиях того времени – просто серую, – вермахт оставил Гитлера и перешел на мою сторону. Сначала меня это смутило, я не желала иметь таких союзников. Но потом привыкла и теперь не обращаю на это внимания. Все знали, что он проиграл войну, но недобитки еще многие годы выкрикивали из-за угла: “Хендехох!”. По-немецки они знали только это, не больше меня. Вермахт сражался уже только во дворах, но без энтузиазма. Отстреливался из палок, битый всеми кому не лень – пожалуй, в эту игру его заставляли играть те, кто постарше да посильнее, те, кому хотелось быть победителем. Главные силы, потерпев поражение, отступили в семейные альбомы, хранящиеся не здесь, не у нас. Время от времени вермахт листает страницы альбомов, инспектируя шеренги – когда я оказываюсь там, где эти альбомы стоят на этажерках. Раньше это место представлялось мне пустотой, обведенной контуром чужой государственной границы. О том, что там происходит, нам, вроде, сообщали по радио, но новости плавали в густом соусе, приготовленном по сомнительному рецепту и намеренно приправленном так, чтобы будоражить нас и пугать. Чтобы, объятые ужасом, мы легко глотали любое насилие. Каждая такая новость зияла пустотой – той же, которой дышало место на карте. В Милане, в бабушкином доме, я встретила человека, приехавшего оттуда. Выходит, это место существовало на самом деле и в нем жили люди, подобные нам, – я была потрясена. Вид пришельца вовсе не был ужасен. Около тридцати, но уже лысоватый, в гражданском, он ласково смотрел сквозь стекла очков и говорил по-итальянски со смешным акцентом. Он занимался реставрацией картин. Оружием не интересовался, даже холодным, историческим. Политикой тоже. Что же там такое находится? – гадала я, глядя на карту Европы, которую вешали в классе рядом с доской перед уроком географии.

Альбомы нуждались в интерьерах, а интерьеры по самой своей природе не могли обойтись без фасадов. Люди переходили через дорогу, вспархивали голуби. Там было все, что только можно вообразить. Деревья, собаки, старики с палочками, фонари и мосты. Альбомы не навязывались нам, да и сегодня не навязываются – обычно они вообще не покидают своих мест на этажерках. В альбомах расквартированы солдаты. В фуражке или держа ее в руке, они стоят на фоне оклеенной еще довоенными обоями стены в каком-нибудь фото-

ателье, иногда сидят. Но — безоружны и смотрят мне прямо в глаза, в знак того, что намерения их чисты. Моему отцу ты бы понравилась, говорит мне кто-то. Я разглядываю отца, одетого в понятно какую форму. Ему нравились тракторы, но он стал командиром танка. О тракторах он знал все, при помощи разводного ключа сумел бы разобрать трактор на части, а потом собрать обратно. Он не сражался против нашей страны, потому что в это время лежал в больнице. Заболел, слишком долго простояв навытяжку в жестокий мороз — в наказание за неповиновение. После воспаления легких в сердце что-то испортилось. Но он был молод, поэтому через два года на него снова надели форму и отправили на Восток.

— Дома были гектары и машины. Пока он был хозяином своей земли, никто бы не заставил его чистить чужие сапоги, никакой капитан или даже генерал. Он дорого заплатил за свою гордость, рассказывает один человек, которого я хорошо знаю.

С годами ситуация ухудшалась — не только потому, что после войны этот солдат лишился своих гектаров и машин. Его сердце билось неровно, иногда на мгновение останавливалось и, наконец, остановилось вовсе, когда однажды, спустя много лет, он лежал под своим собственным автомобилем с разводным ключом в руке. Я уже говорила, что там у всех имелись собственные автомобили?

— Не верь немцу, если ему за восемьдесят. Он скажет, что был всего лишь санитаром или поваром. Ни один из них ни в кого не стрелял, говорит мне другой владелец альбомов, тоже хороший знакомый.

А водитель танка стрелял? Вряд ли, думала я, ведь его руки сжимали штурвал. Его задачей было просто двигаться вперед, орудие заряжали товарищи, они же наводили его на цель, но тоже ведь не стреляли. Стрелял танк.

Упрямого солдата сфотографировали в мундире в самом начале, еще до того, как он попал в плен и, разумеется, до возвращения. Едва поправившийся, он выглядит еще неважно, но доверчиво смотрит вперед — такое ощущение, что в будущее. Хотя его будущее именно тогда висело на волоске, как и будущее всех солдат воюющих армий, не говоря уже о гражданских, на которых сыпались бомбы. При крещении этому солдату дали имя Иоганн. А вот его жена Мария, в юности, еще до свадьбы. Немного потертая, оттого что долго лежала в кармане понятно какого мундира — но пока еще не Иоганна, кого-то другого. Фотография вернулась к Марии с заснеженного востока, ее отослали родственникам солдата вместе с его губной гармошкой и медалью за отвагу. На следующей

странице — снова Иоганн, теперь уже в гражданском и повзрослевший на целую вечность. Он стоит рядом с Марией, значит, они уже встретились. Я бы не стала отвергать его. Напротив, я жалела, что мне не досталось его симпатии. Было бы приятно, если бы меня любил этот отец, доведись нам познакомиться. Не мой, но все же отец. У меня не было причин сомневаться в том, что он бы меня любил. С матерью — не моей, но все же матерью — я познакомиться успела. Она меня любила.

На другой этажерке стоит альбом, в котором живет Петер, студент-юрист, мобилизованный в самом начале войны, перед выпуском, штабс-фельдфебель. Он похож на рослого гимназиста: округлые щеки, на носу очки в тонкой оправе. В первую неделю боев он разглядел через них, как один сержант из его полка залез в чей-то двор и принялся палить в гусей. Гуси метались в панике, хлопали крыльями, звали по-польски на помощь, а над ними кружились бело-красные перья. Ни один не уцелел. Петер написал жалобу и запустил машину военного трибунала, ведь речь шла о частной собственности, уничтоженной без каких бы то ни было оснований. Но больше он жалоб не писал. Многочисленные документы, связанные с этим делом, кружили между фронтом и тылом несколько лет, в то время как целые армии замерзали заживо, города горели, а гражданских убивали пулей в затылок и засыпали известью в общих могилах. Канцелярская машина, не в силах остановиться, бесконечно проворачивала в своих шестеренках дело о гусях, пока документы не оказались у русских, которые выкинули их в мусорную корзину.

О том, что у каждого там имеется собственный автомобиль, мы узнавали из тайных источников. По радио об этом не услышишь — скорее уж от тех беззубых людей, которых можно было встретить в автобусах. Зато по радио нам при каждом торжественном случае напоминали, что это мы выиграли войну. А они проиграли. Но именно мы ездили в переполненных автобусах, набиваясь в них, словно сельди в бочку. Нам даже не пытались разъяснить, как могла произойти подобная несправедливость. Что же касается тяготеющей над ними вины, долгое время все казалось нам очень простым. Лишь подойдя вплотную, можно было бы заметить детали, осложняющие всякое очевидное дело. Что, например, всегда есть некое начало. Да, у каждой ситуации. Хотя когда она возникала, еще ничего не было заметно. Мгновение не имеет перспективы, это всегда туман, в котором приходится продвигаться ощупью. Лишь когда все заканчивается, когда туман рассеивается, каждый может припомнить, что на том

мгновении, с которого все началось, уже имелась темная точка, маленькая, словно первое пятнышко гнили, потом она росла и росла, пока из нее не развилось то, что в конце концов стало заметным всем даже невооруженным глазом. Но если взглянуть в лупу, окажется, что это начало вовсе не было началом. Истинное начало скрыто в клубке сюжетов, породившем то мгновение. Пытаясь добраться до него, начинаешь дергать за эти сюжеты, надеясь вытянуть нужный, высвободить и отделить от других, но это невозможно, и только узлов становится все больше. К некоторым сюжетам приторочены вязнущие в темных грудах земли камни вины, в других местах бьются на привязи легчайшие воздушные шары обид. Камни — балласт, если бы не они, ветер унес бы шарики в пустоту небес. Шарики не дают камням провалиться глубже, в недра Земли, наполненные кипящей лавой. Наследственная масса является общей, и не в нашей власти обменять ее на другую. Им, владельцам фотографий, тоже об этом известно. У меня нет тяжелых альбомов, у меня есть только истории, которые могли бы улетучиться, словно дым. Но — не улетучиваются.

— А Генрик? Он бежал из лагеря военнопленных через всю Германию... Наверное, уцелел бы, останься он там? — гадают они. — Зачем только он попытался вернуться?

Узнай я школьницей, что когда-нибудь окажусь союзницей немцев, что не стану демонстрировать им холодное презрение, как поступила бы героиня хрестоматии, представленная нам в качестве образца для подражания, что нам не раз придется сидеть за одним столом, и я, вместо того чтобы высокомерно заявить, что не голодна, стану есть с ними и первое, и второе, стану разговаривать о прошлом, а слушая о дядьях, не вернувшихся с Востока и засыпанных там снегом, позабуду постоянно напоминать им, сколько вытерпела по их вине наша страна — узнай я обо всем этом школьницей, — сквозь землю бы провалилась от стыда. Нас тогда никто не уважал, ни в школах, ни на фабриках, ни в учреждениях, так что нам негде было научиться уважать самих себя как-то иначе, кроме как единственным предложенным нам способом: при помощи презрения к жителям этой загадочной точки на карте. Что ж за человек из меня вырастет, если в будущем я не сумею заставить себя испытывать столь элементарное чувство, как презрение? — подумала бы я. И это оказалось бы очередным поводом опасаться: из меня не вырастет ничего достойного уважения.

Да, в то время они еще появлялись в нашей стране, но лишь в виде персонажей черно-белых военных фильмов. На-

звание фильма было их единственным местом жительства. К нашему изумлению, выглядели они, как обычные люди. Разумеется, в форме. В лучшем случае, они маршировали бесконечными колоннами. Надо признать, пели они чисто, не фальшивили. Если бы каждый из них написал жалобу и послал ее по инстанциям, если бы эти жалобы приходили в главную канцелярию тысячами, десятками тысяч, может, военная машина захлебнулась бы и остановилась? Но кто должен был писать эти жалобы? Уж наверняка не они, стройными колоннами маршировавшие по экранам кинотеатров. Внешне напоминавшие людей, они представляли собой абсолютное, химически очищенное зло. Отлитым из какого-то невесомого металла, им неведомы были человеческие слабости. Мы не знали, что и думать. Осуждать их за то, за что нам велено было восхищаться лишенными человеческих слабостей строителями нашего мира? Иначе говоря, наше презрение — если снова взять в руку увеличительное стекло — не было высечено из гранитного монолита: оно содержало подозрительно хрупкие включения. Зная только то, что показывали на киноэкранах, мы готовились к новому нападению. Раз для этого они рождены. Раз на этом свете им больше нечем заняться. А если они захотят напасть, думали мы, этой мыслью позволяя себе усомниться в порядке, который нам полагалось считать нашим собственным и установленным на веки вечные, и одновременно соглашаясь с не слишком лестным мнением о нас властей, то снова нас завоюют, не дав ни единого шанса спастись.

— Так что там такое было с этим адресом? — спросила она, когда мы сидели на низкой ограде возле ее дома, подложив под себя мешки со сменкой — было еще холодно, снег едва сошел.

Я не знала, что там такое было с адресом. Я дала ей этот адрес, вот и все. Не затем, чтобы она написала мне письмо, я вовсе на это не рассчитывала. Что она имеет в виду? — подумала я, поглядев на нее украдкой, настороженно. У нее были косички и очки. Через эти очки она смотрела на меня с отвращением, словно на сей раз меня застукали на каком-то особенно компрометирующем вранье.

Собираясь в интернат, я была уверена, что она забудет обо мне сразу же, едва я уеду и исчезну с ее глаз. Новый адрес служил своего рода прощанием. А какое еще могло быть прощание после знакомства, подобного нашему? Основанного на неравенстве сторон. Безусловном. Она была убеждена, что относится ко мне гораздо лучше, чем я того заслуживаю. Так, как я того заслуживала, ко мне относились ее подружки.

Они были большинством, а на стороне большинства правота. Образцы определяются коллективной интуицией, а затем все обязаны на них ориентироваться, в том числе и те, кому интуиция подсказывает иное.

– Ни один зверь не создан для того, чтобы терпеть унижения, – предостерегал лис. – Не настраивайся на то, что будешь терпеть его вечно. Это смертельный яд.

Та девочка немного стеснялась нашего знакомства, особенно в те дни, когда в школе меня в очередной раз на чем-нибудь ловили и разражался очередной скандал.

– Это называется – тетрадь по польскому? – кричала учительница, швыряя ее мне под ноги. Тетрадь падала, шелестя пустыми листками и открываясь на странице, где сидел и улыбался лис. – Вынь руки из карманов.

Мне казалось, что все смотрят на лиса.

– Лис, спаси, – просила я безмолвно. Бдительная учительница заметила движение моих губ.

– Ко́му ты молишься? – спросила она. – Нечего молиться, это тебе не поможет.

Я и сама знала, что не поможет. Мне приходило в голову, что сцены издевательств так не затягивались бы и не были столь ужасны, если бы что-то не мешало мне в нужный момент произнести свою реплику. Я вообще ее не произносила, ни в нужный момент, ни в какой-либо другой, пытаясь обойтись без нее: пусть только все поскорее закончится, думала я – но оно не могло закончиться, ведь место для моей реплики было предусмотрено именно в самом конце: следовало дать обещание исправиться. Эмоции не желали ничего обещать, полагая, что и так изрядно потрудились, поступившись швырянием ножек от стула, и хватит.

Учительница наверняка тоже попадала в ситуации, когда ее гнев оказывался бессилен. Оставалось лишь запереть его внутри себя и хранить, чтобы при первой возможности передать другому. Например, кому-нибудь такому, как я. Право выражать гнев дается не всем и не всегда. Это особая привилегия, которой способствует сила тяготения. Гнев может быть направлен лишь сверху вниз – и никогда наоборот. Существовало правило, согласно которому гнев, выплескиваемый в направлении, не предусмотренном природой, будет втиснут обратно в исторгнувшую его глотку.

– Ты бы хоть не отпиралась, – поймав меня на новом вранье, всякий раз говорила учительница.

Оправдания увеличивали мою вину, приписывались к ней, словно процент ростовщика. Попытки все отрицать лишь вредили мне, все и так знали правду. Мои эмоции во-

прошали, много ли на свете людей, которые ощущают себя до такой степени отвергнутыми и осмеянными. Если бы кто-нибудь, кому я доверяла, ответил, что половина? А если бы он сказал мне, что всего один на сто тысяч? Все возможно. Но почему это выпало мне, почему именно я должна быть мной, а не кто-нибудь другой? От этого вопроса никак не удавалось отделаться. Он был настойчив, все повторялся и повторялся, словно заевшая пластинка. А ведь ответа не было и быть не могло.

— Карантин еще не закончился? — допытывался учитель русского. — Встань, когда с тобой разговаривают.

Право задавать вопросы подобно праву носить оружие, оно тоже дается не каждому. Порой в вопросах звучала нота насилия, которую ни с чем не спутаешь.

Я встала и стояла.

— Кончился карантин? — подхватили на перемене девочки из моего класса, ее подружки.

Право задавать вопросы им давало то, что они были лучше меня. Чтобы быть лучше, необязательно получать хорошие оценки. Правда, оценки у них у всех были лучше, чем у меня, но вполне хватило бы и того, что они составляли группу. Это никакая не случайность. Не каждый может быть частью группы. Мне это никогда не удавалось.

В зависимости от настроения та девочка иногда переходила на их сторону, а иногда оставалась где-то посередке. Мою сторону она не принимала никогда. Я могла бы обидеться на нее, будь я в состоянии вообще представить себе, как это выглядит — что кто-нибудь встает на мою сторону. Против всех, по собственной воле. Эта мысль, мелькни она даже случайно в моей голове, показалась бы мне невероятной.

Что бы ни случалось со мной, — если только это было приятнее подобных вопросов, от которых кровь стыла в жилах, словно от выстрела из двустволки, — я все принимала с благодарностью. Милость той девочки была капризна. Но ведь милость вообще капризна, по самой своей природе.

— Когда уезжают, всегда оставляют новый адрес, — ответила я неуверенно.

Записывая его на листочке, вырванном из тетради в клетку, я не могла предвидеть, что так никуда и не уеду. Не все зависело от меня.

— Но почему именно этот? Где ты его раздобыла? — воскликнула она.

— У монашек, которые держат интернат.

Она сняла очки и принялась протирать их платочком.

— Нет, с тобой просто невозможно разговаривать, — сказала она неожиданно взрослым голосом, точь-в-точь, как у ее матери. — Врать тоже можно со смыслом или без.

Мне пришлось признать, что смысла в этом особого не было. Монашки? Что у меня могло быть с ними общего? Я ведь даже на уроки религии не ходила, все об этом знали.

— Как там монашки поживают? — насмешливо спрашивали ее подружки, в полной уверенности, что ни одно мое слово не может быть правдой.

Она тоже не ходила на уроки религии. Все об этом знали, и никто не удивлялся. Она не ходила, потому что ее отец был членом партии. Не он один был членом партии, но только у него это было написано на лбу. Во время родительских собраний он всегда проявлял такую активность, словно думал, что выступает на партсобрании. Даже мне было об этом известно, и вовсе не от матери.

— Кому ты тогда молилась? — спросила она вдруг, когда мы снова сидели на ограде рядом с ее домом. Уже немного потеплело, но от вопроса меня зазнобило. Я различила ноту насилия, ту, которую ни с чем не спутаешь. Почувствовала тревогу, смешанную с усталостью. Чего она теперь добивается?

— Никому, — сказала я. — Я вовсе не молилась.

— Да прям! Ведь учительница видела, что ты молишься.

Я молчала. Она собиралась с силами, несколько раз открывала рот и снова его закрывала, наконец выпалила:

— Я все знаю. Мне мама сказала. Ты молилась Иегове.

— Кому?

— Иегове. Твой папа молится Иегове, и ты тоже.

— Он никому не молится, — призналась я, сбитая с толку.

— Не ври! — воскликнула девочка. — Молится, пять раз в день. Мама сразу сказала, что ты не признаешься. И сказала, что не признаваться в этом — еще более стыдно.

Незримое насилие показалось мне еще более жестоким оттого, что она не ограничилась вопросами, но сама давала на них загадочные ответы. Эта девочка знала что-то такое, о чем я не имела ни малейшего понятия, что-то, видимо, настолько предосудительное, что об этом невозможно говорить прямо. Другой на моем месте устыдился бы, но меня лишили даже этой привилегии. В моем случае, как она ясно дала понять, отрицать все — означало лишь ухудшить свое положение. Мне казалось, что, если я хочу сохранить хоть какое-то самоуважение, следует признаться.

— Но в чем? — удивился лис. — Ты, наверное, еще не знаешь, что это за мука — притворяться, будто улавливаешь ту-

манные аллюзии, которые тебе совершенно неясны, нечто, о чем не говорят прямо, поскольку все же немного стесняются. Зачем лезть из кожи вон? Будем придерживаться собственной тупости, это самая верная защита. Да, я понимаю, тебе неприятно. Я в этом немного разбираюсь. Меня считают хитрюгой и обманщиком.

Его считали хитрюгой и обманщиком, это было первое, что приходило в голову. Никто не знал, что он лучший и честнейший зверь на свете.

— Кто это — Иегова? — спросила я дома.

— Так называется Бог в еврейской религии, — сказала моя мать. Она сидела в кресле, в круге света, и читала книгу.

— А ты когда-нибудь ему молилась? — приставала я.

— Нет, никогда, — ответила она, с шелестом переворачивая страницу. — Моя семья не была религиозной.

Но речь шла не о ней. Речь шла об отце, это он калечил польский язык — матери слыхали об этом от детей. Как и о том, что он иностранец — ни один нормальный человек бы в это не поверил. Стыдно, столько лет здесь живет, ест наш хлеб и не соизволил прилично выучить язык, да еще рассказывает всякую чепуху, сказал отец этой девочки. Она не преминула мне это передать. Чуждость тоже делилась по категориям. Я не знала, что возмущение ее отца тем и объясняется, что иерархия категорий чуждости казалась нарушена. Италия? Возможно — но та, что под Варшавой[1]. Они там, говорили у нее дома, сочинили липовую историю, но нас-то не проведешь.

История действительно выглядела нелепо. Ведь взрослые пони́мали, что иностранец не может просто так взять и приехать в нашу страну и поселиться в ней, подобно тому, как обитатели этой страны не могут уехать жить в другую. Границы были закрыты. Даже дети знали, что это значит: нельзя просто так, как ни в чем не бывало, переселиться в чужую страну. Финт, проделанный отцом, утверждали эти родители, назывался “косить под итальянца” — не он первый такой. Знаем мы этих итальянцев, хмыкала моя одноклассница. Я уже ни в чем не была уверена, все казалось мне возможным. Однако в самой сердцевине этой проблемы таилась загадочная недоговоренность: зачем моему отцу притворяться итальянцем, если он им не является? Дело даже не в нем — в загадку превращался весь Милан, населенный людьми, которые лишь притворяются итальянцами.

1. Имеется в виду район Варшавы (ранее — пригород) под названием Влохи (то есть Италия).

— А мой отец? — спросила я. — Он молился?

— Вико? — удивилась моя мать. — Почему ты так решила?

— Зося сказала, — ответила я.

— Зося? — она взглянула на меня, приподняв брови. И вернулась к чтению.

Ее не особенно интересовало, что говорит Зося, а уж отца и подавно. Он понятия не имел о том, что мне приходится его стыдиться — правда, ровно настолько, насколько необходимо, то есть не до такой степени, чтобы от чего-то отрекаться — это уж действительно было бы постыдно и позорно. То, что родители девочек полагали его долгом, он просто игнорировал. Я догадывалась, что иначе пришлось бы отрицать все, что нарушало однозначность его облика. И потом, они наверняка ожидали благодарности за это мнимое убежище в подваршавской Италии. Игнорируемый отцом долг унаследовала я — точнее, он внезапно обрушился на мои плечи, так что я даже присела под его тяжестью. Отец себя виноватым не чувствовал.

— Цепляется понапрасну? А будь все так, как ей кажется, то цеплялась бы не понапрасну? — спросил он удивленно. И наотрез отказался обсуждать эту тему.

Уж стыдиться мне до сих пор разрешалось вволю. Стыд заменял чувство вины, которое все никак не желало возникнуть. Однако на сей раз мои обязанности были сформулированы иначе. Я почувствовала, что обязанность испытывать стыд неразрывно связана с запретом — трудно придумать что-либо унизительнее. До сих пор я всегда знала, чего стыжусь. Я то и дело на чем-нибудь попадалась, но ни компрометация, ни вранье не заставляли меня стыдиться так, как эти сцены, когда громко звучало слово “тупица”, а под ноги мне летели мои собственные тетрадки. Тогда я искала помощи там, где могла на нее рассчитывать. Вспоминала миланского дедушку, умершего от сердечной болезни до того, как я стала школьницей. Чувствовала, что будь он жив и знай об этих сценах — к ним отнесся бы с презрением, а мной гордился. Дед сумел бы найти для этого повод — хотя бы то, что я немного разбираюсь в звездах. Он сам мне их показывал, когда после ужина мы стояли у окна столовой — он на полу, я на стуле, — и тетради нам были ни к чему.

Благодаря автобусам я, наконец, немного разобралась, о чем шла речь. Как-то я столкнулась с одним из тех персонажей, которые изрыгали ошеломляющие, не прошедшие цензуру пассажи — со старухой, в кармане у которой наверняка лежали документы, снимавшие с нее всякую ответственность, и не

только потому, что все равно почти не разобрать было, что она говорит. В психиатрических больницах, как правило, не заморачивались пломбированием зубов, в случае необходимости их просто вырывали. Ничего удивительного, если человек шепелявил, проведя там полжизни. Такие пассажиры всегда ехали далеко, всегда сидели — даже в час пик вокруг них образовывалось свободное пространство — и со своего места высказывали нечто, возмутительным образом противоречившее школьным стенгазетам и торжественным линейкам. В автобусах они обретали свое мгновение свободы — подобно мне.

— И Богу свечка, и черту кочерга. Они тоже молятся, эти партийные — дома, втихаря. Но много не вымолят, Господь их не слушает, — кричала седая старушка, устремив взгляд вдаль, словно перед самым носом у нее не толкались люди в толстых пальто. Во рту сверкнул желтизной слоновой кости одинокий зуб.

Я сразу подумала об отце этой девочки. Может, он молился дома, втихаря, втайне от тех, кто сумел заставить его притворяться?

Катаясь на автобусах по городу, я однажды вышла на остановке в незнакомом районе и неожиданно встретила этого отца. Он шел под руку с молодой женщиной. Назавтра я похвасталась девочке тем, что видела. Она, очевидно, что-то знала, поскольку деловито спросила:

— Где это было?

Умей я тогда видеть сквозь стены, как умею сегодня — возможно, разглядела бы, как он опускается на колени и шепчет: Господи, все так запуталось, я не знаю, что делать — одну люблю, другую не могу бросить, помоги же мне. Но я была немного с ним знакома, он несколько раз заговаривал со мной, и о его речах на родительских собраниях я тоже слыхала. Трудно вообразить, чтобы он был способен молиться, не поучая Господа Бога. Так что уж скорее я бы увидела другое — его жену, мать этой девочки, как она опускается на колени и шепчет: Господи, пусть он порвет с той женщиной. Сделай так, чтобы он опомнился. Только умоляю, будь милосерден, не наказывай его, иначе нам конец.

Тогда мне не приходило в голову, что той семье приходится скрывать нечто более серьезное, чем тайные молитвы, нечто более серьезное, чем любовницу. А ведь они скрывали. В их семейных альбомах жили солдаты вермахта. Вернее, жили бы, если бы оттуда не вырвали несколько фотографий. Их следовало спрятать в более безопасном месте — например, в буфете, за тарелками, в неподписанном конверте.

Ее родители приехали из Силезии, а значит, иначе и быть не могло — разве что по чистой случайности. А вермахт в те времена продолжал оставаться нашим смертельным врагом, тем более опасным, что давно уже исчез, разбитый в пух и прах, что как раз и означало: он в любой момент может вернуться. Так уж получилось, что мне известно, что там происходит, в этих альбомах. Как там одеваются, как причесываются. Какие выражения лиц и взгляды мимоходом выхватывает из общего фона кадр. Как смеются девушки, примеряя солдатские фуражки — своих братьев и женихов, позже засыпанных снегом где-то на Востоке.

— Они сидели на скамейке перед домом и говорили по-немецки, — так начиналась история, которую она хотела мне рассказать, история, услышанная недавно, во время поездки к родственникам в Силезию. — Во время войны ведь, знаешь, всем приходилось говорить по-немецки.

Видимо, там, в Силезии, о прошлом любили вспоминать больше, чем у нее дома, в Варшаве. Персонажи этой истории носили имена, каких я никогда не встречала, во всяком случае, в реальности — ни в Варшаве, ни в Милане.

— Маркс и Энгельс? — переспросила я изумленно.

Она посмеялась надо мной. Макс и Энгельберт — вот как звали тех двоих. Ее дядья, которых она не знала — не застала на свете, хотя в ее истории это были молодые парни, большие проказники. Она не сумела объяснить, что с ними случилось. У родственников в Силезии она слышала эти имена тысячу раз, они звучали для нее так же привычно, как ее собственное. Потрясенная, я не запомнила, что же, собственно, произошло, когда они сидели на скамейке.

Мы, конечно, знали, что мир старше нас и полон разных историй, которые нам не рассказывают, но представить себе это были не в состоянии. Прошлое казалось бесплотным, для нас оно состояло сплошь из слов и дат. В нем легко было заблудиться, но нам и в голову не приходило, что именно оно породило мир, который нам известен. Ведь в нашем представлении он существовал отдельно от всего, единственно подлинный, единственно возможный, данный раз и навсегда. Управлявшие им слова и даты появлялись непосредственно из газет, в том числе — из школьной стенгазеты. Наш мир не мог вместить в себя прошлое, ему не хватало глубины лет: он был подобен мелкой луже, в которой отражается сегодняшнее небо и, в лучшем случае, еще воспоминание о вчерашнем. Поверхность реальности казалась нам безупречно гладкой, без единой щели, в которую могло бы просочиться хоть малейшее сомнение. Я понятия не имела, что это зерка-

ло уже служило реквизитом в других спектаклях: здесь образовался скол, там трещина. Следы прошлого замечал тот, кто знал, куда смотреть. Я — не знала. Мир в мгновение ока разлетелся бы вдребезги, если бы я увидела, как ее мать примеряет военную фуражку Энгельберта или Макса — фуражку с понятно какой эмблемой, а ее отец...

— А правда, что во время войны все должны были разговаривать по-немецки? — спросила я в воскресенье — день, предназначенный для общения с родственниками.

Его мать, сестра моей, в этот момент как раз накладывавшая мне на тарелку шарлотку, поморщилась. О войне за этим столом говорить было не принято.

— Какая же ты дура, — отозвался он вместо матери. — Немцы разговаривали по-немецки. А мы по-польски. Как и теперь.

Альбом хранился где-то в Силезии, куда эта девочка вместе со своими родителями ездила на Рождество. От вырванных фотографий остались пустые места со следами клея, она не могла не заметить. Вполне возможно, что однажды в буфете, за тарелками, она случайно обнаружила тот неподписанный конверт, вытащила оттуда несколько фотографий с пятнами засохшего клея на обороте, увидала мундиры вермахта, побледнела и поскорее сунула все обратно за тарелки, словно содержимое конверта жгло пальцы.

Ее мать была учительницей. Разумеется, преподавала она, правда, не в начальных классах, немецкий. В отличие от тех солдат, что отстреливались во дворе из палок-ружей, эта мать точно знала, что нет такого слова — "хендехох". Отец работал в каком-то учреждении, как и большинство отцов в нашем классе. Фамилия у него была силезская, но не резавшая польское ухо. Видимо, у них ничего против него не было, иначе откуда такая самоуверенность во время родительских собраний? Но жена? Фамилия мужа была, вероятно, ее единственным алиби, под прикрытием этой фамилии ей удалось оторваться от братьев, засыпанных снегом на Востоке, и перескочить в более выгодный ящик картотеки. Ведь в том, худшем, и жить-то было невозможно. На первый взгляд эти родители ничем не отличались от других. И у девочки лишь изредка возникало смутное ощущение, что с ней что-то не так. И что лучше об этом не спрашивать. Ее мать скрывала тайну. На хаос, который передавался девочке, семья, поглощенная заметанием следов, не обращала внимания. За тревогу, вызванную обнаруженным в буфете неподписанным конвертом, кто-то должен был расплатиться, и я для этого подходила идеально. Поскольку позволяла себя унижать. Нужна твердость, а не мягкость! — тщетно

журил меня эсэсовец. Не слишком внятная история о Максе и Энгельберте вылетела у меня из головы, я не знала, где провел войну ее отец, но во всем этом наследстве была и моя доля, часть меня и часть ее оказались связаны — неразделимо. Однако в этом вопросе мы никак не смогли бы достичь взаимопонимания, во всяком случае, не в те времена, когда были отрезаны не только от фактов, но и от множества слов, без которых разговаривать об этом невозможно. Все это было спрятано взрослыми, а у них имелись причины запирать на ключ слова и факты.

Мы часто возвращались вместе из школы.

Однажды за нами с криком погнался незнакомый мальчик. Сперва мне послышалось знакомое слово “хендехох”.

— Кретин, — буркнула она и отвернулась.

Мальчик спрятался за угол, потом выглянул и снова закричал, на этот раз очень громко и отчетливо:

— Вендехох!

Она прикусила губу и промолчала. Я, еле поспевая, бежала за ней.

— Что такое “вендехох”? — спрашивала я, запыхавшись. — Ну скажи, что это.

— Откуда я знаю? — отрезала она, и мы молча побежали дальше. И вдруг у нее все же вырвался ответ: — Фамилия, тупица!

Мне вдруг почудилось, что, когда я относила журнал в учительскую, видела в той рубрике, куда вписывали данные родителей, что-то похожее. Журнал раскрылся случайно. Вернее, да — я тайком заглядывала туда, как и все дежурные, не могла удержаться. Во всяком случае, там точно было что-то на букву “в”.

— Твоей мамы? — спросила я. — Девичья?

Она зло посмотрела на меня.

— Головой немного подумай!

Этот мальчик знал ее? Знал что-то еще? Она удивилась? Тот, кто не знает, не догадается, у кого узнал тот, кто знает. Ни один секрет не находится в безопасности на этом свете, полном предательских щелей.

Она скрывала тайну. Это мне импонировало, рядом с ней я ощутила себя маленькой. Хоть я и была ужасной врушкой, никакой настоящей тайны, которую приходилось бы скрывать, у меня не было.

Обычно мы возвращались вдвоем. Ее подружки жили рядом со школой, поэтому прощались раньше. Лишь тогда я прибавляла шаг, чтобы нагнать ее.

— Отвяжись, — говорила она, если у нее было плохое настроение.

И переходила на другую сторону улицы — спокойной, не очень широкой. Мне было обидно, но я не удивлялась. Я привыкла к тому, что каждый, кто может себе это позволить, передает свое плохое настроение кому-нибудь еще — словно горячую картофелину, и тот, другой, поступает так же, а потом прячет в карманах обожженные руки. Лишь последний из последних, тот, у кого нет под рукой никого худшего, чем он сам, никого, кому можно было бы сунуть эту горячую картофелину, короче говоря, никого такого, как я, — вынужден глотать ее, обжигая губы и горло. Мы шли дальше — я по одной стороне улицы, она по другой. Было очевидно, что мир не примет мой гнев, я была слишком незначительна, чтобы его заставить, поэтому эмоции искали другого выхода. Вместо гнева во мне открывалась бездна покорности, готовность уступать до последнего. Я то и дело поворачивалась к ней. Тогда она ускоряла шаг. Гнев возникал лишь на следующий день, и только если ночью эсэсовец напоминал мне, что все мною помыкают, что я сама их провоцирую, и нет в этом никакой доблести, и на это просто невозможно спокойно смотреть. Тогда эмоции меняли русло и требовали, чтобы в следующий раз я отплатила той же монетой. Отвяжись — сказала бы я, если бы она ко мне подошла. Но разум говорил мне другое и рисковать не желал. Её — я бы не наказала. Только себя одну. Впрочем, она не подходила ко мне еще много дней. Возможно, шанс велеть ей отвязаться вообще больше не подвернется. И я начинала гадать, чем ей досадила.

— Лис, что бы ты сделал на моем месте? — спросила я.

Лис не мог бы оказаться на моем месте, он был для этого слишком осторожен.

— Я бы не стал с ней связываться, — ответил он. — Переждал бы в кустах, пока она уйдет.

Не знаю, как получилось, что я их в конце концов познакомила. Что за бредовая мысль — сделать это, не спросив у лиса разрешения? Это было неправильно, я сразу почувствовала смутную тревогу: добром это не кончится. Лис ей понравился.

— Какой улыбчивый, — заметила она.

На сей раз, для разнообразия, лис улыбался в тетради по математике.

— На самом деле он абсолютно рыжий, — объяснила я гордо. Может быть, я сказала еще что-то. Даже наверняка. Я рассказала о нем слишком много. И потом очень об этом жалела.

– Как поживает лис? – как-то раз на большой перемене пристали ко мне с хихиканьем ее подружки. Ее не было в школе, она болела.

– Какой лис? – переспросила я, не сразу поверив, что они говорят именно об этом лисе, о моем улыбчивом лисе с красивым рыжим хвостом. Я бы голову дала на отсечение, что им неоткуда о нем знать.

– По-каковски вы друг с другом разговариваете? По-лисьи? – наседали они.

Я никогда об этом не задумывалась, но в этот момент осознала, что разговариваем мы по-итальянски. И ничего удивительного. Ведь именно из Милана приехала та книжечка с картинками, в которой я впервые его встретила. Но уж в этом-то я бы девочкам не призналась ни за что на свете, они и так постоянно надо мной потешались.

Девочки крутили пальцем у виска.

– Лисы не разговаривают.

– Лисы тявкают, тяв-тяв.

– Они коварные и хитрые. Они жестокие. Душат кур.

– У моей бабушки в деревне лиса унесла маленького цыпленка.

В начале нашего знакомства я готова была поручиться, что мой лис никого не душит. Только крадет яйца.

– Не душу кур? – удивился лис. – Ясное дело, душу, я ведь лис. Если бы не голод, я бы ни за что не полез к лесничему в курятник. Поверь, душить кур – не бог весть какое удовольствие. Полночи трудишься, делаешь подкоп, потом вопли и кровь, в воздухе перья носятся, собака лает и рвется с цепи, а лесничий выскакивает в подштанниках на крыльцо – с фонарем и двустволкой. Или того хуже – как накинутся на тебя в курятнике всем скопом, того и гляди глаза выклюют, нет уж, спасибо. Тогда я хватаю хоть яйцо, первое попавшееся, и уношу ноги, думая только об одном: уцелеть бы.

Такова была правда. Но разве он не говорил мне, что жизнь в лесу простая, без неожиданностей? И что быть лесным зверем легко?

Я заметила, что лис смутился.

– Во всяком случае, мне не приходится раздумывать, как быть тем, кто я есть. Но я же рассказывал тебе о двустволке? Если ты лис, значит, быстро бегаешь и редко отдыхаешь. Простота имеет оборотную сторону.

Я с ужасом думала о том, что лесничий может причинить ему вред.

– Так уж сложилось, что я не святой, – сказал лис. – У меня на совести много чего. Я себе об этом напоминаю, когда

начинаю сетовать на судьбу, и от этой мысли всегда становится легче.

Он задумался и заявил, что в любом случае лучше быть лисом, чем курицей.

А девочкой? Ей тоже приходится быстро бегать? Нет, заверил меня лис. Девочка не охотится. Полакомится малиной или какими-нибудь корешками, ей и достаточно. И на нее тоже никто не охотится. Даже волк видит, что это ребенок, у него в норе свои малыши есть. В лесу лучше всего быть девочкой, особенно пока тепло.

— Правда, — сказал он, — времена года не выбирают. Как и шкуру, — добавил он, помолчав, — в которой живешь.

Приходя к ней в гости, лис приносил в подарок яйцо. Девочка бы нипочем не догадалась, что за это яйцо он едва не поплатился жизнью.

— А ваши мамы, чтобы вас накормить, покупают в магазине курицу для бульона, — напоминала я, глядя в глаза попеременно то одной, то другой. — И вы ее едите. Так что вы ничуть не лучше лис.

— Ну и ладно. Не твое дело.

— Успокоились, тишина! — закричала учительница, входя в класс. — Звонок был!

— Она разговаривает с лисом!

— Кто? — спросила учительница и сразу посмотрела на меня.

Я, помешкав, встала.

Несколько секунд она глядела на меня, потом пожала плечами и сказала:

— Садись.

Моя мать, которую известили об этом при помощи замечания в дневнике, бесстрастно перелистала тетрадь с рисунками. То, что я разговариваю с лисом, не произвело на нее ни малейшего впечатления.

— Детские фантазии, — сказала она. — Пройдет.

Лис ушел.

Я не могла в это поверить. Он не такой, он бы не обиделся только за то, что я рассказала о нем тому, кто не умеет держать язык за зубами. Каждое утро я шла в школу — плелась еле-еле, опаздывала, но все равно останавливалась и оглядывалась на каждом углу. На обратном пути, днем, я снова озиралась, надеясь, что хоть вдалеке мелькнет его рыжая шкурка.

— Лис, где ты? — спрашивала я и, наверное, это опять выглядело так, будто я бормотала молитвы неведомому богу.

Ночью я ворочалась с боку на бок, обшаривая лес.

— Когда вы меня, наконец, развяжете? — закричал эсэсовец, выходя из чащи на лесную тропинку — худой, грязный и злой. — С голоду мне тут прикажете подыхать?

Из-за всех этих проблем я все время забывала его накормить. Почему-то у меня никогда не оказывалось с собой ни ложки, ни сахара. Но на этот раз было иначе. Я достала из кармана оловянную ложечку из школьной столовой и сахар в мятом бумажном пакетике. Эсэсовец жадно слизал сахар с ложечки.

— Где лис? — спросила я. Именно это мне нужно было узнать у него в первую очередь.

— А что? Нет его? Небось, лесничий застрелил из двустволки.

Если он и встревожился, то не показал этого. Он умел не раскрывать свои карты. Как все мои родственники.

Мой отец не знал о требованиях, которые заочно предъявляли ему родители этой девочки, но о том, что акцент у него смешной, знал отлично. Некоторых трогало, что он по собственной воле приехал в нашу несчастную, всеми позабытую страну и проникся нашим безнадежным положением. Что он даже выучил шелестящий язык, который не желал учить никто на всем белом свете, и что пользовался им с уважением, не жалея сил на хитросплетения грамматики. Этим смешным акцентом многие восхищались. Они тоже делили людей по категориям, как и родители моих одноклассников. Но делили иначе, поскольку знали, о какой Италии идет речь. По каким-то причинам альпийская Италия, откуда приехал мой отец, желая посмотреть мир, была предпочтительнее Италии подваршавской, к которой по какой-то неведомой причине приписали меня. В Альпах отец был хозяином и во время войны стрелял в немцев, а под Варшавой якобы всю войну прятался в подвале. Для одних он был частью мира, где у каждого есть свой автомобиль, а для других — частью богом забытой дыры, жители которой приезжают в город на мерзкой электричке, пряча голову в воротник и не поднимая глаз. Мне казалось, что эта классификация по категориям не слишком удачна. К моему отцу, имевшему дело с другой категорией людей, те относились с особой симпатией, так что, если взглянуть на семью в целом, одно компенсировалось другим. Но отец своими привилегиями не пользовался. Если у него был выбор, он предпочитал говорить по-итальянски. Мать, хотя блестяще знала итальянский, любила говорить по-польски. В сущности, так они друг с другом и разговаривали — каждый на своем языке. Даже на улице или в театре. Свидетели подобных разговоров оглядывались на них в изумлении.

Пасхальные каникулы я провела в Милане. В бабушкином доме прошлое вспоминали охотнее, чем у нас в Варшаве. Мой дедушка — не тот, польский, который погиб, а итальянский, который умер уже на моей памяти, — в детстве посещал школу иезуитов, а потом всю оставшуюся жизнь был антиклерикалом. Что не помешало ему отправить Вико в такую же иезуитскую школу. В межвоенный период у них был выбор между иезуитами и государственной школой, фашистской, а фашистов мой дедушка не любил еще больше, чем церковников. Вико, как и мой дедушка, ходил в иезуитскую школу и точно так же потом всю оставшуюся жизнь был антиклерикалом. С той лишь разницей, как сказала бабушка, что он не стремился к соблюдению приличий. Это уже объясняет, почему я не ходила на уроки религии. Мне нравилось, что отец не стремится к соблюдению приличий. Не то, что притворявшийся кем-то ради кого-то отец той девочки, — мой отец был самим собой и не морочил себе голову притворством.

В те каникулы в один из вечеров я пересмотрела все фотографии, какие только смогла отыскать в ящике миланского письменного стола. Никто не потрудился вклеить их в альбомы. Среди них я обнаружила фотографию Вико в лыжных штанах и толстой куртке, перетянутой кожаным поясом. Я никогда не видела его в такой одежде. На моей памяти он носил только элегантные пиджаки. На этой фотографии он стоял с непокрытой головой, с автоматом в руках, на фоне заснеженного склона, моложе себя самого на целую вечность, а рядом с ним, тоже с автоматом — такой же молодой Анджело Перони, его друг. Я знала Перони, у них было двое сыновей, один постарше меня, другой чуть младше. В конце войны мой отец был партизаном и сражался в Альпах, там, где когда-то проводил с родителями школьные каникулы. Фотографии, сделанные во время тех каникул, тоже лежали в ящике, в отдельном конверте. Скалистые вершины в отдалении, коровы с колокольчиками в просторных долинах, белые облака и остроконечная колокольня над городом.

Мой отец тоже не любил воспоминаний — подобно матери, хотя и по другим причинам. Под утро к нему являлись солдаты вермахта. У отца было хорошее зрение и такая же хорошая память, он запомнил каждого из них. Еще у него была твердая рука. Удивительно, что спустя столько лет они знали, где его искать. Они сумели отыскать отца в Милане, хотя после войны он сменил адрес — прежний дом, поколебленный взрывами союзнических бомб, снесли. Они проникали даже в нашу варшавскую квартиру — похоже, железный занавес тоже не являлся для них преградой. Обычно они

приходили поодиночке, каждый в зеленовато-сером мундире и с темной дыркой посреди лба. Вот эту дырку они и не могли простить отцу. Вытаскивали из карманов и совали ему под нос фотографии невест, которые их ждали, которые плакали, к которым они уже почти было — счастливо избежав отправки на Восточный фронт — вернулись, целые и невредимые. И которые — с этим убитым солдатам примириться было сложнее всего — уже давно их забыли.

Однажды воскресным утром я сидела на низкой ограде возле ее дома. Я надеялась, что она выйдет гулять, хоть мы и не договаривались. Вышла не она, а толстая соседская девочка, старше нас на два года, учившаяся в другой школе.

— Не жди ее, — сказала соседка. — Она еще спит. Ее предки орали почти до утра.

— Орали? — переспросила я удивленно.

— Ну да, — неожиданно отозвалась она хриплым голосом своей бабушки, с ее интонациями и даже деревенским выговором. — Они постоянно друг на друга орут. Ладно бы только орали. Вчера такой грохот был, точно стол перевернули. Как кошка с собакой, честное слово.

Выходит, они кричали друг на друга, запертые, точно в клетке, в однокомнатной квартире — казенной, но с видом на Вислу. Придавленные изъянами ее прошлого, в которых не было их вины, и загадочным бременем ее девичьей фамилии, опутанные таинственными условиями его карьеры и разделенные романом, который он крутил против нее в незнакомом мне районе. Разумеется, кричали они по-польски. Оба, она тоже. Наверняка. Иначе эта толстая соседская девочка, которая столько о них знала, наверняка бы мне рассказала. А впрочем, как еще они могли кричать в этой комнате с видом на Вислу, спустя два с лишним десятилетия после войны?

Облегчение, которое мог принести им мой отец, калечивший польский язык и евший при этом польский хлеб, было, ей-богу, невелико.

IV

В одну из зим он пропадал по воскресеньям на катке под окнами их дома. Забегал на минутку, проглатывал свою порцию шарлотки и снова мчался на лед.

— А почему мне нельзя кататься на коньках? — спросила я.

Моя мать ничего не сказала, только пожала плечами. Может, она и не знала почему, но чувствовала: чем проще моя

жизнь, тем для нее лучше. Где бы я ни оказалась, повсюду ухитрялась нарваться на неприятности.

— Потому что ты не успеваешь сделать даже самое необходимое, — ответила его мать. — Он идет на каток только после того, как выучит уроки.

Я уроки не выучила, мы все об этом знали. И знали, что с этими невыученными уроками я пойду завтра в школу. Проведи я вечер на катке, от этого ничего бы не изменилось. Еще мы знали, что, когда я вернусь домой, будет слишком поздно, чтобы писать сочинение, даже если бы я была в состоянии его написать. Пора будет ложиться спать — согласно совету его матери, которому последовала моя мать, борясь с моими постоянными опозданиями в школу. Если я продолжала к ним приходить, всякий раз обрекая себя на колкости и иронию, то, прежде всего, потому, что обретала в их доме некое подобие убежища. В воскресенье вечером, ощущая неуклонное приближение утра понедельника и катастрофы, которую оно с собой несло, я пряталась в этом доме — подальше от тетрадей, в которых отсутствовало то, чему полагалось там быть. Я наслаждалась истекающим воскресеньем, а часы увядали и опадали один за другим, словно последние лепестки цветка, целую неделю простоявшего в вазе, — от него уже вот-вот ничего не останется, голый стебель. Никто не мог меня в этом упрекнуть. Можно себе представить, как бы посмотрела на меня его мать, если бы я вдруг отодвинула чашку и разложила на столе тетрадь по польскому. Если бы достала ручку и, ломая голову над сочинением, начала мусолить перышко, и губы делались бы синими от чернил.

Я знала, что это такое — когда тебя ловят на слове, потому что меня ловили постоянно. Но в тот день, когда мне удалось подловить его мать, я была ошеломлена и с трудом преодолевала собственное бессилие.

— Тогда тебе не следует меня даже на порог пускать, пока я не сделаю самое необходимое, — выпалила я с бьющимся сердцем.

Мгновение они обе — моя мать и его мать — смотрели на меня, а я ждала. Такое им не обойти и не перескочить, думала я. Пускай поупражняются. Я хотела, чтобы они наконец признали, что все это вместе — то, чего они от меня требуют, и то, что запрещают, — противоречит одно другому.

В моей школе был зооуголок. В нескольких запертых на ключ застекленных шкафах стояли экспонаты — чучела обитателей леса, запыленные, слегка полинявшие от старости заяц, белка, ласка, еж, рысь и другие звери. И еще множество птиц, самых разных. Чучела стояли на деревянных подстав-

ках, к которым были приклеены пожелтевшие самодельные этикетки с красивыми, но неразборчивыми надписями. Школьная программа не учила распознавать птиц, а о лесных животных мы знали только, что большинство из них — вредители. Одни портят посевы, другие таскают кур и уток, третьи объедают кору деревьев. Быть может, много лет назад эти обитатели леса приехали к нам издалека, в товарном вагоне, вслед за офицерами и чиновниками, чьи дети пошли в немецкие школы, вслед за учителями, командированными в чужую страну. Потом семьи эвакуировали. Учителя тоже бежали, бросив чучела на произвол судьбы. Видимо, каким-то чудом те выжили, но в эту комнату попали только через несколько лет после войны, когда здание восстановили из руин. Шкафы тоже не были новыми, деревянные рамы носили следы долгой службы. Глаза у зверей были красивые — прозрачные и блестящие. Этими глазами из литого стекла они смотрели на нас сквозь дверцы, словно сквозь слезы. В этом классе один раз почему-то устроили родительское собрание, и моя мать потом долго не могла прийти в себя. Девочкой она как-то увидала в гостях чучело стоящей столбиком ласки, и ночью ей приснилась Халинка, сестра. Этот сон она помнила всю свою жизнь. Мать бы не рассказала о нем, если бы не была так глубоко потрясена. Во второй раз она рассказала мне этот сон перед смертью, принимая меня за кого-то другого. Во сне Халинка стояла столбиком, как живая, но застывшая, неподвижная. Вблизи сразу делалось понятно, что это чучело. Она смотрела прямо перед собой широко раскрытыми стеклянными глазами. Возможно, моя мать винила себя за что-то, оставшееся невысказанным и скрытое в этом сне. Быть может, чувствовала себя виноватой каждый раз, когда о нем думала. Быть может, чувствовала себя виноватой и тогда, когда о нем не думала. Каждый раз, когда видела Халинку. Быть может, чувствовала себя виноватой каждое воскресенье, предназначенное для общения с родственниками. Быть может, каждый раз пыталась искупить свою вину.

Вместе они были силой. И в тот воскресный вечер тоже, как всегда, действовали заодно. Вышли из положения очень просто. Не отступили, не запутались в противоречиях. С легкостью перескочили препятствие. Одновременно отвели от меня глаза и заговорили о другом. О чем-то, не имеющем к нам никакого отношения.

На Рождество он получил новые коньки, потому что старые были ему уже почти малы. Ему все моментально становилось мало, не то, что мне. Вещи, которые мне покупали, были

только немного на вырост — родственники и в этом смысле не переоценивали моих возможностей, — и все равно я носила их гораздо дольше, чем мать рассчитывала. Нога у меня была самая маленькая в классе, в раздевалке смеялись над моими ботиночками. А он был для своего возраста довольно крупным и обещал подрасти еще. Обнаружив под елкой коньки, он даже подпрыгнул от счастья. Он умел красиво радоваться. И давно мечтал о хоккейных коньках.

— Я бы тоже хотела коньки, — снова завела я.

Родственники пропустили это мимо ушей. Он один услышал. Принес черные фигурные коньки — те, из которых почти вырос, и положил мне на колени. Он и в самом деле умел быть милым. Это были мои первые коньки. Я была счастлива и даже пожалела, что не умею радоваться так красиво, как он.

Я сразу поняла, что они мне велики. Но решила поскорее до них дорасти. Примеряла каждый год в начале зимы. Когда я поступила в лицей, оказалось, наконец, что коньки впору — правда, на толстый носок. Все равно немножко велики, но я уже потеряла терпение: время шло, я не желала больше ждать. Когда, надев их, я встала на ковер, у меня задрожали колени, я почувствовала, как подозрительно напряглись сухожилия в щиколотках. Ничего, подумала я, сейчас пройдет.

По ярко освещенной глади катка все катились в одну сторону — вероятно, чтобы не натыкаться друг на друга. Но все равно сталкивались, — впрочем, мне показалось, что это доставляет им удовольствие, — а из охрипших репродукторов неслась веселая, громкая музыка. Я не ожидала, что, выйдя наконец на лед, остановлюсь, как вкопанная. Меня не пихали, наоборот, осторожно объезжали, но я знала, что должно быть не так. Как должно быть, я пыталась понять, наблюдая за другими. Попробовала оттолкнуться краем конька, проехала метра полтора, не больше, и упала.

Тот мальчик учился в нашей школе, в выпускном классе, я встречала его в коридоре. Но там, на льду, я сперва увидела его хоккейные коньки. Он подъехал задом и уверенно затормозил краем конька — так, что раздался скрежет, и на лезвии осела ледяная пыль.

— Привет, — сказал он, наклоняясь. — Давай руку.

Я позволила ему помочь мне встать. Это было даже приятно. Я поднялась и, чтобы он не подумал, будто я неловкая, поскорее оттолкнулась снова. Проехала столько же, сколько в первый раз, и упала. Ударилась, на глаза навернулись слезы, уши горели. Он провел пальцем по острию моих коньков и рассмеялся. У моих коньков острия не было.

— Ты не знала, что коньки нужно точить? — спросил он.

Я заметила его приятелей, которых тоже знала в лицо. Они остановились неподалеку, у бортика, постояли мгновение и покатили дальше. Я подумала, что он тратит на меня драгоценное время, которое мог бы провести с ними. Подумала, что он так любезен со мной, потому что ему не сказали, кто я: та, которую никто не любит. Та, которую невозможно любить.

По воскресеньям, как и прежде, мы общались с родственниками.

— Как дела? — спрашивала она, мать своего сына.

Я стала значительно благоразумнее. И иллюзий больше не строила.

— Потихоньку, — отвечала я, умалчивая о том, что копилось и копилось, чтобы в конце четверти обрушиться на мою голову.

Он обычно исчезал вскоре после моего прихода — тут же выяснялось, что договорился встретиться с приятелями. Зато порой я встречала там Аню. Аня была, можно сказать, членом семьи. Ее мать дружила с его матерью, они познакомились, когда та вернулась из немецких лагерей. Я любила Аню, но очень стеснялась — абсолютно всего, что было связано с моей жизнью, но больше всего — иронического тона, каким со мной разговаривали, несмотря на ее присутствие. Эти иронические интонации отделяли меня от Ани, словно железная сетка. Бантик носила из шелка, перья подрезав на челке. Мне не давали об этом забыть. Бантик появлялся невесть откуда, едва его мать прикасалась ко мне волшебной палочкой иронии. Я боялась, что стоит мне открыть рот, как раздастся кряканье. И была убеждена, что, если упорно игнорировать собственную комичность, выглядишь менее комично. Я надеялась, что таким образом можно и других заставить ее не замечать. Я знала, что даже неискренний смех делает объект насмешки смешным. Не раз с этим сталкивалась. Так нельзя ли запустить механизм в обратную сторону: не исчезнет ли комичность, если ее упорно игнорировать? Но я также знала: для того чтобы навязать другим людям что-либо — и смех, и серьезность, а в особенности уважение, — требуется превосходство сил. А сил у меня не было.

— Не бери на себя больше, чем нужно, — успел мне в свое время посоветовать лис, — прежде, чем исчезнуть. — Скрывать страдания — страшное бремя.

Чем лучше у меня получалось скрывать страдания, тем больше крепла за нашим столом уверенность в том, что, раз я такая бесчувственная, проявлять такт не стоит. Так же об-

стояло дело в школе. Побочный эффект притворства — будто мне не больно. Но я всегда видела, как держатся моя мать и его мать, их пример был у меня перед глазами, я видела, какое превосходство дает подобная выдержка. Поэтому я предпочитала скрывать страдания, нести свое бремя и надеяться, что я все вытерплю. Я восхищалась Аней, которая на вопросы его матери отвечала охотно и свободно, без опаски. Я завидовала ей, но подражать не пробовала. Я видела, что перед Аней открываются иные возможности, нежели те, что выпали мне. Ведь мои возможности зависели не только от меня.

Однако если бы он, сын своей матери, спросил меня о черных фигурных коньках, я бы не удержалась. Я бы рассказала ему, что коньки нужно точить. И что те, которые он мне отдал, теперь поточены. Возможно, я бы даже рассказала ему, что парень с катка стал со мной здороваться, встречая в школьных коридорах. Видимо, считает, что мы знакомы. Я знала, что, если мы снова увидимся на катке, я могу на него рассчитывать. Надеялась, что он научит меня ехать задом и тормозить. Но он, ее сын, про свои коньки не спрашивал, поскольку уже давно успел о них забыть. Я хотела перекрасить ботинки в белый цвет, чтобы было похоже на дамские. В результате добилась лишь сомнительного серого. Получилось хуже, чем если бы я оставила всё, как есть. Белая краска, вместо того чтобы прикрыть одно, сделала заметным другое. По моему конькобежцу нельзя было понять, заметил ли он что-нибудь. Но вскоре я уже умела двигаться вперед и назад и, в случае необходимости, тормозить краем лезвия. Весной, когда каток закрылся, он пригласил меня на прогулку.

Следовало вести себя осмотрительно. Если мне и случалось раньше кем-нибудь восхищаться, то только тайно. Я не обременяла своим восхищением окружающих — вдруг бы они не знали, как с ним поступить, вернее — как от него избавиться. Сдержанность, к которой приучила меня мать, казалась мне гарантией безопасности. В дошкольные времена, когда я еще делала попытки ее обнять, она осторожно, но решительно отстранялась. Я догадывалась, что у меня липкие руки, и начинала догадываться, что столь же неприятны на ощупь могут быть мои чувства. Она давала мне понять, что придется упрятать их поглубже, возможно, даже проглотить и устроить тайник на самом дне желудка, поскольку снаружи места для них уж точно не найти. У нее, матери сына, я научилась ироничным взглядам, которые, как я надеялась, отведут от меня всякие подозрения. Другими словами, я, в сущности, умела все, что казалось мне необходимым для общения с человеком, которым я восхищаюсь. Я знала, какие усилия

нужно приложить, чтобы такой человек внезапно меня не покинул. Но не могла избавиться от мысли, что раз мое восхищение ему ни к чему, это все равно произойдет — так или иначе, рано или поздно. Я с самого начала высматривала признаки грядущей разлуки.

Лиса я не видела уже так давно, что почти перестала по нему скучать. Его уроки я забросила, потому что они касались того, что происходило со мной раньше, а не теперь. Я пересчитывала тех, кто меня бросил, и тщетно искала причину. Пытаясь понять, чем я отличаюсь от других, не находила ни одной зацепки — а ведь я наблюдала за ними, видела, что их так просто не бросают. Почему же?

Почему? Этот вопрос пульсировал у меня в голове и в сердце, его невозможно было оттуда выкинуть, хотя я чувствовала, что ответа не последует. Почему? Потому. Без всякой причины. Видимо, таков порядок вещей. Холодок, которым тянуло от этой мысли, показался мне знакомым. Я была уверена, что причина, если и существует, разуму неподвластна, подобно правде о происхождении Вселенной. Мать моего конькобежца я видела только дважды. Она была очень любезна, но во второй раз мне показалось, что она не считает, будто это подходящее знакомство для ее сына. Я приглядывалась к их дому, не похожему на наш. В нем отсутствовала привычная мне мертвенность. У них все время что-нибудь происходило. Однажды появился старший брат, студент в очках, подал руку младшему. Поклонился мне и подмигнул. Была еще младшая сестренка, кривляка, которая как-то вошла, не постучавшись, в комнату братьев — мы были там одни и конькобежец меня обнимал. Я разглядывала его в те моменты, когда он задумывался, — то есть в те моменты, когда он со мной скучал. И мне приходило в голову, что я могла бы быть счастлива, но не счастлива. Чья это вина: моя или его? Не помню, чтобы он еще хоть раз рассмеялся так же беззаботно, как тогда, на катке. Может, потому, что я слишком себя контролировала? Или потому, что контролировала недостаточно? Позволила себе слишком много? А может, что бы я ни делала, это не имело ни малейшего значения? Я ли хочу знать слишком много, или он слишком загадочен? Пространства, в которых мы существовали, показались мне громадными, скользкими и холодными, словно поверхность катка. Я видела себя стоящей в центре, на дрожащих ногах, а он кружил вокруг, все быстрее и все ближе к бортику. Постепенно я перестала ждать, что он протянет руку помощи и покажет, как ехать вперед и назад и как тормозить.

В школьных коридорах я его больше не встречала. Занятия в выпускных классах закончились, он сидел дома и готовился к экзаменам. Потом он собирался поступать в университет, дальше начинались каникулы. О каникулах он не заговаривал, ни о чем не спрашивал и свои планы со мной не обсуждал. Я догадывалась, что он, как всегда, проведет лето на озерах, плавая на паруснике, где не будет меня. И познакомится с кем-нибудь, кто не будет мной. А осенью мы больше не встретимся, и нашему знакомству придет конец. После уроков я возвращалась домой. Ложилась на тахту, укрывалась пальто и, периодически задремывая, ехала по пустому послеобеденному пространству, словно замерзшая пассажирка в неотапливаемом вагоне. Лишь бы добраться до конечной станции вечера, где меня ждала пересадка в горячую ванну. Это мертвое глухое отчаяние было мне откуда-то знакомо, я узнавала в нем фундамент моей жизни, то, с чего она началась, ее главный сюжет. Я не металась. Еще чего-то ждала, но не знала, чего именно. Омертвела, но не ощущала этого. Когда возвращались мать или отец, я просыпалась от скрежета ключа в замке. Воскресные дни я тоже проводила на тахте.

— Я ухожу, — говорила моя мать. — К Халинке. Пойдешь со мной?

— Нет, — отвечала я, переворачиваясь на другой бок.

Когда дверь за ней закрывалась, я доставала тетрадь, возвращалась на тахту и в тоске выводя корявые буквы, вымучивала сочинение.

В самый обычный понедельник или четверг меня разбудил звук поворачиваемого в замке ключа, и тут же в прихожей раздался его голос. От волнения я затаила дыхание. Чуть не задохнулась, прислушиваясь. Это был неразборчивый конец какой-то фразы, начатой, очевидно, еще на лестнице. Вероятно, там, у двери, они встретились — моя мать и он. Похоже, он не стал снимать ни куртку, ни ботинки — скользил по полу на суконках. Я неслучайно ни разу не пригласила его к себе. Я не хотела, чтобы он узнал, как выглядит мой дом, по которому в мертвой тишине бродили не мною впущенные туда эсэсовцы. И в котором я была никем, пустым местом. Я предпочитала встречаться с ним где угодно, только не у нас дома. Он эти встречи, впрочем, уже почти прекратил. Уже почти меня бросил. Я ждала всего чего угодно, только не его визита. Поэтому лежала неподвижно на тахте, и лишь мое перепуганное сердце билось все громче. Я тщетно пыталась его утихомирить, боясь, что стук меня выдаст. Глаз я не открывала. Если бы я их открыла, пришлось бы подняться и что-то говорить. Я бы не знала, каким чувствам предоставить право

голоса в первую очередь, какие слова употребить. Что сделать и чего не делать, чтобы не упустить бесценный шанс, неожиданно подаренный этим днем. Я хотела, чтобы все снова стало таким простым, как в самом начале, когда он рассмеялся и воскликнул, что коньки нужно точить. Но где тот путь, который мог бы привести нас обратно, в ту точку на краю катка? Если бы я встала, у меня бы подкосились ноги, я бы, наверное, покачнулась, того и гляди — коньки вдруг снова разъедутся в разные стороны. Я слишком боялась упасть на лед, поэтому продолжала лежать, натянув на голову пальто. Мне стало бы легче, если бы он подошел и сел рядом. Но он этого не сделал, глухой к моим безмолвным мольбам. Я не учла одну важную вещь. Притворившись спящей, я сама себя вычеркнула из списка действующих лиц и в этой сцене сыграла роль беспомощного реквизита. Я не знала, какими взглядами они обменялись, прежде чем вновь прозвучал его голос.

— Что ж, не буду мешать, — сказал он моей матери.

Суконки снова заскользили по полу, потом закрылась входная дверь. Оказывается, это и был конец нашего знакомства.

Я ходила по аллеям парка, вдоль цветущих каштанов. Пока что я знала, чем он занят, и, игнорируя действительность, воображала, будто не все потеряно. Он еще только сдавал выпускные экзамены. В начале июля начались вступительные экзамены в университет, сразу после этого он собирался уехать на озера. Я была не в силах запретить себе бродить по его следам. Когда он, все более загорелый, плавал под парусом, я читала его фамилию в списке первокурсников на стенде в университетском дворике, гордая и одновременно задетая за живое. В его отсутствие летняя жара растопила тот незримый каток, на котором я не умела удержать равновесие, и оказалось, что подо льдом ничего нет. Всю осень я продолжала плыть в пустоте, перебирая ногами и не ощущая под ними дна. Когда выпал первый снег, я встретила на улице его мать. Поклонилась. Она кивнула мне и прошла, не останавливаясь.

Иначе это и не могло кончиться. Я чувствовала это, была уверена. Но почему? Потому. Наступила зима, и я снова стала ходить на каток, уже одна. Теперь мне и не хотелось, чтобы кто-то был рядом. Я была даже рада, что не встречаю его там. Видимо, в университете он был очень занят. Или, может, девушка, с которой он познакомился на озерах и которая не была мной, любила только воду, а лед — нет. Я каталась вперед и назад, вовремя тормозила. Это были простые действия, а с простыми я научилась справляться. Иногда кто-нибудь мне

улыбался. Дома батареи были едва теплыми, в школе тоже стоял холод, а на катке я согревалась. Едва сняв коньки, моментально начинала мерзнуть, и так до самой весны. От учителя физики, иронизировавшего над прогнозами погоды, согласно которым, со всех сторон неустанно наплывали массы морозного воздуха, я случайно узнала, что во всей Вселенной царит леденящий холод. В конце концов, не замерзла же я на смерть, думала я во время выпускных экзаменов, когда в парке снова цвели каштаны. Если я когда-нибудь снова буду кем-нибудь восхищаться, следует помнить о неизбежном: это обернется страданиями.

В выпускном классе я познакомилась на катке с другим парнем. Нет, на сей раз я не восхищалась. Для этого он был слишком похож на меня. Но я любила на него смотреть. Дело продвигалось вперед медленно, порой надолго возвращаясь к исходной точке. Я не принималась тут же лихорадочно искать причину, что, вероятно, сыграло не последнюю роль. Не впадала в отчаяние, если он не звонил, как обещал, и потом надолго исчезал. Занят, думала я. Мне бы и в голову не пришло, что его отсутствие может скрывать за собой страдание. Я не могла себе представить, что могу для кого-то значить больше, чем для себя самой, а ведь для себя самой я значила так мало. Мне не казалось, что без него я умру, я не высматривала признаков приближающейся разлуки.

— Странный какой-то, — таков был вердикт моих новых подружек-однокурсниц.

Я пожала плечами. Он был немного странным, я тоже это замечала. Мне импонировали его достоинства. Когда после концерта мы шли в кафе, он, изображая симфонический оркестр, напевал мне отдельные фрагменты, тут же сравнивая их с другим исполнением, услышанным когда-то по радио. Люди за соседними столиками оборачивались и прислушивались. Мои чувства нагревались ненадолго и никогда докрасна. Чего-то не хватало. Я не была уверена, что эта история вообще имеет смысл. Надо будет как следует все обдумать, мелькала у меня мысль. Но я откладывала это на потом. Пока, наконец, однажды он не сказал, что хочет со мной расстаться. Мы сидели в кафе после концерта, он размешивал в чашке сахар. Я подумала, что, наверное, ослышалась, а он продолжал мешать ложечкой в чашке, и конца этому не было.

— Почему? — спросила я после долгой паузы.

Он, наконец, отложил ложку, посмотрел мне прямо в глаза, и на мгновение мне показалось, что он знает обо мне все, видит насквозь каждую мысль и каждое чувство. Но он ничего не сказал. Я не выдержала этого взгляда, отвела глаза. Я не

хотела вникать, что именно меня смутило. И была ему благодарна за молчание.

Потом мы еще долго дружили, изредка встречаясь, чтобы вместе сходить на концерт — поскольку на концерты, которые его интересовали, сложно было уговорить пойти кого-то другого, — а потом он исчез, не попрощавшись. Просто уехал за границу и не вернулся. Говорят, теперь живет в Америке. Но точно я не знаю: он ни разу мне не написал.

То, что я сдавала зачеты, что никто не проверял тетради и никто на меня не кричал, сперва немного меня тревожило. Что касается конспектов, без них я как раз неплохо справлялась. Можно было надеяться, что меня не выгонят, и я закончу вуз, как все. Но что дальше? Я пыталась вспомнить, почему выбрала именно его — и была уверена, что создана для чего-то другого, уж точно не для этого. Так что же, это станет моей профессией? Навсегда? Я слушала преподавателей, но не слишком внимательно, порой смотрела не на доску, а на облака за окном и теряла нить рассуждений. После первого экзамена меня осенило. Я поняла, что надо делать, чтобы не провалиться. Надо выучить. То, что я в состоянии выучить, оказалось нежданным даром, которому я продолжала радоваться вплоть до самого диплома. Однако опасалась, что сам диплом меня не обрадует. Решит ли он мою судьбу? Заставит ли сжечь за собой мосты и всю оставшуюся жизнь посвятить этой профессии? Я уже не беспокоилась, справлюсь ли, но знала, что всегда стану тосковать по чему-то другому. О будущем начну беспокоиться в будущем, думала я. Мне удалось убедить себя, что будущее никогда не наступит. А потом оно вдруг накатило на меня, в тот самый момент, когда я забирала в деканате свой диплом. Я расписалась на бумаге, которую мне протянули, спрятала диплом в рюкзак и вышла на улицу, выбитая из колеи, по которой моя жизнь так спокойно текла на протяжении всех лет учебы. Еще некоторое время я бродила по миру, утратив не только почву под ногами, но и будущее. Методом проб и ошибок искала дело, для которого создана. Привыкала к мысли, что его не существует.

— Чего бы тебе хотелось на Рождество? — спросила однажды моя знакомая, недавно вышедшая замуж.

Прежде, чем я отважилась ответить, мне пришлось призвать на помощь тот иронический взгляд, которому я между делом выучилась в предназначенные для общения с родственниками воскресенья.

— Того парня, — сказала я, — с которым я видела вас на углу Маршалковской и Хожей.

— Рыжего?

Она привела его ко мне через три недели. Он носил американскую военную куртку. Серо-зеленый цвет был ему к лицу. Моя знакомая оглядела нас, словно хотела убедиться, что получится красивая пара, после чего представила.

— Это Рыжий, — заявила она. — А это Малышка.

В следующий раз Рыжий пришел один — дорогу он теперь знал. А я теперь знала его фамилию.

— С Кресов? — осмелилась я спросить.

— Да, с Кресов, — сказал он и внимательно посмотрел на меня. — А что?

Ах, Кресы...

Потом он стал приносить мне книги, которых не было в книжных магазинах, и горький шоколад, которого не было в продуктовых. Я тогда думала, что все это он делает для меня потому, что не знает, кто я: никто ему не сказал. Уж моя знакомая точно бы не сказала, ведь она меня любила. Я была полна решимости сделать все, что в моих силах, чтобы он не узнал и впредь, как можно дольше. Но я ошибалась. Это я не знала, кто я такая.

Со временем я осмелилась показать ему своих родственников. Мы зашли к ним в воскресенье. Я предусмотрительно спланировала этот визит так, чтобы он не слишком затянулся: мы заранее купили билеты в кино. Штамп со временем начала сеанса был призван обезопасить меня от погружения в предательский водоворот общения с родственниками. Я представила его по имени, в моих устах прозвучавшего неловко — я никогда к нему так не обращалась, — и поспешно прибавила фамилию, облагороженную патиной Кресов. Он улыбнулся, когда сестра матери протянула ему руку. Я заметила, что они не в восторге, особенно ее сын. Он сразу ушел, даже не притронувшись к шарлотке, и сидел в своей комнате до самого нашего ухода. Но когда мы одевались, она наконец тоже улыбнулась и спросила его о родителях: они переехали с восточных территорий после войны, не так ли? Он удивленно кивнул.

— Не знаю, что и думать, — сказал он мне, когда мы снова оказались на улице. — Они такие...

Не найдя подходящего определения, он умолк. Я попыталась объяснить ему правила, действовавшие в моей семье с незапамятных времен.

— Я простой лесной зверь, — ответил он. — То, что ты говоришь, кажется мне слишком сложным.

Однако после следующего визита он уже знал, что думать, и не преминул мне об этом сказать.

— Не позволяй им садиться себе на голову. Не перебарщивай со смирением. В этом нет никакой доблести, совсем напротив: ты вводишь их в заблуждение. Они должны знать границы.

Он не был похож на меня, ничуть. Но я уже знала, что разглядела в нем, внезапно осененная интуицией, когда он, еще чужой, разговаривал с моей знакомой на углу Маршалковской и Хожей.

Настоящие сложности начались гораздо позже, в один из Сочельников, когда мы пришли к ним с полуторамесячным младенцем.

— На кого же он похож? — задумалась она, мать своего сына.

Я не поддержала разговор — надеялась, что ни на кого из нас. Я предпочитала искать в нем черты сходства с моим мужем.

— На других младенцев, — сказала моя мать, которая младенцев не слишком жаловала. У малыша болел животик, и, пока он плакал, мы не могли сесть за стол, потому что мой муж его укачивал. Обычно это помогало, но не сразу. Он, сын своей матери, будто бы в шутку напоминал о первой звезде, которая уже давно взошла, но я видела, что он голоден и зол.

— Он вас просто шантажирует, — сказал он наконец и добавил, обращаясь к моему мужу: — Если так и дальше пойдет, ты и оглянуться не успеешь, как будешь таскать на ручках здоровенного лоботряса.

Мой муж отдал мне малыша, который начал засыпать. Я стала ходить с ним туда-сюда, слегка покачивая. Они оба смотрели на нас.

— Признайся, только честно, — отозвался мой муж и подмигнул ее сыну, — ты мне чуть-чуть завидуешь, а?

Сын не смог сразу ответить, задумался и думал долго. Наморщил лоб: было ясно, что он наводит на моего мужа какое-то мощное орудие. Слишком большое, чтобы зарядить его в одиночку, так что залпа мы так и не дождались. Малыш успокоился, мы сели за стол, а ему все что-то не давало покоя. Он хмуро взглянул на меня.

— Можно дать ему селедки? — спросил он.

— Нет, — ответил за меня мой муж. — Животик заболит.

— От селедки точно ничего не будет. Живот у него болит от вашего грудного вскармливания.

Его мать хотела продолжить с моей матерью разговор о делах, которые никак не касались нашей семьи. На сей раз это был театральный спектакль, не вчерашний и не позавчерашний. У нас были более актуальные проблемы.

— Что за чушь, — сказала я ему, ее сыну. — Просто уши вянут.

Он отложил вилку и нож и стал ждать, пока сработает привычный сценарий. Первой очнулась моя мать — чуть замешкавшись, словно бы не сразу заметив, что я веду себя неприлично. Ей пришлось напрячься, чтобы сыграть свою роль.

— Что ты себе позволяешь?

— А что такого? — спросила я.

От моей матери так легко было не отделаться, после стольких лет она прекрасно знала, что я не нуждаюсь в объяснениях. Объяснять можно было постороннему человеку, который совершенно не в курсе наших дел. Хотя тоже не стоит. Мысли постороннего человека могут разлететься в непредсказуемых направлениях, а выводы — не совпасть с теми, которые готовы представить ему мы. Ведь правом санкций, чтобы призвать постороннего к порядку, мы не обладали.

— По-моему, тебе следует извиниться, — заметила она.

Его мать вежливо промолчала, но и она, очевидно, полагала, что мне следует извиниться.

— Но за что? — допытывалась я.

Они посмотрели на меня особым взглядом, тяжелым, как свинец, который был призван предостеречь: не следует перегибать палку. Для такого взгляда у меня не было подходящего ответа. Они хотели, чтобы я перестала валять дурака. Не могли понять, почему я упорствую. Добивались, чтобы я не увиливала и взяла на себя ответственность, и не только за сказанное только что. Прежде всего — за поведение моего мужа, с которым им не пришлось бы общаться, если бы не я. За его шутки, для которых за нашим столом не было места. Прежде мы знали лишь одну разновидность шуток, лишь одну траекторию, по которой они могли перемещаться. Шутки иного рода, особенно если они обладали подобной убойной силой, но противоположным направлением отдачи, не имели права на существование. Однако мой муж оказался неуязвим для родственников, наказать его было невозможно: он как раз и являлся тем самым посторонним, не обученным элементарным правилам, его мысли разлетались в непредсказуемых направлениях. Муж совершенно не понимал, что означают подобные тяжелые взгляды, интуиция не подсказывала ему, что он играет с огнем. Он смотрел на сестер — то на одну, то на другую, — словно видел впервые, и мне казалось, что муж изо всех сил пытается сохранить серьезность. Что до него, мы все знали, что он не притворяется. Он не устыдится, не сму-

тится, а потом еще выдаст какой-нибудь на редкость глупый вопрос. Кто-то должен был за все это расплачиваться. Родственники полагали, что имеют право взять заложника. Я понимала, что если в своем упорстве зашла так далеко, то отступать не стоит. Уж лучше отстреливаться, подобно повстанцу, который предпочитает погибнуть, чем попасть в плен. Но на это я не могла решиться. Мысль о сражении внушала мне тревогу: ведь отстреливаясь, я могла бы ранить кого-нибудь из нападавших. Никто никогда не учил меня сражаться так, чтобы обойтись без кровопролития. Наоборот, меня приучали к безусловной капитуляции по команде, но и это выходило у меня не слишком ловко. Прежде я умела только убегать.

Так что же — бежать? Бросив их всех за рождественским столом? Встать и уйти вместе с малышом? Я чувствовала, что времени на раздумья нет. Если я не сделаю это немедленно, то упущу мгновение, когда нечто подобное вообще возможно. А если упущу мгновение — то когда опомнюсь? Когда смогу показать им границы дозволенного и чему научу нашего сына? Через несколько лет, возможно, будет уже поздно. Я выбрала выход не столь ужасный, не тот, в конце которого хлопала входная дверь. Ушла в другую комнату.

Мой муж покинул их без всяких угрызений совести, как только они вернулись к разговору, не имевшему к нам никакого отношения. Он вошел в комнату, где я сидела с малышом, не зажигая света. Несколько секунд, пока он не закрыл за собой дверь, до меня доносились обрывки того разговора.

— ...отсылает к Беккету...

— Однако мне представляется...

Он зажег свет, улыбнулся, поднял руку и сделал жест, которым пару лет назад все мы поддерживали друг друга, а спустя еще несколько — прощались с уходящим режимом.

Они не сменили тему и не прервали разговор — даже когда мы сказали, что уходим, даже когда одевались в прихожей, даже когда натягивали на малыша комбинезон. Даже когда закрывали за собой входную дверь. Они все еще были на прежнем месте, со своим спектаклем, который требовалось немедленно обсудить. Не обращали на нас внимания, и каждая реплика, не имевшая к нам никакого отношения, укрепляла их веру в то, что наш уход — продолжение прочих моих чудачеств, с которыми они имели дело прежде. Что он так же необъясним, и не только для близких. Точно так же невозможно было бы объяснить его остальному миру, в том числе китайцам и эскимосам. И что именно они трое, сидевшие за столом, в отличие от нас, которые спускались по лестнице, олицетворяют приличия и норму. Это мы нарушаем обще-

принятые правила нормального поведения, а потому с нами не стоит и разговаривать. Они не сомневались, что публичное осуждение — тень которого всегда витала над ними при общении с родственниками — наверняка было бы направлено против меня. Убеждены, что мой муж пока просто ослеплен и этого не замечает, но, когда он разберется, непременно перейдет на их сторону — разве что у него тоже с головой проблемы.

А также — и прежде всего: шантаж недопустим. Ведь чем, как не шантажом, был мой уход из-за стола? Нужна твердость, а не мягкость, в этом они были уверены. Из мягкости еще никогда не вышло ничего хорошего.

— Что за ерунда, — сказал мой муж. — Ни один человек не создан для того, чтобы терпеть унижения. Если мы требуем подобающего к себе отношения, это еще не шантаж. А мягкость может дать очень много хорошего. Правда, и твердость иногда уместна. Они ничего в этом не смыслят. Живут в своем мире.

Так или иначе, случилось то, что случилось, и остаться мы не могли. Я жалела. В том числе из-за малыша. Я ведь хотела прописать его в этой семье. А будет ли это возможно, если нам самим откажут в прописке? Да я тоже тосковала по нормальности.

Когда по воскресеньям, предназначенным для общения с родственниками, мы ели шарлотку, вокруг неизменно рассаживались бесчисленные незримые присяжные, которых мы сочли вышестоящей инстанцией потому только, что за ними струйкой почерневшей крови не тянулось ненормальное прошлое. Это был трибунал единомышленников. О какой разнице мнений может идти речь, если дело касается нормы? Мы смотрели на самих себя глазами посторонних людей, более пристально, чем они сами. Да нет же, ничего подобного! — возмутилась бы его мать. В ее голосе послышалась бы знакомая ирония, которая подсказывала, что мне при всем желании не удастся вывести ее из равновесия. Снова ты что-то нафантазировала, моментально вставила бы моя мать. А их мать была бы счастлива, что они во всем соглашаются друг с другом и что в интересах согласия старшая теперь так легко уступает младшей. Ведь, наверное, так было не всегда. Возможно, когда-то, давным-давно, ей приходилось подавлять бунты, добиваясь согласия, рассудительности и ответственности, особенно от старшей, поскольку к старшим — другие требования. Бунт угас навсегда, если не тогда, то позже, при других обстоятельствах, каких никто не мог предвидеть. От

него осталось лишь далекое воспоминание о сне, в котором та, младшая, стояла столбиком и смотрела прямо перед собой остекленевшим взглядом.

Но согласие — не гарантия правоты, а лишь ее иллюзия. Я же училась не поддаваться иллюзиям и не доверять истинам, которые им обеим казались небесполезными. Это они вдвоем тайком отдали нашу семью под трибунал. Его вердикт о том, что допустимо, а что нет, считался окончательным. То, что присяжные сидели у себя дома, занятые собственными родственниками и собственной шарлоткой, вовсе не мешало им высказываться по нашим проблемам. Мы могли обратиться к ним в любой день и в любое время — к этим фигурам, населявшим нашу память и наше воображение.

Вот почему трибунал этот работал семь дней в неделю и был в курсе всех вопросов, которые нас волновали. Среди присяжных я увидела бы свою учительницу из начальной школы, ту, у которой — о да! — имелись собственные проблемы, но ведь не такие, как эти, не такие! И ее подругу, которая схватила меня за шиворот, убежденная, что, разговаривая с таксистом, я совершаю тяжкий проступок. И гордившегося своей дотошностью учителя русского языка, который в конце концов перешел на работу в спецслужбы. И отца моей одноклассницы, который во время родительских собраний поучал других родителей менторским тоном партийного функционера — он всегда знал, что надо сказать, ни слова от себя лично. И того симпатичного конькобежца, что потихоньку выскользнул из моей жизни, еще поспешнее, чем я того ожидала. И продавщиц окрестных магазинов, особенно из овощного. И сапожника. Кроме них я увидела бы в этой толпе множество незнакомцев, короче говоря, всех, с кем моя мать и его мать когда-либо сталкивались во время учебы или работы. А также пассажиров автобусов, в которых я каталась по городу, когда забывала ключ от квартиры, даже старушку с одиноким желтым зубом, которая навела меня на мысль, что отец моей одноклассницы притворяется тем, кем на самом деле не является. Быть может — даже неофициальные делегации китайцев и эскимосов. Мой муж, который носил "кресовую" фамилию, казался просто идеальным кандидатом в члены этого совета, а возможно — в его председатели. За ним стояли пейзажи Кресов, более живописные, чем наши, за ним тянулись истории Кресов, не похожие на наши, и я ему завидовала.

— Там тоже не все было так уж безоблачно, — попытался он умерить мой пыл.

Родственники от моего замужества ничего не выиграли. Муж не пожелал присоединить свой голос к вердикту, подтверждающему, что все они, за исключением меня, абсолютно нормальны, точно так же, как сами судьи и прочие окружающие. Что их нормальность ничем не отличается от той, образцово-показательной.

— Да я себя и сам не считаю вполне нормальным, — говорил мне муж, с легкостью отказываясь от статуса судьи.

Вскоре его лишили права выносить приговор. Раз связался со мной, да еще имел обыкновение при каждом удобном случае становиться на мою сторону, они сочли, что у моего мужа больше общего с нами, чем со скамьей присяжных, — причем общего с той частью нашей семьи, с которой родственники отнюдь не жаждали себя идентифицировать. Так что он не может высказываться по нашим вопросам. Должен не судить, а, скорее, сам быть осужден. На будущее же решили, что безопаснее назначать присяжных заочно и таким же образом получать вердикты, гласящие, что в поведении наших матерей нет ничего необычного, оно абсолютно понятно для любого нормального человека. Трибунал не располагал уликами, указывающими на то, что им когда-либо было отказано в праве на существование, что их преследовали или унижали. Разве им доводилось ехать в вагоне для скота — в неизвестном направлении, задыхаясь в давке и темноте? Эти факты можно с чистой совестью стереть из памяти — как не оказывающие никакого воздействия на нашу жизнь.

Тут его мать поняла бы, что проговорилась о том, что она не желала ни с кем обсуждать, и принялась бы смеяться, а моя мать вторила бы ей по мере сил. Смеяться сестры начинали, когда у них опускались руки. Смех был последней соломинкой, за которую они хватались, когда не оставалось другого способа убедить меня в том, что я веду себя совершенно по-идиотски. Это был как раз такой смех, какой порождает комичность, создает ее из ничего. Но для этого нужна соответствующая сила, как и для любого другого насилия, поэтому в подобные мгновения моя мать никогда не бросала его мать. Она смеялась вместе с ней, этим механическим смехом, в котором не было ни грана веселья, и смотрела прямо перед собой отсутствующим, остекленевшим взглядом.

Они знали: чтобы удовлетворять завышенным критериям нормальности, нужно иметь детей. Но, появившись на свет, дети все усложняли. Покой матери и ее сестры базировался на непоколебимых представлениях о правде и неправде, на уверенности в том, что одни способы восприятия фактов подкреплены основательной базой, другие же нелепы. Им и

в голову бы не пришло подвергнуть испытанию то, во что они верили. А ребенок любопытен и бестактен, для него нет ничего святого. Он готов обнажить слабые места не подлежащих сомнению истин и оспорить их все по очереди, даже не подозревая об этом. Разумеется, не любой ребенок, а тот, который по каким-то причинам противоречит исповедуемым принципам. Его мать не верила в воздействие пережитых бед на нашу жизнь, считала, что это выдумка, такая же, как подсознание или механизм вытеснения неудобных фактов. Мир казался ей немудреным и объяснимым на двести процентов. Похоже, моя мать разделяла ее мнение. А ведь сон из детства — тот, о Халинке со стеклянными глазами — никогда бы не обратился в угрызения совести, если бы позже не произошли всем известные беды или если бы беды эти ни на что не повлияли.

Вдвоем они могли все, особенно пока дети были маленькими. Они управляли законами природы, а дети — ничем. Они единодушно полагали, что даже если ребенок немного напоминает родителей, то лишь внешне и поверхностно. И что он не учится у взрослых ничему, кроме того, к чему его желают приучить, а в некоторых — особых — случаях не учится даже этому. Обе считали нежелательные черты характера врожденными, что вовсе не означает — наследственными. Человеку от природы — они глубоко в это верили — дано стремление быть плохим или хорошим, вполне нормальным и, следовательно, достойным уважения или же — чудаком и безумцем. Таковы уж дети, думали они, это лотерея: одни рождаются легкими, другие — трудными. Это никак не связано с прошлым, а главное — никак не связано со всем тем. Эсэсовцы, которые бродят по комнатам и занимают в них столько места, что его недостает для обычной жизни? Какая чушь, сказали бы они, обменявшись многозначительными взглядами. Чтобы закрыть вопрос окончательно, оставалось еще только рассмеяться этим заговорщицким, неискренним смехом.

V

С умершими — только по телефону, другого способа нет.

Его матери я бы рассказала о том, что произошло на ее похоронах. Мне казалось, она должна знать. Наверное, ей было бы неприятно это слушать, хоть прошло уже столько времени. Он, ее сын, этого не видел — слег с температурой. Она бы ни в коем случае не хотела, чтобы он с температурой шел на похороны, да еще в такую погоду, почти мороз. Так что из родственников были только мы: мальчики и я. Не считая

Ани, которая по-своему — тоже родственница. Остальная толпа — друзья и знакомые его матери. Помимо упрямства были в ней некий свет и тепло, людей это привлекало. Почти все они были также друзьями и знакомыми моей матери. Некоторых я не видела с детства. Кое-кого из этих многочисленных друзей и знакомых я раньше хорошо знала. В прежние времена, когда еще была двоечницей. Из-за этого они вовсе не относились ко мне хуже.

Его мать по этому случаю в последний раз вышла в свет, правда, уже в новой роли, так что, согласно общепринятым критериям, все же отсутствовала. Гроб ехал впереди в черном катафалке. Рядом со мной шли мои сыновья и Аня. Как хорошо, что Аня с нами, думала я. Но не знала, как ей об этом сказать. Я боялась, что стоит мне открыть рот — и Аня услышит нечленораздельные звуки и увидит на моей голове подстриженные перья и бантик из шелка. Кто-то еще хотел сказать прощальное слово, кто-то уже потихоньку собирался уходить. Я не обижалась: бывают уважительные причины для того, чтобы уйти с похорон пораньше. Я знала, что его мать и сама бы охотно так поступила — еще в самом начале, сумей она каким-нибудь образом выбраться из катафалка. Шел снег, первый в этом году, редкие снежинки легко кружились в воздухе. Гроб на веревках опустили в глубокую яму: вот-вот все закончится. Люди нас сторонились, никто даже не смотрел в нашу сторону. Подошла только бывшая соседка его матери, которую я сто лет не видела, уже пожилая женщина. О похоронах она узнала из некролога в газете. Я была ей благодарна за то, что она со мной заговорила, в тот момент я очень нуждалась в том, чтобы кто-то был рядом. Может, все они помнили, что моей матери мы не устраивали торжественных похорон, может, сочли это неприличным? Откуда им было знать, что она так распорядилась? Никто этим не поинтересовался. А может, его мать забыла опровергнуть все то, что наговорила о нас своим друзьям и знакомым, прежде чем проиграла судебный процесс и согласилась встретиться с врачом? — эта мысль тоже мелькнула у меня в голове. Я нерешительно подошла к их общей приятельнице, той, которую когда-то любила больше других. Я помнила, как однажды, в незапамятные времена, она спросила, кого мне хочется — зайчика или барашка. Барашка — ответила я доверчиво. И получила очаровательного сахарного барашка — приближалась Пасха. Но там, на кладбище, она только молча отвернулась, и против этого я была бессильна. Тогда я вспомнила, что она не позвонила после смерти матери. Ни она, ни другие. Никто из их многочисленных друзей. Молчание было многозначи-

тельным и от него наверняка зазвенело бы в ушах, если бы еще раньше общение с родственниками не приучило меня быть тем, кто ничего не значит, на кого не распространяются никакие правила приличия, даже сугубо внешние.

Вечером я позвонила ему. Температура держалась, он по-прежнему чувствовал себя плохо, а оттого, что не видел, как гроб, на крышке которого лежали первые снежинки, опускался на веревках в темную яму, смерть матери пока казалась ему не совсем настоящей. Я знала, как это бывает. Ему еще долго будет сниться, что мать жива, ее смерть будет аннулироваться каждую ночь по самым разным причинам, а порой и без всяких причин, словно ее и не было, и всякий раз ощущение реальности происходящего будет абсолютным. Немного подумав, я упомянула в своем отчете о похоронах женщину, повернувшуюся ко мне спиной. Предложила ему представить себе, что чувствовали мои сыновья, которым пришлось при этом присутствовать. Да, согласился он, мать забыла опровергнуть свои рассказы. Во всяком случае, ему ничего об этом не известно, а уж он бы знал, ведь они в последние годы жили вместе.

— Если мне теперь захочется поговорить с кем-то из ее друзей, — сказала я ему с досадой, — например, о прошлом, о времени, которое мы не можем помнить, придется сперва долго объясняться. Возможно, меня вообще не захотят слушать.

Я думала, он вызовется помочь и хотя бы кому-то сам все объяснит, как только встанет на ноги. Но он ничего не обещал.

— Не морочь себе голову, — сказал он мне вместо этого. — Тебе все равно не поверят.

Если бы он принялся объяснять, то выставил бы ее, свою мать, в плохом свете — а ему бы этого не хотелось. И он рассчитывает на понимание с моей стороны.

Сразу после похорон я сама была бы не в состоянии об этом говорить, даже с его матерью. Однако прошло уже несколько лет, и теперь я бы охотно все ей рассказала — если бы она мне позвонила. Но его мать мне не звонит. Я ей — тоже. Не так просто дозвониться.

Почти чудом мне удалось дозвониться до своей матери. Из лодзинского отеля, так — технически — оказалось проще. Если в двух словах: нужно было каким-то образом обойти довоенный коммутатор междугороднего сообщения. Номер я взяла из рассыпающейся телефонной книги города Лодзи за

1938 год, которую специально для этого купила на аукционе. Под конец разгорелся ожесточенный торг. Не одна я мечтала позвонить по такому музейному пятизначному номеру. Я выиграла аукцион, в последнюю секунду, перебив и без того уже безумно завышенную ставку. Я была уверена, что если мою мать и можно где-то застать, то именно по этому номеру — уже не существующей телефонной сети. И я действительно застала ее там. Услышала в трубке чуть дребезжащий голос, каким она говорила под конец жизни. Мать не спросила о сыновьях, я тоже не стала с этого начинать. Я ведь звонила ей по другому делу.

— Ты должна решить, как быть с прахом, — сказала я. — Ты не написала, что с ним делать, поэтому я держу его дома, нарушая закон. Я все сделала так, как ты хотела. Никто этого не оценил, твои друзья возмущены. Они считают, что я не выполнила свой долг. Они были оскорблены в своих чувствах.

— Вполне возможно, — согласилась мать.

Уверена, что при этом она пожала плечами.

— Я держу урну в шкафу. Скажи, пожалуйста, что с ней делать.

— Мне все равно, — сказала она. — Рассыпь где-нибудь.

— Рассыпать тоже нельзя. Мне посоветовали поставить ее в могилу Вико. Если ты не хочешь, на плите твоего имени не будет. Ты согласна?

— Поступай, как знаешь, — вышла она из себя. — Ты только для этого звонишь?

Я подумала, что нельзя упускать такой шанс.

— Как у тебя дела? — спросила я. — Как Халинка?

Она долго молчала. Я догадалась, что у нее нет связи с Халинкой. Она ничего не знает. Наконец мать спросила:

— Значит, Халинка тоже?..

Я поняла, что там нет такой жизни, к какой мы привыкли здесь. Видимо, люди там обречены на одиночество, даже если были связаны друг с другом так крепко, как они с сестрой.

Я не знала, что ей сказать. Но она ждала, встревоженная, и было ясно, что объяснений не избежать.

— Да, — призналась я. — Через полтора года после тебя.

— Послушай, — произнесла она после очередной паузы, еще более длинной. — Я сейчас не могу с тобой разговаривать. Я тебе потом позвоню.

И ни разу не позвонила.

Разговаривать с мертвыми нелегко. То, что поглощает все мое внимание, кажется им скучным. Их равнодушие вселяет в меня робость. Я понятия не имею, чем можно их заинтере-

совать. Это оттого, что у нас разный опыт. У них за плечами нечто такое, что меняет все. Я видела, как проходит через неведомый мне опыт его мать, до этого — моя мать, еще раньше — пес его матери и мой пес. Я наблюдала это четыре раза. Выглядело это одинаково: непосильный труд, цель которого труднопостижима. Приступая к нему, они еще не успевали опомниться от хаоса, еще были ошеломлены жизнью, заняты мелочами, уверенные, что после их смерти всякая вещь останется на своем месте, там, где они видели ее в последний раз. Для них было важно, чтобы мы их не покидали. Равнодушие наполняло их постепенно, наконец они отводили глаза. Быть может, мы становились для них полупрозрачны, едва различимы, словно духи. Потом они закрывали глаза и уже только дышали со все большим усилием, их воздух густел, в то время как все остальное делалось разреженнее — стены, мебель и они сами. И все это — стены, мебель, воздух — смешивалось в темной пелене, в которой исчезал мир, и они исчезали также, а вместе с ними — горькое разочарование последним откровением: мир, каким мы его знаем, не существует и никогда не существовал. Удивительно, что после всего этого их вообще хоть что-нибудь интересует.

В последний раз я видела Лидку на углу моей улицы. Она жила в трех кварталах от меня. Шла домой, немного торопилась.

— Давай встретимся после моего возвращения, — сказала она.

Она уезжала на несколько дней, собиралась вернуться в понедельник. В воскресенье в первой половине дня мне позвонил ее сын. Он был очень спокоен, как бывают спокойны люди, которые еще не скоро очнутся от шока. Пока он занимался только тем, чего требовали обстоятельства, о которых следовало известить множество людей. Я подумала, что он слишком молод для той задачи, которая ему выпала, беспокоилась за него. С Лидкой я это никак не связывала. Она умерла внезапно, чувства отказывались принять ее смерть. Ночью я не спала. Под утро, отплывая в приступе запоздалой сонливости от фактов, я вспомнила, что мы ведь договорились встретиться, и уже из глубины сна принялась названивать ей, чтобы убедиться, что наша договоренность, несмотря ни на что, остается в силе. Потрескивание, потом тишина. Я была уверена, что Лидка каждый раз берет трубку и что мы не слышим друг друга из-за каких-то помех на линии.

Я тоже помню такие поздние звонки. Первый раз, прежде чем связь прервалась, в трубке раздался мужской голос, кото-

рый я не слышала с незапамятных времен. Первое слово не успело прозвучать до конца, прерванное треском, потом гудками. Слово совершенно точно было итальянским. Это мой отец пытался до меня дозвониться. Сначала я даже удивилась, что он меня еще помнит. Мы не виделись так давно, что он бы, пожалуй, не узнал меня на улице, если бы встретил. Он не был знаком ни с моими сыновьями, ни с моим мужем. Ничего обо мне не знал. Этот телефонный номер когда-то принадлежал ему самому. Видимо, ему каким-то образом стало известно, что теперь надо вначале набирать восьмерку и код. Но по какому делу он так настойчиво звонил? Я не помнила, чтобы мы с ним хоть раз разговаривали по телефону. Ни в Варшаве, ни в Милане. Наверное, потому, что в детстве мне не разрешали брать трубку, а у него в то время не было ко мне никаких вопросов. Так что если он позвонил спустя столько лет, то, вероятно, хотел сказать что-то важное. Что-то, чего я никогда не узнаю.

Его двоюродная сестра Лаура жива, и ее миланский адрес не изменился. Их связывали детские воспоминания, они были почти ровесники. Я навещаю ее каждый год, приезжаю ненадолго на исходе зимы, в последние дни карнавала. Каждый раз где-то в глубине сердца мелькает тень удивления, что всё здесь по-прежнему, ни разу не оказалось, что город демонтирован, а на его месте — тьма и пустота. Лаура делается все старше, но я этого не замечаю. Давным-давно, когда меня еще не было на свете, она, тогда маленькая девочка, сидела на коленях и у Адольфа, своего дедушки, и у моего прадедушки Филиппа. Оба они были частью мифического прошлого, помнили времена Гарибальди — таким образом их детство еще соприкоснулось с золотым веком свободы и братства. Позже мир стал погружаться в неопределенность, ничто в нем больше не является тем, чего когда-то можно было ожидать, а сама она, едва придя в себя от хаоса жизни, вынуждена потихоньку с ним прощаться. Учеба, война, замужество, дети, внуки, болезни, трауры. Ей за восемьдесят. Как-то раз я даже побывала на ее преждевременных похоронах — однажды зимней ночью, часа в два. Шел снег, невесомые мелкие снежинки. Я зажгла свет и уже не смогла уснуть.

Дни Лаура проводила в гостиной, много читала. Принимала гостей. Обстоятельства были милосердны к ней, позволяли расставаться с иллюзиями постепенно и добровольно, без мучительного напора, свойственного смертельной болезни. Я не сомневаюсь, что она воспользовалась этими милосердными обстоятельствами, чтобы избавиться от них, не

прятала трусливо голову в песок, но мне об этом не рассказывала. Для этого Лаура была слишком хорошо воспитана.

— Подумай, скольким людям благодаря мне есть чем заняться, — говорила она в крайнем случае, если ей изменяло хорошее настроение.

Их было совсем не так много. К ее кровати провели звонок. Ночью две женщины, индианки из Венесуэлы, по очереди дежурили в примыкающей к спальне комнате. Дни они в основном проводили на кухне. Гремели там кастрюлями, смотрели телевизор и разговаривали по мобильнику.

Мы представления не имели, с кем они без конца болтают.

Они готовили для себя и для Лауры. Для себя — жирные обеды из трех блюд. В холодильнике держали ветчину, колбасы, шоколадный крем, пикули и сыры, в плетеной корзинке над кухонным столом висели неизвестные мне сорта фасоли и диковинного вида специи. Они боялись поправиться еще больше, поэтому на столе всегда лежали вырванные из глянцевых журналов странички с описанием очередной диеты. Кофе без кофеина они пили с обезжиренным молоком и таблетками сахарина. В буфете стояли диетические мюсли. Такой была жизнь этого дома, полная непоследовательностей и противоречий. Лауре хватало горстки приготовленных на пару овощей, кроме того, она ничего не имела против диетических мюслей, которые индианки воспринимали как кару и искупление вины. Им ничего не могло повредить, а ей — почти все.

Утром они убирали весь дом, не оставляя ни пылинки. Работали слаженно, а работая, не переставали разговаривать по-испански. Порой напевали низкими хрипловатыми голосами много повидавших женщин. Их испанский мы понимали без труда.

— Эта дверь как скрипела, так и скрипит. Ты забыла купить масло, да?

— Я не забыла, просто его не было.

— Масло в супермаркете не продают. Нужно было зайти в лавочку в пассаже.

Они обсуждали, что Лаура любит и чего не любит, что она делала утром и что будет делать после обеда. Порой мы прислушивались к этим разговорам.

Лаура улыбалась первой.

— Что ж, — только и говорила она. — Так бывает, когда мы хотим, чтобы нас обслуживали.

В их ванной полка была заставлена дневными и ночными кремами для лица, ватными тампонами для снятия макияжа, таблетками от вздутия, бритвенными станками, электрическими щипцами для завивки и прокладками. Настоящая жизнь

протекала именно там, а не в ванной Лауры, где лежало антиаллергическое мыло да висели белоснежные полотенца.

Грязное белье забирала консьержка. Серьезный парень из соседнего магазина раз в неделю вносил в кухню ящик с бутылками минеральной воды и небольшую коробку с морковью, сельдереем и пореем. Все остальное они покупали сами, приносили сдачу и чеки. Они были кристально честны. Два раза в неделю приходил реабилитолог, усатый молодой человек радикальных взглядов, симпатичный, но дурачок — так про него говорили. Пину из Калабрии, которая тридцать с лишним лет назад ответила на объявление моей тетки в газете, я помнила с давних времен, когда, молодая и веселая, она подавала на стол. По-прежнему веселая, она однако была уже в возрасте, в последнее время жаловалась на боли в спине и только присматривала за хозяйством, в том числе за индианками, стиркой, покупками и реабилитологом. Младший сын Лауры, мой троюродный брат, три раза в неделю приходил к нам ужинать и раз в неделю принимал у Пины финансовый отчет.

— Они тут совсем неплохо устроились, — говорил он об индианках. — Вернутся в Венесуэлу — купят себе виллу, наймут кухарок и садовников.

Этой виллы их детям в Венесуэле придется еще подождать, делаясь тем временем с каждым годом на год старше. Мне приходило в голову, что они могут и не дождаться, скорее уж сами вырастут и, в конце концов, приедут к своим матерям, так же, как много лет назад семья Пины приехала к ней из Калабрии. Работа есть, можно сразу стать кухарками, садовниками, шоферами. Какое счастье, говорили индианки, что есть Интернет. Вилл пока не было, да, может, никогда и не будет, но им и так есть где встречаться с детьми. Они посвятили дому Лауры многие годы жизни и собирались посвятить еще.

— Иди погуляй, — уговаривала меня Лаура, — не сиди тут со мной целый день. Полюбуйся карнавалом.

Мою сторону она приняла давным-давно, когда я добивалась разрешения самостоятельно передвигаться по городу. Мне было одиннадцать лет, я скучала, сидя взаперти в миланском доме моей бабушки, хотела гулять и ездить на автобусах, как в Варшаве. Лаура считала, что риск слишком рано подарить мне свободу — меньшее зло в ситуации, когда некому мною заниматься. Я спрашивала, помнит ли она это. Лаура не помнила.

— Мне бы хотелось полюбоваться карнавалом вместе с тобой, — сказала я.

— И речи быть не может! — возмутилась Лаура. — Как ты себе это представляешь?

Она бы охотно пошла со мной, если бы могла ходить. Но она ездила в коляске. Она терпеть не могла эту коляску. Ничего не мешало ей быть собой больше, чем эта коляска. Из-за нее она отказалась от прогулок.

— Я бы на твоем месте, — говорила я, — ездила повсюду — и на карнавал, и в театр, и в оперу, ни в чем бы себе не отказывала. А что касается коляски, я бы предпочла электрическую. Повороты бы брала с визгом шин. Этот мир так и хочется лишить иллюзий. Не позволять ему притворяться чем-то другим, лучшим. Ведь весь он наполнен старостью и смертью.

Когда Лаура была молодой, никто не бунтовал против старости. Это не было принято. Люди отрекались от молодости, когда чувствовали, что пора. Сдавались без борьбы. Стареть — не воспрещалось.

— Электрическая коляска? — Она улыбнулась. — Раньше такое и в голову никому бы не пришло.

— Но ведь соблазнительно, верно? Достаточно не дать внушить себе чувство вины. Достаточно иметь морщины и пальцем не шевельнуть, чтобы уберечь мир от их вида. Такой бунт не требует сил, совсем наоборот. И, наверное, приносит облегчение.

Мгновение Лаура размышляла над моими словами. Коляска в театре, коляска на концерте. Одинокая коляска в толпе, которая навсегда останется молодой, в то время как сама она все стремительнее движется к дряхлой старости.

— Да ну, — сказала она.

Я ушла и долго гуляла, а на обратном пути увидела, что по Корсо Витторио Эмануэле течет огромная толпа. В Галерее, на террасе неизменно популярного кафе “Биффи”, где в начале сороковых был пункт связи подпольной организации, в которую входил мой отец, сидели за столиками переодетые животными люди. Они разговаривали, смеялись, пили кофе и разноцветные напитки из рюмок разной формы. Люди, переодетые животными, мелькали повсюду, в том числе и на площади перед собором. По всему центру расхаживали прелестные обезьянки, коты, ежи, мыши, львы и поросята. Даже собаки переоделись кто во что. Большей частью в людей: на виа Данте меня облаяли трое мопсов в полосатых тельняшках. Милан так далеко от Варшавы, а его карнавал — так далек от путей, по которым бродят эсэсовцы. Стоял ранний вечер — красивый, довольно теплый, солнечный. Будь мне в тот день одиннадцать лет, я бы извлекла из него что-нибудь

для себя, какое-нибудь захватывающее обещание. Но это уже невозможно. Обещания я не в силах воспринимать серьезно, поскольку знаю теперь, что́ они означают на самом деле. С незапамятных времен они гласят одно и то же, и больше ничего: это мгновение пройдет. Мне казалось, что я не участвую в веселье, а только наблюдаю. Однако вечером, когда я причесывалась перед сном, на пол посыпалось розовое и серебряное конфетти, довольно много.

Назавтра днем я ехала на такси по Варшаве. Было серо, на улицах лежал снег. Ближе к вечеру, когда я распаковывала чемодан, кто-то постучал в дверь. Я открыла, и в первое мгновение мне показалось, что за дверью никого нет. Но он стоял на пороге. Мне по пояс. Настоящий мушкетер, со шпагой, такой красивый, что хотелось немедленно потерять голову. В руке у него был букетик фиалок. На мгновение мне стало жаль, что я не Неля, ведь букетик предназначался ей, а не мне.

— Разбежался. — Его мать улыбнулась мне, поднимаясь на площадку полуэтажа. — Иди сюда, зайка, Неля не тут живет.

Под вечер я заснула в ванне. Когда проснулась, вода уже совсем остыла. Снизу доносилось детское пение. Детей, видимо, было много. Наверняка в костюмах ежиков, обезьянок, мышек, львов, свинок, и развеселившихся так, как потом уже никто не в состоянии развеселиться, сколько ни выпей, чем себя ни дурмань. Я слышала старые шлягеры и детские голоса, потом голоса заглушили музыку. Будь мне в тот день пять лет, я бы подумала, что это и есть жизнь: пение и танцы до упаду. Дети вопили и хохотали, счастливые — а потом звучали уже одни припевы, каждый по несколько раз, потому что им хотелось повторять их без конца, и скакать, и топать. Их бессмертие пока еще не омрачили никакие сомнения, ни одно облачко не затмило свет обещания, только поэтому они и были способны так безумствовать. Если им чего-то и не хватало, они об этом еще не знали — во всяком случае, в этот упоительный миг.

Как жаль, подумала я, что отец Нели не может хоть на мгновение увидеть эти их неистовые танцы и услышать пение, пускай даже по телефону. Ему бы понравилось. Он погиб, когда ему едва исполнилось тридцать, очевидно поплатившись за пристрастие к быстрой езде. Дома у него было пианино, он постоянно играл одну из прелюдий Рахманинова, получалось все лучше. Где он теперь? Как у него дела? Неизвестно. Видимо, он не может дозвониться. Когда я его вспоминаю, в ушах у меня звучит та прелюдия. Как жаль, подумала я, что Неля ничего не помнит. Она бренчит на пиани-

но, не скучает. И только порой во сне, наверное, возникает смутное чувство, что когда-то очень давно кто-то исчез.

Первым уходом, который изменил мою жизнь, был переезд той девочки, что кидалась в школе ножками от стула. Ведь она не то чтобы действительно хотела это сделать, скорее чувствовала, что должна, у нее не было выбора. А ведь она бы тоже предпочла вот так кричать и петь, смеяться, топать и прыгать. Жалко, что в тот день ей пришлось вступить в бой. Кто-нибудь мог, например, положить ей руку на плечо и сказать: все это ерунда, ты уцелеешь. Может, она бы поверила. Мне пришлось жить без нее. Именно таким образом я слишком рано утратила бессмертие, за одно утро. Теперь уже трудно себе представить, как бы все было, сойди ей с рук то, что она тогда сделала. Обойдись все, скажем, одним серьезным скандалом. А ведь эти несколько лет бессмертия имеют огромное значение, они важнее аппаратуры, продлевающей умирание. Безнаказанность не всегда во вред, порой бывает совсем наоборот. Немного безнаказанности, говорил мне лис давным-давно, — самое лучшее лекарство, лучше того, которым нас пичкали.

В те времена я лечилась, как умела, и безнаказанностью, например, пользовалась, катаясь на автобусах без билета. Я могла убедиться, что мир достаточно рассеян и каждому готов выдать его порцию безнаказанности. Только в нашей школе происходило иначе: с нас драли за все с неумолимой мелочностью бухгалтеров. Хотя и там не всех мерили одной меркой. Я сравнивала чужие наказания со своими и возмущалась, что, по сравнению с первыми, вторые поразительно суровы. Почему? Потому. Без причины. Безнаказанность бы слишком колола глаза, доставшись таким, как я, тем, кого невозможно любить. Мир встал бы с ног на голову. Утративший безнаказанность, говорил мне лис, моментально становится взрослым. А взрослость — плоскость наклонная, всем известно, куда она ведет.

Когда наши дети были маленькими, все семьи с маленькими детьми казались мне прекрасными. Со временем я перестала это замечать. Зато видела другое. Каждая связь, как и всё на свете, с самого начала заключает в себе маленькое темное пятнышко, в том месте, с которого она начнет портиться. Иные связи портятся так медленно, что смерть наступает скорее, чем разлука, но случается и иначе. Я внимательно наблюдала за семьями с детьми, когда те делали покупки или сидели за столом. В эти моменты у меня возникало ощущение, что я могу увидеть это темное пятнышко невооруженным глазом, особенно если правильно подобрать расстояние — не слишком далеко и не слишком близко. Но сами они его не ви-

дели. И их дети не видели тоже. Семьи стоят слишком вплотную к собственной судьбе, чтобы это разглядеть.

После развода я снова несколько ночей подряд звонила Лидке. Днем даже не пыталась — знала, что ничего не получится. Но по ночам названивала без устали, то на домашний, то на сотовый. Утром вставала смертельно усталая, чтобы на следующую ночь снова упорно дозваниваться, потому что мне очень не хватало суровой поддержки, на которую я прежде могла рассчитывать. Ни по одному из номеров ни разу никто не ответил. Мне нужно было достать новый, правильный. Ни у кого его не было и быть не могло, даже у Лидкиного сына. В одну из ночей я нашла на лестнице моего нынешнего дома старый блокнотик, тот, что затерялся в доме предыдущем — после развода я не могла понять, куда он подевался. В нем был записан рабочий телефон Лидки — еще до того, как они переехали на другую сторону коридора. Я подумала, что если где-то мне смогут помочь, то только там. Трубку взяла Инка. Я не надеялась еще когда-нибудь услышать ее голос.

— Давно тебя не слышала! — сказала она. — Что у тебя?

Я не была на Инкиных похоронах. Она умерла, когда я уезжала в Милан. Так что мы расстались, не попрощавшись. Мне тут же вспомнилось, что там, где они теперь — где бы это ни было, — моя мать не встретила его мать, которая была ей дороже всех на свете. Так что Инка может и не знать номер, который я ищу. Но сама она здесь и говорит со мной.

— Все в порядке, — сказала я. — А у тебя? Там ничего живется?

— Я не жалуюсь, — ответила она. Голос звучал глухо, доносился очень издалека, и это чувствовалось. — У меня масса работы. Мне прекрасно работается. Собственно, все тут такое же, как там, только без этого шума. Без него я лучше понимаю.

— Что понимаешь?

— Всё, — отозвалась она ласково.

Это жизнь она назвала шумом! Но если так, то что же такое “всё”? Она изменилась, подумала я. Только голос такой, как прежде. А я была занята своими старыми делами, которые тем временем катились по укатанной колее к неожиданным выводам.

— Я развелась, может, ты слышала, — сказала я. — Справляюсь. Я по тебе скучаю. И по Лидке.

Она вздохнула и помолчала, а потом быстро проговорила:

— Лидка очень больна. В последнее время она не приходит.

Значит, там тоже болеют. Видимо, смерть вовсе не оздоровляет.

— Но где теперь Лидка? — спросила я с бьющимся сердцем. — Где она?

— Подожди... Мне нужно взять телефонную книжку. Перезвони через минуту.

Она не знала, что в такие места дозвониться второй раз практически невозможно.

— Нет, не клади трубку! — воскликнула я. — Я лучше подожду.

Я услышала незнакомый голос. Кто-то что-то говорил Инке. Слов я не разбирала, но голос звучал решительно, мне показалось, что речь как раз о Лидкином телефоне и что кто-то полагает...

— Инка, ты нашла номер? — спросила я.

Ей явно пришлось что-то объяснять этому кому-то.

— Записывай, — отозвалась она наконец.

И тут связь прервалась. У меня разрядился телефон.

Разводы ужасны, даже если обо всем удается договориться до суда. Процесс закончился, и наш дом был официально демонтирован, его больше не существовало. Я вышла в коридор и увидела окно, а за ним белую пустоту. В этой пустоте мне предстояло теперь искать себе место. Коридор был заполнен людьми, ждавшими слушаний, — каждый с каким-нибудь дефектом: бородавкой, тиком, шрамом, ячменем на глазу. Это суд извлекал из них все самое худшее — вне всяких сомнений. В дальнем конце мелькнула знакомая фигура. Я посмотрела в ту сторону и не поверила собственным глазам. Он, ее сын, опустив голову, быстрыми шагами мерил коридор. Меня он не видел и едва на меня не налетел.

— А ты что тут делаешь? — спросила я.

Он остановился, удивленный.

— У меня были неприятности, — сказал он уклончиво.

— Какие неприятности?

— Не спрашивай, — ответил он. — Когда мне потребовалась помощь, тебя рядом не было.

— Откуда я могла знать? Два года назад ты швырнул трубку и не ответил на письмо.

Он пожал плечами.

— Может быть, я уже не помню, — буркнул он. — А ты? Откуда ты тут взялась?

— Разводилась.

— С Рыжим? Почему?

— Не спрашивай. Пойдем выпьем кофе?

— У меня тут еще одно дело.

— Подождать тебя?

— Не жди, я сам не очень понял, о чем идет речь и сколько это займет времени, — получил какую-то странную бумажку, — сказал он и ушел.

Я стала искать в карманах странную бумажку, которую тоже получила, но не нашла. Неважно, подумала я. Одно заседание для одного дня — и так перебор.

Я не знала, куда ехать и чем заняться. Времени сделалось вдруг слишком много. Раньше, когда все шло хорошо и жизнь была приятной, мне всегда его не хватало. Так зачем же теперь столько? Не похоже, чтобы предполагался счастливый конец. Коридор плыл у меня перед глазами, которые почему-то слезились, контуры окон сделались размытыми, и я уже совсем ничего не могла разобрать, кроме рыжего пятна в центре поля зрения, поэтому двинулась за этим рыжим пятном, единственной теплой нотой в зябком полумраке, где свет зимнего дня смешивался со светом электрических лампочек. Пятно тут же заслонили люди, толкавшиеся возле списка дел, назначенных к слушанию на сегодня, я протиснулась между ними, наконец выбралась из толпы. Снова быстро зашагала вперед и увидела удаляющееся рыжее пятно. Это был лисий воротник. Я уже давно не видела лисьих воротников, вероятно, они вышли из моды. Тем лучше, подумала я. Рыжий мех снова скрылся в толпе посетителей, спускавшихся по лестнице, после чего вынырнул этажом ниже на открытое пространство вестибюля. Но этажом ниже это был уже не лисий воротник, наверняка нет. Это рыжее пятно передвигалось слишком низко для воротника, у самого пола.

Я протерла глаза тыльной стороной ладони. Это был настоящий лис. Мой лис.

— Лис, подожди! — закричала я.

Никто в тот момент не был мне нужен так, как он. Мне показалось, что я еще вчера была ребенком и что снова в него превращаюсь, словно нет у меня двух сыновей, почти взрослых.

Лис приостановился, чтобы я смогла его догнать.

— Я уже не надеялась тебя увидеть, — сказала я. — Я думала...

Когда-то я думала, что он меня бросил, потом думала, что лесничий застрелил его из двустволки. Я хотела рассказать, как скучала тогда по нему, но заметила, что он торопится. Видимо, у него тоже были дела в этом суде.

— Я тебя еще когда-нибудь увижу, дорогой лис? — спросила я срывающимся голосом.

— Я тут по твоему делу. Спустись по этой лестнице до конца.

— А дальше что?

— Увидишь.

Ступеньки вели в подвальный этаж. Коридоры там были такие же, как на остальных этажах, только без окон, некоторые лампочки перегорели, а другие мигали, словно тоже вот-вот собирались погаснуть. В холле были свалены покрытые толстым слоем пыли старые стулья, сломанные свидетельские трибуны и столы. На ближайшей двери висел, прикрепленный кнопками, листок канцелярской бумаги с накарябанной звериной лапой надписью СДЕСЬ.

Я приоткрыла одну створку двери. В щелку разглядела в полутьме стоящие рядами старые стулья — еще больше, чем в холле. Некоторые были заняты. Я открыла дверь пошире — раздался скрип, что поделаешь? — по мне скользнуло несколько взглядов, и вдруг во втором ряду я увидела того парня, с которым когда-то познакомилась на катке. Он почти не изменился. Ничего удивительного, ведь его сбила машина. На пешеходном переходе, всего пять лет спустя после нашего расставания. Я долго не могла прийти в себя. Он, на которого возлагались такие надежды, у которого было столько друзей, погиб под колесами, а я осталась жить, не представляя, как этой жизнью распорядиться.

В этот момент моя учительница из начальной школы пересела во второй ряд и заняла место неподалеку от конькобежца — наверное, чтобы лучше видеть входящих. Она посмотрела на меня, но не узнала. Она тоже совсем не изменилась: по-прежнему яркий макияж и узкая юбка выше колена, похоже, немного траченная молью, — небось одна из тех, которые она носила в моем детстве.

Все чего-то ждали. Я вошла и поспешно уселась в последнем ряду, где потемнее. Здесь, во всяком случае, никто не станет меня рассматривать, подумала я. Но и я не могла рассмотреть других. Я не знала, кто сидит впереди меня. Дверь снова заскрипела, на мгновение мне показалось, что из коридора просочилось несколько золотистых лучей, и в следующий момент я увидела лиса. Он проскользнул в зал, огляделся и кивнул.

— Какой красивый! — воскликнула учительница.

Вот именно. Красивый. Она никогда этого не замечала, натыкаясь на него в моих тетрадях.

Лис взобрался на стол и рыжей лапой постучал по столешнице. Публика зашевелилась, но тут же затихла.

— Мы все собрались сегодня в Низшем суде затем, чтобы... — начал лис и сделал паузу.

— Чтобы осудить! — подсказал эсэсовец.

— Чтобы простить, — закончил лис и махнул хвостом, показывая, чтобы ему не мешали.

— Себе? — спросил он, сын своей матери.

Только теперь я заметила, что он здесь, сидит в первом ряду. Он из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать всем, что он не воспринимает лиса серьезно, просто-таки ни во что его не ставит: тоже мне, рыжий хвост и "здесь" через "с".

— В том числе, — спокойно ответил лис.

Наступила тишина. Все ждали, что будет дальше. Видимо, они тоже вместо нормальной официальной повестки получили только странную бумажку. А моя мать? Его мать? Ничего не получили?

— Не все захотели прийти, не все смогли, — сказал лис, еще раз оглядев зал. — Кто опоздает, тот опоздает. Думаю, мы уже можем начать.

Первой жертвой оказалась учительница. Помешкав, она встала, поднялась на свидетельскую трибуну и отерла платочком лоб, хотя было вовсе не жарко, даже наоборот. Я никогда не слышала, чтобы она заикалась, отвечая на вопросы. Было совершенно очевидно, что ей это не по душе. Раньше, когда вопросы задавала она, заикались другие.

— Критерии нормальности... трудно сказать, какие они. Я никогда о них не задумывалась... Нет, пожалуй, своих собственных у меня нет. Пожалуй, я скорее доверяю мнению большинства. Ну, что сказать... Нормальной-то она уж точно не была.

Лишь эту последнюю фразу учительница произнесла решительным тоном. На мгновение я задумалась, кого она имеет в виду: мать или дочь.

— Протестую! — воскликнул он, сын своей матери, вскакивая. Он только что был на другом заседании, где видел, как заявляют протест. — Это личное мнение свидетеля!

— Не вижу ничего плохого в том, что человек имеет личное мнение, — сказал лис и лапой дал знак продолжать.

— С этим мужем мне не довелось познакомиться. А он правда из Италии — той, настоящей? Так чего же она с ним не уехала? На ее месте любая бы уехала. Да, я замечала всякое разное, я ведь не слепая. Лагеря... В сущности, можно было догадаться. Нет, что касается меня, я не догадалась, мне это почему-то не пришло в голову. Мне приходили в голову... ну... другие вещи. Чувствовалось, что она постоянно держит оборону, словно ей приходится скрывать невесть что. Если бы она рассказала, мне было бы гораздо легче.

Она воображала, что моя мать могла ей все рассказать, как ни в чем не бывало, — только затем, чтобы ей стало легче.

— Я не раз думала об этой девочке: что за жизнь ее ждет? Совершенно неприспособленная, все делала наперекор, словно из упрямства. Я чувствовала, что добром это не кончится. Де-

ти ее не любили, они тоже видели, что с ней что-то не так. Что не так? Да все. Не знаю, что бы я сделала на месте этой матери, ситуация непростая. Мы подозревали, что девочка крадет деньги, но потом выяснилось, что это не она. Она была страшной вруньей, ни одному слову нельзя было верить. Да, трудно было понять, когда верить, а когда нет. Ну вот как с этим отцом... Ведь именно это казалось явной фантазией. Я думала, одежда из каких-то посылок от родственников... В те времена, если у кого были родственники за границей, так он получал посылки, у нас же ничего нельзя было купить. А что касается тетрадей, это был просто тихий ужас. У меня в классе сорок человек, приходилось требовать от всех одного и того же. В любой другой ситуации я бы махнула рукой, ясно же, что случай безнадежный. Да, иногда я впадала в бешенство. Я вздохнула с облегчением, когда она закончила школу и исчезла с моих глаз.

Из-за толстой двери донесся приглушенный звук, который никто не ожидал услышать. Люди, сидевшие в зале, переглянулись. Утка? Тут, в суде? Лис слез со стола, приоткрыл дверь и выглянул.

— Прошу вас, — сказал он громко.

Но за дверью никого не было.

— Чтобы она врала, этого я не замечал, — начал мой конькобежец, когда пришла его очередь. — Я бы скорее сказал, что произошло недоразумение. На катке она все время смеялась, поэтому я решил, что она веселая. Она не была веселой, ничуточки. Сплошное разочарование. У нее дома я был всего раз. Я собирался с ней поговорить, меня тяготила эта неловкая ситуация... Нет, в другом месте не получалось, в то время — уже нет. Я хотел ей сказать, что мы расстаемся. Но она спала на тахте, накрывшись пальто, и в воздухе висело такое отчаяние, что я не выдержал. Мать едва помню. Взгляд? Да уж, такое не забудешь. Когда мы вошли в комнату, где стояла тахта, ее мать пожала плечами и посмотрела на меня. Словно хотела сказать, что она такое или даже похуже видела не один раз, но не имеет к этому никакого отношения и просит ее не впутывать. Что мне было делать? Я сбежал. Я не был терпелив. Ясное дело, нормальным все это не выглядело.

— Протестую! — воскликнул он, снова вскакивая.

Лис сделал ему знак сесть на место.

— Иногда стоит выслушать чужое мнение, — сказал он. — Даже если это нам неприятно или кажется, что все говорят глупости. В этих случаях — особенно.

И жестом пригласил на свидетельскую трибуну женщину средних лет. Я сама удивилась, что спустя столько времени еще могу ее узнать.

— Я эту мать просто боялась. Она никогда не улыбалась, никогда. Встретишь ее — и холодок по коже. А она, дочь? Ну, никто ее не любил, верно. Почему? Потому. Просто так. Может, прав этот парень, который потом с ней встречался на катке. Веселых любить легче. Она не была веселой, нисколько. Не знаю, любила ли я ее. Когда я услышала про эти лагеря, все сразу встало на свои места. Теперь я бы сказала, что она скрывала под свитером какую-то страшную рану. Не знаю, откуда она могла у нее появиться, ведь жизнь у нас тогда была спокойная. Что я хочу этим сказать? То, что говорю. Что она эту рану от матери унаследовала.

Он наконец перестал вмешиваться, но совету лиса не последовал. Вместо того чтобы слушать, демонстративно таращился в потолок и постукивал пальцами по спинке соседнего стула. Моя мать тем более не захотела бы это слушать. И его мать. Ничего удивительного, что они просто не пришли. Одно дело — заочно созывать свой трибунал, и другое — самим предстать перед судом, который может вынести собственное решение. Если моя мать тоже получила эту странную бумажку, то наверняка долго ее рассматривала, как раз и опасаясь чего-то в этом роде. Свитера спустя годы делаются прозрачными, в глубинах чужой памяти стопроцентная шерсть уже не способна ничего прикрыть, а кому-то, возможно, все было ясно с самого начала. Усилия моей матери удержать оборону оказались тщетны. Смертельную рану можно отрицать, но тогда с ней придется жить кому-нибудь другому. Она передается потомкам через воздух. Через молчание. Тайна, которой я не знала, была написана у меня на лбу — но недостаточно разборчиво, чтобы пробудить сочувствие.

Мать в такие штуки не верила. То, о чем умалчивают, полагала она, все равно не существует. А то, что не существует, не может быть передано другому. Мысль о том, будто нечто мне неведомое могло повлиять на мою жизнь, она сочла бы абсурдной. Будто я могу страдать из-за того, о чем не знаю... Чепуха.

В последний раз я видела эту женщину в детстве. Сколько лет назад? Я не сумела сосчитать. Счет никогда мне не давался. Бог с ними, с годами. А ты? Какую рану унаследовала ты и от кого? — спросила бы я, если бы не догадывалась, что это и сегодня может причинить ей боль. Я бы хотела знать, помнит ли она, как мы возвращались домой, она по одной стороне улицы, я по другой, в какой-то предыдущей жизни. Правильно ли я угадала, что она обнаружила спрятанные в буфете за тарелками фотографии. И знает ли об увязших в земле камнях вин, о воздушных шарах обид, рвущихся ввысь,

о том, что наши переплетенные истории — например, моя и ее — каким-то образом их уравновешивают. Знает ли об историях, которые семьи вынуждены вычеркнуть из памяти, и о том, чем они эти истории подменяют, чтобы не раствориться в пустоте. Она исчезла из моего поля зрения задолго до выпускных экзаменов — мы уже учились в разных школах. У меня тут же мелькнула мысль, что раз она здесь, значит, или умерла, или живет так, как он, сын своей матери, — не соприкасаясь с реальностью. Она сидела далеко от меня, у самой двери. Я испугалась, что она исчезнет, и я не успею к ней подойти — вдруг она просто уйдет, как только заседание закончится. Убежит, как тогда, когда кто-то крикнул ей вслед: "Вендехох!" На всякий случай я пересела поближе.

— Я ее помню, она носила заграничные ботинки, сумка тоже была заграничная. Что она покупала, теперь уж точно не скажу, но вот картошку — как сейчас помню — покупала всего кило, и не каждый день, — рассказывала тем временем продавщица из овощного. — Словно они картошку только по праздникам ели. Без картошки ведь и супу не сваришь, не говоря уж о втором. Одними-то котлетами сыт не будешь. Меня аж любопытство разбирало — чем они питаются.

— Рисом по-милански, макаронами под красным соусом, — объяснил лис и махнул лапой, показывая, что это к делу не относится.

Старик, у которого не было передних зубов, видел этого ребенка в автобусе, одного, много раз.

— Я садился на Замковой площади, где автобусная петля. Петля, ужасное слово, плохие ассоциации. Куда я ездил, сказать не могу, это тайна. Я всегда искал глазами эту девочку. Кто бы ее ни посылал, это делалось для того, чтобы меня защитить. Верхние пуговицы на пальто криво застегнуты — знак. Если я ее встречал, то понимал, что мне угрожает опасность. С чьей стороны? Разумеется, с их. Они переодеты санитарами, но все мы знаем, о ком речь, верно? Она молодец, эта малышка. Чтобы никто не догадался, выскакивала из автобуса в последний момент, мне приходилось все время быть начеку. Она выходила на разных остановках, то на одной, то на другой. Прекрасно ориентировалась в городе. Запутывала следы, мы шли по темным улицам, дворами, она впереди, я за ней, на некотором расстоянии. Она благополучно выводила меня к остановке, а уж оттуда я возвращался домой другой дорогой, в безопасности.

Зубов он лишился, вероятно, в психиатрической больнице: там никто не морочил себе голову пломбами, в случае чего — рвали, так гораздо проще. Но в тот момент я подумала,

что могло быть иначе: послевоенные допросы, и с ума он сошел уже после того, как ему их выбили.

В том-то и дело. Он был безумен. Я поняла это сразу, как только он поднялся на свидетельскую трибуну, а точнее, в тот момент, когда он начал вторую фразу. Поняла, но как? Я не спрашивала себя, есть ли у него семья и не тянется ли за ним след какого-то несчастья. Я сделала вдох, а понимание пришло вместе с выдохом, само собой. Я не сумела бы объяснить, какими критериями нормальности руководствовалась.

Старик замолчал, огляделся и остановил взгляд на мне. Возможно, задумался, почему ему кажется, будто он меня знает, и каков тайный смысл моего присутствия в этом зале.

Одна из лампочек замигала и погасла.

— Это какой-то бред, — сказал он, сын своей матери, энергично подходя к свидетельской трибуне. — Прежде всего, я имею в виду учительницу. Она несет ахинею. В семье было неладно? Мы же взрослые люди. Она, — он махнул рукой в мою сторону, — вечно делала из мухи слона. Но я ни разу не слышал, чтобы нормальный человек усомнился... То есть все люди...

Он потерял мысль и умолк, нахмурившись и мрачно глядя на нас. Лис подождал и спросил, не хочет ли он что-нибудь добавить. Ответа не последовало.

— Мне очень жаль, — примирительно проговорила учительница, — если я вас обидела.

Он раздраженно махнул рукой и вернулся на место.

Во мне отозвалось далекое эхо былого гнева. Даже она сочла нужным извиниться перед ним. Передо мной никто ни за что не извинялся, в том числе эта учительница. А уж он и подавно.

— Трудно простить тому, кто утверждает, будто ты делаешь из мухи слона, — воскликнула я, вскакивая со стула. — Трудно простить тому, кто считает себя безупречным. Люди не в состоянии проглотить обиду, за которую никто не извинился, поэтому пытаются вернуть ее тому, от кого она исходит. А если гнев слишком велик, то передают первому встречному. Если же гнев бессилен, он превращается в ненависть. И это бремя ненависти они несут на собственных плечах, пока не выбьются из сил. Пока оно их не раздавит.

Он иронически разглядывал меня, закованный в броню молчания.

— Как правило, извиняется обиженный, — с горечью заметил беззубый старик. — Всегда так было.

— Бремя ненависти... Мне есть что сказать об этом. Это как если бы твой обидчик уселся тебе на закорки и принялся погонять, — буркнул конькобежец.

— Вот именно, — сказала я. — И в конце концов ты начинаешь молить судьбу, чтобы это бремя сняли с твоих плеч. Но бремя исчезнет лишь тогда, когда ты весь обратишься в мольбу, когда забудешь, кем был и чего хотел. Это и есть прощение. Единственное, какое я знаю.

Но, может, существует другой путь, более простой? Я надеялась, что среди всех этих людей есть кто-нибудь, кто знает и расскажет мне. Заметила, что учительница уже было открыла рот. Но потом, засомневавшись, закрыла. Видимо, ей только показалось, будто она что-то знает.

— Во мне все прямо переворачивается, когда я такое слышу, — прошептал конькобежец продавщице. — Бремя бременем, но к чему эти глупости насчет прощения? Я должен простить тому, кто меня сбил? Сукин сын уже и не помнит, что тогда произошло. Он получил всего три года, через два вышел на свободу. Это было так давно! Рассекает теперь в "бентли" по Лондону и Парижу.

Он повернулся к учительнице и вполголоса повторил, что все в нем прямо переворачивается, а та приложила палец к губам, деликатно призвав его к порядку.

Конькобежец поднял на меня глаза. Когда-то он был старше на три года и казался мне необыкновенно взрослым. Теперь меня поразило его детское лицо. Он был младше моих сыновей. В наступившей тишине я приблизилась к свидетельской трибуне.

— Чтобы мы сумели простить, если никто перед нами не извинился, — сказала я, — кому-то в нас придется умереть.

— Кому? — вызывающе спросил конькобежец.

Я поколебалась, но ответила ему:

— Жертве.

Внезапно наступила тишина, словно я их всех задела за живое, а потом они заговорили, перебивая друг друга: мол, не может человек быть настолько бессердечным, чтобы простить виновнику и избавиться от жертвы! Вот уж это было бы настоящей обидой, обидой в квадрате! И не может быть, чтобы кто-то на самом деле так думал! Наконец им показалось, будто они поняли, что я хотела сказать. И снова поглядели на меня волком, как будто я проявила невиданный цинизм, намекнув — насмешливо и вызывающе, — что нет на свете прощения и быть не может.

Лис позволил им выкричаться. Он заговорил, когда они умолкли:

— Я слыхал, что есть люди, которые даже самое страшное прощают легко, от всего сердца, с радостью, даже если никто перед ними не извиняется... Это было бы просто чудесно. Но

лично я такого не встречал. Зато знаю множество других случаев. Чтобы далеко за примером не ходить — лесничий, не простивший мне несчастное яйцо.

Так я и знала. Я отодвигала от себя эту картину, но лесничий все равно выходил с двустволкой на крыльцо, прицеливался в лиса и стрелял. И лис падал на зеленую траву под дубом. Можно стискивать веки, чтобы не видеть, но это не поможет, ведь все происходит под веками. Упавший лис, его отсутствующие глаза. Ветер кружит над ним первые желтые листья. Это никак не отменить, нет такого средства и никогда не будет.

— Да, — сказал лис после долгой паузы. — Мне и самому иногда хочется плакать, когда я об этом думаю.

Эсэсовец вздохнул и пошевелился.

— Могли бы меня и развязать наконец, — буркнул он отрешенно, вероятно, просто по привычке. — У меня уже сто лет назад все затекло, рук вообще не чувствую!

В тишине замигала и погасла еще одна лампочка.

— Ну, так что с этим прощением? — спросил, криво улыбаясь, сын своей матери. — Возможно оно или нет?

— Возможно, — сказал лис.

— А если никто не извиняется?

— Если обида велика, ты сделаешь все, что в твоих силах, потому что у тебя нет выбора, — сказала я. — Может и не получиться, но лучше, чтобы получилось. Иначе... ты не сможешь жить по-человечески.

Он, сын своей матери, снова замолчал. Затем с той же иронической гримасой стал копаться в карманах пиджака. Обнаружил пачку квитанций, переложил во внутренний кармашек. Вытащил начатую плитку шоколада. Угостил учительницу и продавщицу, потом конькобежца и старика, протянул мне. Моя одноклассница уже потихоньку выскользнула из зала, я не заметила, в какой момент: даже не дождалась, подумала я, пока все закончится. Но тут же поняла, что все уже закончилось.

— Ему дай, — шепнула я, показав глазами на эсэсовца.

Я жалела, что опять у меня нет с собой ни сахара, ни ложечки. Эсэсовец ждал, открыв рот. Что мы его не развяжем, он знал так же хорошо, как и мы. Мы не были жестоки. Но чувствовали себя ответственными за то, чтобы он не совершил ни одной из тех ужасных вещей, которые до гробовой доски отравляют память свидетелей. А ведь он мог бы, если бы вспомнил, во что верил: что доблесть — это иметь силу и уметь толково ею распорядиться, своей волей прокатываться по чужим судьбам — как асфальтовым катком, невзирая ни на что.

— Ему? — возмутилась учительница. — Да ему вообще пуля в лоб полагается, давно пора.

Он, сын своей матери, отдал мне остатки шоколада в мятой упаковке. Я разломила плитку и положила кусочки эсэсовцу в рот. Он стал жевать и медленно отвернулся, продемонстрировав учительнице круглую дырку в виске, черную от запекшейся крови. Я знала эту историю, она случилась в день освобождения лагеря. Повсюду уже были американские солдаты. Они принесли с собой невообразимый хаос, хотя для них самих невообразимым являлось скорее то, что они обнаружили. Накануне эсэсовец разыскивал людей, которых он привел из другого, хорошего, лагеря — тех, которые всю долгую дорогу ежедневно получали по ложечке сахару из его личного запаса и которые благодаря этому выдержали смертельный марш. Он рассчитывал на их свидетельство, это могло бы его спасти, если бы узники не растворились в этом худшем лагере, словно капля в море. Его взгляд встречал одни лишь незнакомые лица. Эсэсовец не нашел никого, кто бы узнал его. Он не мог себе простить, что не сбежал накануне. Американские солдаты сразу начали вылавливать администрацию лагеря, ходили слухи, что комендант и заместители уже сидят под арестом. Кухня выдавала качающимся от голода узникам густой гороховый суп с грудинкой. Пока одни еще объедались супом, другие уже ломились в лазарет с первыми симптомами заворота кишок. На свободу пока никого не выпускали. Эсэсовец собирался бежать через карьер. Он знал дорогу и его не качало от голода. Могло и получиться. В последний момент он взял на складе полосатую робу, но не успел переодеться, его спугнули шаги и голоса. За стеной он услышал английскую речь. Поспешно натянув полосатую куртку поверх черной гимнастерки и держа под мышкой полосатые штаны, он выскользнул через задний ход, который в сумятице забыли закрыть. На апель-плацу смешался с толпой. Никак не удавалось найти укромное место, где можно было бы избавиться от черного мундира. Удар в затылок настиг его внезапно. Эсэсовец покачнулся. Кто-то толкнул его на землю и ударил еще раз, сломав нос прикладом пистолета. Напавший — незнакомый узник — держал в руках “вальтер”, такой же, как тот, который эсэсовец пару часов назад бросил в сортир. Возможно, это даже был тот самый пистолет, извлеченный на свет божий и как следует вычищенный. Вокруг вдруг поднялся гам, толкотня и беспорядок. Какие-то люди с криками потащили его, срывая на ходу полосатую робу, под которой обнаружилась уже не оставлявшая сомнений черная форма с отпоротыми знаками отличия. Это и был конец пути: узник приставил к виску эсэсовца дуло его собственного “вальтера”, нажал на курок, бабахнуло, и тот упал на землю. Но момент, когда его убили, он в воцарившемся хаосе даже не сумел запом-

нить. Моя мать запомнила это мгновение лучше, она ничего не спутала, кроме времени и места.

Мать как раз и была одной из тех, кого искал эсэсовец, — она случайно оказалась в нужном месте и в нужное время, чтобы остановить стрелявшего узника. Достаточно было выкрикнуть одно слово: "Нет!" Оно бы заблокировало курок. Объяснить все можно было и потом. Так почему же она промолчала? Вероятно, для матери этот вопрос оказался бы неожиданным, не исключаю, что она никогда его себе не задавала. Она бы задумалась, а потом сказала, что ей это просто не пришло в голову. Наверное, добавила бы еще, что в тот момент сама была едва жива. В памяти матери чернота мундира запятнала белизну сахара, которым эсэсовец кормил ее с ложечки. Мать не чувствовала себя ответственной за что бы то ни было и не готова была кричать.

Я видела, как шевельнулась дверная ручка. Медленно повернулась на тридцать градусов — и больше ничего. Лишь в следующее мгновение заскрипели петли. Дверь словно бы нехотя открылась настежь. Сначала, хлопая крыльями, в зал впорхнула небольшая белая курочка и, пометавшись мгновение, пристроилась в темном уголке. Наверное, она не заметила, что лис низко ей поклонился. Эсэсовец — с руками, связанными за спиной, и опущенной головой — грузно встал, подошел и растер подошвой след, который курица оставила на полу, посреди зала. За курочкой, шаркая подкованными сапогами, уже входила группа людей. На них были истлевшие мундиры цвета сероватой полевой зелени. Сперва я подумала, что они ошиблись дверью. Что им велели прибыть в другое место. Узнала я их лишь по простреленным лбам — никто не смел стрелять так метко, как мой отец. Глаза у них были полны боли. Лис жестом показал, чтобы они не устраивали беспорядка и занимали свободные места. Но в дверях возник затор. Одни уже рассаживались, а другие останавливались и, обернувшись, смотрели на что-то, чего мы, сидевшие в зале, не видели. Мы начали вставать, чтобы это увидеть. Лис ждал еще кого-то: он навострил уши и тоже глядел в ту сторону. Я была уверена, что убитые солдаты вот-вот расступятся и в зале появится мой отец, в толстой куртке, подпоясанный кожаным ремнем, подойдет к ним и дружески пожмет руку тем, кто стоит рядом.

Солдаты начали расступаться, но мой отец не появился. По рядам прокатился ропот. Сквозь серо-зеленые шпалеры протискивались совершенно черные люди — люди, сожженные дотла. В глазах у них были отчаяние и безумие. Некото-

рые держали на руках детей, таких же лысых и почерневших. Шедшие сзади вставали на цыпочки, вытягивали обуглившиеся шеи, пытаясь увидеть, что происходит в центре. Они тоже хотели войти. Публику охватывало все большее смятение.

— Эти хуже всего. Хуже всего! — лихорадочно твердил эсэсовец. — Они не могут выбраться из пепла. Они никогда не простят.

— Кто-то разбил им сердце, — сказал лис.

— Кто разбил? Я?

— Их нужно прогнать — этих, которые в мундирах, и тех, черных! — истерически кричала учительница. — Мы все тут не поместимся, и так уже дышать нечем!

Последняя лампочка мгновение помигала, потом перестала и продолжала светить, как ни в чем не бывало. Лис постучал лапой по столу и подождал, пока все успокоятся.

— Они останутся здесь, — сказал он. — Нам придется потесниться. Куда нам их девать? Всё это одна семья.

VI

Однажды мне позвонили из Америки. Этот человек хотел сказать, что знал мою мать. Отыскать номер оказалось непросто. Он перечислил множество незнакомых мне фамилий, и я не совсем поняла, кто же в конце концов дал ему телефон. Однажды я побывала в Америке и смогла убедиться, что она существует на самом деле. Там иногда встречаешь людей, которые давным-давно исчезли из поля нашего зрения, исчезли настолько, что от них не осталось и следа, и казалось, их нет уже нигде. Но они есть, они живы и живут именно там. Этот человек видел мою мать в Лодзи сразу после войны, оба были тогда очень молоды. Она только что вернулась из лагеря, без младшей сестры. Ту, тяжело больную, пришлось оставить в какой-то провинциальной больнице, в чужой стране, от одного языка которой пробирала дрожь. Мать предполагала поселиться в квартире, где семья жила до войны. Ей, наверное, казалось, что стоит вернуться на прежнее место и подождать — и в конце концов все снова станет, как раньше. Но в доме, где семья жила до войны, дверь приоткрылась только на длину цепочки.

— Чего надо? — спросил кто-то с той стороны.

И она поняла, что внутрь ее не пустят. Все это она рассказала человеку, которого хорошо знала и с которым случайно столкнулась на улице.

— У нас найдется место. Я тебя провожу, — сказал этот человек и взял из ее рук узелок.

Человек, который позвонил мне из Америки, помнит, что мать заняла проходную комнату, последнюю остававшуюся свободной в большой квартире, из которой недавно в панике бежала немецкая семья. В углу еще валялись фотографии, счета и письма, никто их не убирал. Остальные комнаты занимали люди, вернувшиеся из мест, хуже которых не было ничего на свете. Некоторые не вернулись вовсе. Моя мать знала их всех — тех, кто вернулся, и тех, кто пропал. Некоторых знала по организации, которой не удалось добыть оружие и которая в решающий момент осталась безоружной и беспомощной. Тщетным оказался непосильный труд и безрассудный риск. Все оказалось тщетным: вера, надежда и любовь. В этой большой квартире никто уже ни во что не верил, а если даже кто-то во что-то еще и верил, то лишь тайком, наперекор себе. Здесь были в ходу сдержанные шутки и подкованные сапоги, вечерами играли в карты. Моя мать легла и заснула. Она спала двое суток. Кричала сквозь сон. Эти крики разносились по всем комнатам, беспокоили шутников, отвлекали игроков, когда те взвешивали на ладони монету, прежде чем бросить на стол и сказать: “Повышаю”. Они заглядывали в проходную комнату, смотрели, что с ней такое. Ничего такого с ней не было, в конце концов она проснулась. Но не встала. На столе лежали фальшивые документы на чешскую фамилию. С этими документами — неизвестно почему только чехов отпустили домой из этого худшего лагеря сразу после того, как его освободили, — мать через пол-Европы добралась до проходной комнаты и только там выяснилось, что она потратила все силы, ничего больше не осталось. Через анфиладу комнат все время кто-то проходил, люди присаживались на край кровати — на мгновение или подольше. Спрашивали, как она, а мать, вместо того чтобы небрежно ответить, что все, мол, в порядке, терпимо, начинала что-то нескладно рассказывать, то и дело захлебываясь лихорадочным кашлем, потому что в проходной комнате висел сизый папиросный дым, раздражавший ее легкие. Решили, что у нее туберкулез. Это как раз никого не пугало, люди по-прежнему спокойно присаживались к ней на кровать. После всего пережитого микробы могли их разве что насмешить. В кухне спал на раскладушке врач, который помнил сотни действительно трагических случаев — действительно трагических, а не таких, как этот.

Но ритм фраз, которые она исторгала из себя, не соответствовал ритму этого дома. Она говорила, словно в бреду, прикрыв глаза, обрывками, о событиях, о которых остальные мечтали забыть. Порой умолкала, горло перехватывало, очередная фраза прерывалась внезапным рыданием, а на середине сле-

дующей мать засыпала. Просыпалась и продолжала рассказывать кому-то другому, случайно подвернувшемуся под руку. Ничего от нее не осталось, думали эти люди, а еще думали, что сами они, к счастью, в состоянии взять себя в руки. Ведь каждый из них мог превратиться в такой вот злосчастный клубок чувств, у каждого имелась похожая история, о которой можно было рассказывать, но они предпочитали множеству исполненных отчаяния фраз одно брошенное слово и горькую улыбку. Да, ирония. Последняя соломинка утопающего. Отчаяние производило плохое впечатление, у каждого имелось вдоволь своего собственного, с трудом удерживаемого внутри, но ведь снаружи места явно не было. Она наверняка понимала, что вызывает жалость. Ведь ее даже прозвали... Мой собеседник умолк. Как? Нет, этого он не захотел мне сказать.

Мне во все это верилось с трудом, ведь сколько я ее знала, она всегда держалась безупречно.

— Да, — согласился мой собеседник. — Потом она уже всегда держалась безупречно. Потом она держалась лучше, чем все они.

Значит, она из последних сил доплелась до этой проходной комнаты и лишь там заблудилась.

Я должна была сообщить ей, что мне рассказали о том, как все было, когда она вернулась после войны в Лодзь. Я была уверена, что именно там, в этой большой квартире, она поддалась скрытому насилию жалостливых взглядов, поверила в превосходство молчания, в победную силу холода. И позволила своему сердцу закалиться так, как жизнь на самом деле ни от кого не требует. Она требует непосильного труда, требует безрассудного риска, но вот этого — нет, никогда. Я должна была ей сказать, что теперь все знаю. И если в чем-то ее и упрекаю, то только в том, что она поддалась и покинула саму себя.

Каким-то чудом мне удалось еще раз дозвониться по пятизначному номеру из той музейной телефонной книги 1938 года.

Кто-то снял трубку. Но не она.

— Кого позвать? Ренату? — переспросил удивленный женский голос с деревенским выговором.

— Франя, — подумала я. — Франя, о которой моя тетка забыла и вспомнила лишь тогда, когда умирала.

— А Ренаты нет. Она еще в школе.

Хавьер Кампос

Стихи

Перевод с испанского Жанны Тевлиной
Вступление Евгения Евтушенко

Застенчивый любовник танго

Я верю и в любовь, и дружбу с первого взгляда. В случае с Хавьером Кампосом — чилийским поэтом — все было именно так. Автор романа "Акробат", книги рассказов "Женщина, похожая на Шарон Стоун", четырех книг стихов, профессор Фарфилдского университета и разносторонний эссеист, меня покорил своим отсутствием бездушной салонной харизмы. В нем есть духовный аристократизм, а руки у него крупные. Он любит простую крестьянскую еду и одевается со вкусом, но не броско.

Он родился в Сантьяго де Чили в 1947 году у служанки в доме местного богатея, и мать никогда не произносила имя его отца. Он знал о своем происхождении только то, что его бабушка по материнской линии была дочерью индианки и немецкого эмигранта. Его дразнили сверстники, всегда жестокие по отношению к безотцовщине, даже если собственные отцы их безжалостно били. В 1962 году на площади в Консепсьон пятнадцатилетний Хавьер впервые, по его словам, увидел русского поэта Евтушенко, читавшего стихи вместе с Пабло Нерудой, где были строчки о кубинском герое по прозвищу Мансана (Яблоко), который погиб во время штурма батистовского радиоцентра. Там были строчки: "Так надо жить — не развлекаться праздно! / Идти на смерть, забыв покой, уют, / И говорить —

© Javier Campos, 2015
© Жанна Тевлина. Перевод, 2015
© Евгений Евтушенко. Вступление, 2015

хоть три минуты — правду! / Хоть три минуты! Пусть потом убьют!" Его поколению не выпала такая судьба, как Мансане. Они не успели защитить Альенде, не сумели выдохнуть из своих легких три минуты правды. Как многие чилийцы, он покинул родину. Ему еще повезло — он стал профессором, пишет стихи, без которых не представляет жизни.

Он вообще на поэта, по обычным представлениям, не очень-то похож. Застенчив, но без комплекса неполноценности, без готовности к обиде, так часто мучающей поэтов недооценкой их таланта остальным человечеством, что — увы! — отнимает слишком много энергии, да и времени. Ни малейшей суетливости по поводу устройства собственной недостаточной прославленности и самое искреннее желание помочь другим даже в мелочах. Редкое в литературе полное отсутствие зависти и умение восхищаться другими поэтами. Неучастие ни в каких политических или литературных тусовках, интригах, спокойное презрение к любой политической стадности и — чудом сохраняемый им, почти архаический, по-ханс-кристиан-андерсеновски, по-сент-экзепюривски детский романтизм среди отравленной циничным скепсисом модернухи. В этом прелесть, но в то же время и артистическое мужество воспетых им котов. Сейчас такой сентиментальный, беззащитно высокопарный романтизм на фоне торжествующей вульгарности почти равен подвигу или поражению до главного боя, что терзает его ранимую душу.

Мы подружились с Хавьером в Гватемале. Может быть, подсознательно нас это и сблизило, и мы с Хавьером потихоньку перевели вместе 44 стихотворения и мою большую недавнюю поэму "Дора Франко". Испанский был первым иностранным языком, на котором я заговорил. Когда-то я упросил редактора "Правды" Сатюкова командировать меня как поэтического корреспондента этой самой тогда многотиражной газеты на Кубу, притягивавшую в те годы всех романтиков мира. Мне хотели дать переводчика. Я отказался, соврав, что знаю испанский, а успел взять только несколько уроков. Я понимал, что под видом переводчика мне могут дать человека "оттуда". Я все-таки был единственным беспартийным в этой главной партийной газете. Я оказался в безвыходном положении уже через неделю после прилета, когда Кастро в переполненном Дворце спорта разговаривал с захваченными в плен наемниками после неудачной высадки в Заливе Свиней и заявил во всеуслышание: Мне только что доложили, что здесь с нами el poeta siberiano Evtuchenko e él pide la palabra. Por favor, compañero[1]... Никакого слова я, конечно, не просил, но меня уже подхватили с двух боков двое барбудос и почти понесли к микрофону. Наш посол, знавший, что я не говорю по испански, и слушавший все это представление по радио, пришел в тихий ужас, ожидая того, что произойдет... Но, к его и собственному удивлению, я заговорил по-испански впервые в моей жизни, по-детски, и, тем не менее, вдохновенно:

1. ...сибирский поэт Евтушенко, и он просит слова... (*исп.*)

— Yo no tengo conmigo ningùn apparato photográfico. Pero mi corazón del poeta salvará mejor para siempre la Victoria del pueblo cubano. Viva la revolución! Patria o muerte! Venceremos![1]

Мне, улыбаясь, аплодировал Фидель, Че Гевара и весь стадион. Экзамен я выдержал и потом уже сам убедил себя в том, что говорю по-испански. Особенно, когда вскоре посчастливилось слышать тому подтверждения шопотом. Это очень помогает изучению иностранных языков.

Переводческое со-творчество с Хавьером Кампосом было уникальным. Мы вместе перевели 44 стихотворения, плюс большую поэму "Дора Франко", из моих интимнейших "доисповедей".

Как это происходило? По-разному. Обычно было так: мы сидели рядом, иногда на столе стояла и бутылка хорошего сухого вина, мы не любители крепких напитков. Я устно переводил Хавьеру с русского импровизированный перевод первой строки, потом второй, и третьей, и четвертой. Затем мы слепляли все строчки в строфу, проверяли ее на звук и одновременно по смыслу. Я пишу по-русски в основном рифмованным стихом, но в русском свежих рифм значительно больше, чем в английском, или в испанском, или в итальянском. Там рифмованные стихи выглядят старомодными, поэтому рифм мы избегаем. Иногда при точном переводе с языка на язык конструкция формы становится громоздкой, многословной. Нужно быть безжалостным и убирать эту громоздкость и даже идти на фантазирование. Когда живой автор сидит рядом с переводчиком, он имеет право на фантазию и даже на полную замену плохо переводящихся слов. Особенно приходится убирать идиомы, потому что они делают стих, понятный в оригинале, совершенно непонятным в переводе.

Но живой автор рядом — это подарок переводчику. Если вы переводите Шекспира, вам неловко будет обращаться к его тени, хотя конечно и с тенью можно наладить дружеские отношения, но все-таки живой Евтушенко — более гибкий соавтор перевода, чем мертвый Шекспир.

А некоторые очень большие куски Хавьер переводил без моего участия, и, делая контрольную читку, я не так уж много редактировал. Почему? Да потому что, когда постоянно работаешь с человеком, которого ты хорошо знаешь и любишь, ты невольно срастаешься с его вкусом, его мыслями, его чувствами и все меньше будешь расходиться с ним в контрольной оценке всего перевода в целом. За многие годы я стал "нигде не иностранец", обрел такое неофициальное "всегражданство" чувств и мыслей, что достигается (как и ощущение Родины) только через конкретных людей — прежде всего через любимых женщин и через любимых друзей. Словом, "люди — родина моя". Но так же и человечество. Туристское от-

1. У меня нет с собой фотоаппарата. Но мое сердце, сердце поэта, навсегда запечатлеет Победу кубинского народа. Да здравствует революция! Родина или смерть! Мы победим! (*исп.*)

ношение к человечеству не самое худшее — это все-таки тоже неравнодушие, хотя бы к памятникам культуры, но самое главное — понимать человечество надо через живых людей, не чураться заводить друзей в разных странах, и по ним эти страны понимать, не по говорящим головам на телеэкране. Хавьер Кампос для меня — это мой сталкер по Латинской Америке, которая тоже зона моей любви, а не только Россия.

21 апреля 2015

Коты не живут на крыше

1

Два сторожевых пса, которых ты привезла из
Сибири,
Походящие на двух львов, двух гигантских мастифов,
двух пантер на охоте,
Давно не лают, когда подхожу к твоей двери.
А могли бы меня разорвать на кусочки,
И подбросить как дохлую мышь, как коты оставляют
обычно добычу у порога хозяев.
По какой такой странной причине они любят меня,
как тебя.
Словно два домашних кота на меня полусонно глядят
с одобреньем.
Будто влюбленный грабитель проникает в твою
обитель при их молчаливом потворстве.
Тот, что в порыве страсти будет срывать с тебя
одеянья.
Вещь за вещью.
Отбирая твое сердце, твою грудь и ноги, губы и
глаза.

2

И что же делать теперь? — говорят коты,
которых бросили.
Дом напоминает потухший город.
Необитаемый остров.
Это как двигаться в одиночку по безымянной
планете.
Где никто тебя не согреет.
И со временем мы умрем от тоски.
Сколько б ни было у нас воды и еды.
А в какой-то момент мы не выдержим и сбежим.

И пускай нас схватит орел.
Или дикая собака сожрет.
Но пока мы держим нашу дверь закрытой,
Чтобы внутри было сокрыто и не превратилось в
руины
прошлое, где все мы были счастливы.

3

Кот, что постарше — просто старше,
Тот, что помладше, стареет рядом.
Он старого лижет, ласкает, целует,
Но не понимает его молчанья.
Зачем-то ищет воду, но пить не хочет?
Видит стакан вина,
Но от стакана — пахнет хозяином,
Что оставил его в этом доме.
Он в окно смотреть не желает.
Говорит, что там мрак и темень.
И дружок нежно лижет его все время.
Но тому уже не нужна его нежность.
Он знает, что никто не придет, и он умрет
Под тем столом,
Что стоит
И все еще хранит запах хозяина.

4

Пришли, чтобы снести этот дом
Потому что им сказали, что больше тут не живут.
Кругом царит запустение.
Мебель, покрытая пылью.
И портреты, где мутные лица влюбленных.
На полу и на стенах видна проступившая плесень.
Телефон, уже тысячу лет не принимавший
сообщений.
И много завядших растений.
Лишь из под стола доносится шорох.
Похоже, что кот, который выжил,
По-прежнему лижет своего мертвого друга.

5

Случайно в доме осталась карточка с твоим
портретом.
Там ты сидишь на камне где-то на пляже в Мексике.

Сзади — тебя вот-вот настигнут волны, и на твоих
губах улыбка счастья.
Ты выглядишь такой влюбленной, что не страшишься
быть погребенной под наступающей волною.
Я жму на кнопку фотокамеры.
И в тот момент, что проявляются черты на фото,
Тебя я вызволяю из клокочущего моря.
В порыве такой же бешеной любви
Я превращаюсь в дельфина над волною,
Который ношу опускает нежно
На безбрежный теплый песок морского пляжа.

6

Что же делать теперь на луне без тебя,
Как мне жить?
Ты сказала, что хочешь чего-то иного,
Так как окружающий нас свет
Больше не дает мне силы тебя любить.
Что же делать теперь без тебя
На песчаной поверхности луны, ее горящем пляже,
Мне, покинувшему темную пещеру
И потом любившему тебя в прериях Венеры?
Если б ты внезапно не устала от такого лунного
света.
Если б я сумел себя заставить снова в темноту
вернуться.

7

Ты сказала, что больше не вернешься в наш старый
дом.
Что сняла жилье на другом краю Вселенной,
Чтобы там поселиться без меня.
И побрел я к другим планетам.
И дошел до последней галактики.
Я купался в лунных озерах.
Прошел сквозь солнце, не опалившись.
Отступил на шаг и достиг истоков Вселенной.
Я решил превратиться в самую яркую звезду для тебя.
Но достичь твоей любви не сумел я,
Так, чтобы ты рядом летела на моем космическом
корабле.
До тех пор, пока мы не постареем в любви.
До тех пор, пока не умрем по другую сторону смерти.

8

Я поздно понял,
Что слишком сильной любви не бывает.
Потому что всегда самая яркая звезда
Гаснет от странного вируса,
Вызванного самой любовью.
И тогда один из двоих
Теряется, оставшись без маяка,
без электронного навигатора.
Дрожа от холода,
В темной пропасти
Бесконечного лабиринта Вселенной.

9

Сегодня это фото подобно дагерротипу цвета сепии.
Ты с темными кругами под глазами.
И наши руки не видны.
На нас неописуемые одеянья.
И пара чемоданов рядом.
И огни освещают дорогу вдаль.
И начинается странствие двух влюбленных
На разноцветном поезде, идущем в рай.

10

Улетят светлокрылые ласточки
Из этого леса, где я так тебя и не встретил,
Оставляя перья и забытые запахи.
Как письмо без отправителя
С неразборчивыми словами.
Как запутанную историю.
Как потертую карту.
Сокровенную фантазию,
Обещания превращений в принцессу
Или чудного принца.
Или неведомого зверя.
Мне кажется, что я слышу твой голос.
Наверное, где-то в лесу
Живет серый волк,
Который скачет у твоего окна, переодетый принцем.

Ушедшие поэты юности

Где теперь мои старинные друзья — поэты юности,
Что давно забыли обо мне,
Те, что навсегда остались в городе моем,
Там, куда мне не вернуться никогда.
Где теперь мои забытые творенья, похороненные
под землей.
Те, что в той далекой юности, всем запретам
вопреки,
Мы читали, как священные тайные пророчества.
Где теперь наши взгляды, устремленные во
Вселенную
В поисках Полярной звезды.
И мы, следующие за ней в старых башмаках Рембо,
С рюкзаком за плечами, источающим запах летнего
сена
Есенинских стихов.
Где труба с отверстиями, чтобы сочинять новую
музыку,
Как учил нас русский поэт Владимир Маяковский в
четырнадцатом году.
Где теперь бесконечные прогулки по тем самым
улицам
С недоступным балконом, куда нас приглашали
взойти
Ее зазывные улыбки и русалочьи песнопения,
Эта недосягаемая красота, которую рождали наши
чудные головы
С растрепавшимися волосами и покрасневшими
щеками;
Та, что пела для меня или моих старинных
товарищей,
И мы, прекрасные юнцы под балконом Джульетты
Капулетти,
Пишем стихи и любовные письма,
Ныне хранящиеся в старых мешках:
Просто пожелтевшие страницы,
Потрепанные временем и никому не нужные.
Что же сталось с теми ушедшими поэтами и куда
девалось все,
Что мы писали долгими зимними и летними
вечерами,
И пили горький абсент, чувствуя нашу
отверженность

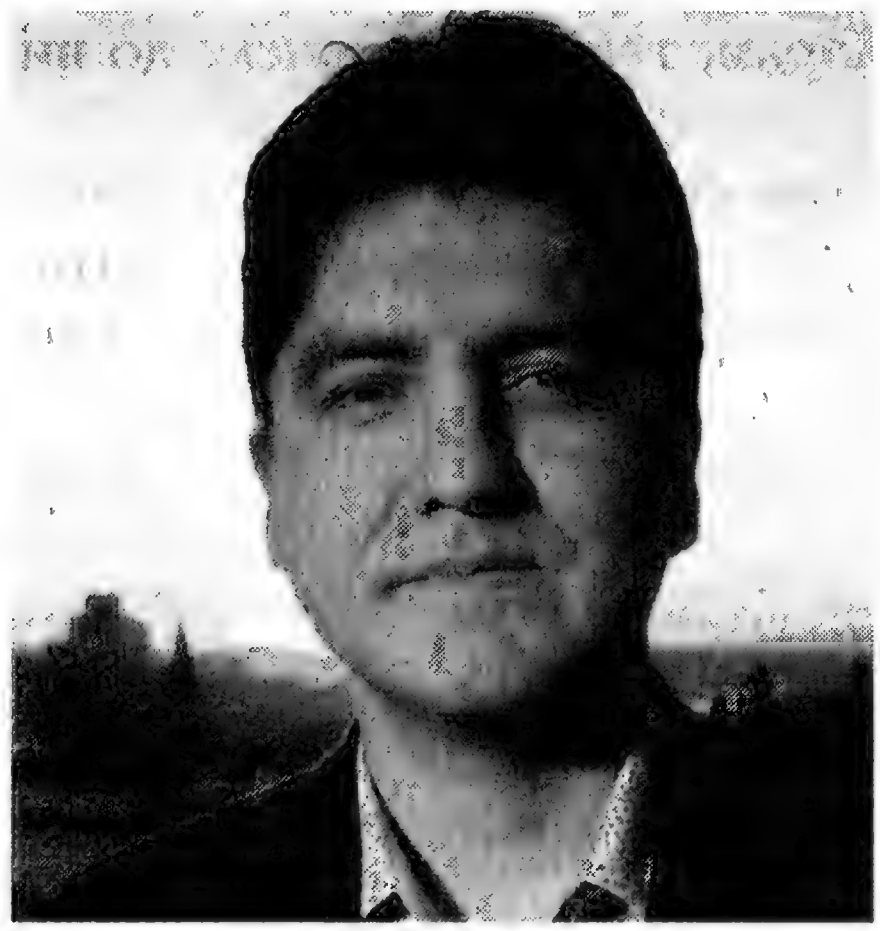
И задумываясь о самоубийстве подобно Альфонсине
Сторни?
Но никто из нас не умер от любви, хотя некоторые
ушли добровольно,
Другие растворились в пространстве жизни,
Или улетели к далеким звездам.
Но были и те, что умерли своей смертью в своем
городе:
Забытые ушедшие поэты юности.

Мы из тех времен

Где теперь друзья прошедших лет.
Тот, что собирался прочесть "Капитал" и Ленина.
Или те, что призрачными южными ночами
Звали меня почитать стихи под сладкое вино и
марихуану.
Или та незнакомая красотка, что как-то летом, в 8
часов утра,
Чуть заметно махнула мне рукой с балкона,
И я – на углу дома с книжкой в руке, глядящий на
нее,
Так и не сказавший ни слова той, что потом исчезла
в тумане лет.
Где же мои друзья, что трудились на фабрике
И там же состарились или вовсе сгинули на острове,
В концентрационных лагерях.
Что же стало с тем, кто прежде был коммунистом,
А затем обратился в Свидетеля Иеговы и читал
проповеди на той же городской площади,
старея над библейскими писаниями.
А где же тот, что собирался стать великим
режиссером,
Но умер от пневмонии, и три недели спустя его
нашли
Сидящим на стуле и глядящим на море через окно
своей комнаты.
Где же те красавицы с ногами цвета персика.
Те, что зазывали нас купаться,
И мы ласкали их груди и целовали вишневые губы.
Где же тот чудак, что носил теплое пальто
И гулял по городской площади, читая проклятых
поэтов.
Где теперь тот красавец, мечта всех девушек,
Что посылали ему записки

И прекрасные розы, презрев все условности.
А он предпочел им художника, с которым уехал жить
в далекие страны.
А где теперь тот, что пел под гитару песни протеста.
Говорят, что он похоронен на морском дне,
Прикованный цепями к тяжелому камню.
Куда ушло то время, когда мы хотели создать мир,
В котором все равны.
Теперь мы снова те же мальчики и девочки с теми же
желаниями,
И снова, как тогда, мы будем читать те же книги,
Смотреть те же фильмы и петь те же песни,
Представляя себя бородатыми мужчинами со
звездочкой на берете,
Мы, грезившие уйти с винтовкой в сельву,
Чтобы принять смерть во имя новой жизни.
Мы наверняка будем любить таких же мальчиков и
девочек,
Ласкать их на раскаленном песке и прижимать к себе
под водой их обнаженные тела.
Некоторые снова исчезнут на том же острове,
Сгинув в страшной плавильне концлагерей,
Или их бросят на дно с тем же камнем,
Прикованных, чтобы они никогда не смогли
вернуться.
Мы из тех времен, помолодевшие от ностальгии,
Но оставшиеся теми же навсегда.

Шерман Алекси



Рассказы

Перевод с английского Светланы Силаковой

Шрамы

На правом предплечье у Майка – шрам в форме молнии.

– Торопился на собеседование насчет работы, – рассказывает Майк. – Хотел накрахмалить белую рубашку. Крахмал стоял по ту сторону гладильной доски. Тянусь за крахмалом и задеваю рукой горячий утюг: сверху по нему чиркнул...

На левом предплечье у Майка – келоидный рубец, вылитый силуэт Пакмана[1].

– На ту работу меня взяли, – рассказывает Майк. – Официантом в "Оладушки" в Авроре. Первый рабочий день. Десятая минута первого рабочего дня. Впервые в жизни наливаю кофе – и чуть-чуть пролил себе на руку. Поначалу было вообще не пойми что: кожа покраснела, покрылась волдырями. Потом ожог зарубцевался, съежился, стал весь плотный и

© 2012 BY FALLSAPART PRODUCTIONS, INC.
© Светлана Силакова. Перевод, 2015

1. Пакман – герой известной компьютерной игры; выглядит как круг с прорезанным треугольником-ртом. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

уродский. Обернулся Пакманом. Такой особый Пакман, которого испекли в печи взамен пиццы — и всю морду опалили.

На лбу Майка — белый шрам; тянется от виска до виска, словно линия горизонта.

— С той работы я уволился, как только заработал на сноуборд, — рассказывает он. — Доехал автостопом до Стивенс-Пасса[1]. Потом автостопом до вершины. Вот дурак был, а? Короче, впервые в жизни начинаю съезжать с горы и тут же сбиваю какого-то старикана. Мы оба упали, вместе покатились вниз, и его лыжа рассекла мне лоб. Сам не знаю, как это получилось. Лоб мне зашили, семьдесят пять швов. Старикан сломал ногу, но не очень рассердился. Сказал: что ж, с лыжниками такое бывает. Старикан был что надо.

Правое ухо Майка смахивает на кочан цветной капусты. Ни дать ни взять, ухо опытного боксера.

— Правда, похоже, как будто пришелец прицепился и трахает ухо? — рассказывает он. — Зато люди поглядывают на меня с опаской, стараются не раздражать. Видят это ухо и думают, что я звезда боев без правил, один круговой удар с разворотом — и пиши пропало.

— Это меня отец, — рассказывает он. — В первый раз ударил, когда мне было лет семь. Я уронил стакан с апельсиновым соком, а отец двинул меня сбоку по голове. Нокаут. Я очухался — ухо распухло, все в крови, все в синяках, цвет какой-то странный. Знаешь, что я сказал маме? "У меня фингал на ухе".

— Ну да, мама знала, что отец меня бил, — рассказывает он. — И никогда не пыталась его остановить. Но я на нее зла не держу. Ведь никто другой тоже не пытался.

— Отец колотил меня по одному и тому же уху, — рассказывает он. — Колотил, когда напивался. А трезвым я его не видел. За все эти годы он ударил меня, наверно, раз пятьдесят.

— По правому уху, — рассказывает он, — потому что отец был левша.

— В последний раз он ударил меня в тот день, когда я окончил школу, — рассказывает он. — К вечеру нажрался и стал ко мне прикапываться. Каждые пять минут спрашивал: "Небось думаешь, ты теперь круче меня?" Или: "Небось думаешь, ты большое дело сделал — типа как насрал на Луне?" И тогда я сказал ему, что поступил в колледж, а он меня ударил. Но я к тому времени вырос. Я был уже с него ростом. И моложе. И трезвый. В общем, не подумай, что хвастаюсь, но я просто вытолкал его пинками из дверей на газон. Тут же собрались зрители.

1. Горнолыжный курорт в штате Вашингтон, США.

— Меня тоже никто не остановил, — рассказывает Майк. — Ни моя мама. Ни даже пастор Арнольд. Потому что они все знали, что отец меня избивает, и за столько лет никто из них пальцем не шевельнул, чтобы ему помешать. А теперь я с ним расквитался. И они не возражали. Они просто вызвали "скорую", когда я закончил.

— Мне дали пять лет за непредумышленное убийство, — рассказывает он. — Освободился досрочно за хорошее поведение. Закончил педагогический колледж. Хотел преподавать в старших классах. Но черта с два они позволят бывшему зэку учить детей в настоящей школе. Черта с два меня подпустят к белым детям. Вот я и вернулся в резервацию. Снова живу у мамы.

— Иногда, — рассказывает он, — она спрашивает, зачем мне понадобилось его убивать. До сих пор по нему скучает.

— А иногда, — рассказывает он, — она натирает мне ухо одним лосьоном. Типа чудо-лекарство, вроде бы рубцы рассасывает. Может, эта хрень и помогла бы, когда мне было десять лет, но теперь разве поможет? Ухо навсегда таким останется. Но эту мысль я держу при себе, матери не говорю.

— Ну да, — рассказывает Майк, — первое время в тюрьме было ой как несладко. У меня и другие шрамы есть, глубоко внутри. Но все наладилось, едва другие индейцы смекнули, что я тоже индеец. Понимаешь, они видели мои светлые волосы и синие глаза и думали: "Ага, ариец[1]". Настоящие арийцы тоже считали меня своим. Но вообще-то я знаю язык моего племени, песни пою, на барабане играю. Короче, однажды я подошел к индейцам, когда они собрались на тюремном дворе. И стал бить в ладоши, словно в барабан, и спел одну песню, которую поют на пау-вау[2], спел в северном стиле. Только, наверно, спел немножко быстрее, чем надо: переволновался.

— Ох, мамочки, тут такое началось, — рассказывает Майк. — Ты бы слышал, как эти индейцы захохотали, захлопали, завопили боевой клич, когда я допел. И один старейшина — у него были длинные седые косы и тысяч десять, никак не меньше, татуировок — прикрикнул: "Тихо!". И все эти лихие индейцы

1. "Ариец" — здесь член тюремной банды "Арийское братство", объединяющей белых заключенных в США.
2. Пау-вау — собрание североамериканских индейцев. Современный пау-вау — специфическое мероприятие, на котором американцы и индейцы собираются, чтобы общаться, танцевать, петь, обсуждать индейскую культуру (длится от нескольких часов до трех дней, иногда — до недели). На пау-вау устраиваются танцевальные соревнования, иногда с денежными призами.

заткнулись, из уважения к старейшине. И он сказал мне и всем остальным... Вот что он сказал: “Бог-создатель даровал нам полукровку, который может петь чистокровно”.

— И тогда мне в тюрьме дали погоняло — Чистокровный, — рассказывает Майк. — Вот ведь умора, а? Белобрысый индеец с погонялом Чистокровный. И вот что я тебе скажу, я спел в тюрьме десять тысяч песен, пел даже для губернатора, а губернатором была белая женщина крохотного росточка. Она приезжала в нашу тюрьму.

— Перед концертом она спросила, какое преступление я совершил, — рассказывает Майк. — В тюрьме таких вопросов не задают, а если кто вдруг задаст, не отвечают. Но я подумал: “Ладно, она же губернатор”, и сказал ей правду. Сказал, что непредумышленно убил своего отца. Что забил его до смерти, потому что он колотил меня много лет. И губернатор придвинулась ко мне близко-близко, прямо дышала мне в ухо... И сказала... сказала... вот что она сказала: “Молодец”.

— Ни хрена себе, а? Можешь поверить, что это было взаправду? — рассказывает Майк. — У меня горло перехватило, я не смог ей ничего сказать в ответ. Но... знаешь что? Если однажды бывшим зэкам разрешат голосовать, я пойду и проголосую за этого губернатора. За нее — на любых выборах. Сечешь? Мне наконец-то стало ясно, как живет наша разнесчастная страна. Мне наконец-то стало ясно, кто должен нами руководить. Кто-то, в ком поровну мстительности и прощения. Кто-то, в ком поровну любви и крови.

— Ты вообще понимаешь, что я имею в виду? — говорит Майк. — Пожалуйста, скажи, что понимаешь.

П*ротест*

МОЙ друг Джимми был светлокожий индеец, а все его братья и сестры — смуглые. Легко можно было предположить, что на самом деле Джимми сын какого-то белого. В нашем племени некоторые так и предполагали, но у Джимми волосы на лбу росли треугольником, совсем как у его смуглых братьев и сестер. В детстве, когда Джимми жил в резервации, его много дразнили. Другие индейцы звали его Немочь Бледная, Недокрашенный или Белоснежка, и, конечно, он комплексовал из-за своего цвета кожи. Но он ни за что бы в этом не сознался. Наоборот, делал вид, что все как надо. Требовал, чтобы к нему обращались Белоперый Орел, а для краткости Орел, словно у него такое настоящее индейское имя. Но нельзя самому дать себе индейское имя, и почти все, не счита-

ясь с его пожеланиями, говорили просто Джимми. Я — лучший друг все-таки — иногда окликал Орел, но чаще: "Эй, Гордый Орел, как житуха?"

Да, мало кто не подкалывал Джимми. Я и то подкалывал. Но зато я убедил его поступить в Споканский общинный колледж.

Мы сняли однушку в Хиллярде — бедном районе недалеко от колледжа — и больше занятий посещали, чем прогуливали. Учились мы с Джимми на автомехаников, собирались открыть свой автосервис, когда получим дипломы. Мечта у нас была, наверно, довольно скромная, но Джимми говорил о ней так, словно мы продолжим какую-то коренную индейскую традицию.

— Когда мы над машиной поработаем, она будет уже не машина, — говорил он. — В ней не будет лошадиных сил. Она сама сделается могучей лошадью.

Он порол чушь, но вообще-то на полном серьезе. А потом вдруг, чуть ли не в один день, увлекся политикой. С индейцами такое то и дело бывает, особенно со светлокожими воинами. По-моему, тут радикализм обратно пропорционален краснокожести. Но перерождение Джимми — это был вообще тяжелый случай. Он не просто бунтовал, а бунтовал без отрыва от профессионально-технического обучения. На практические занятия в автомастерской приходил босиком, голый до пояса.

— Обувь выдумана белым человеком, — говорил он.

— Уймись, Гордый, — отмахивался я. — Я лично одобряю обувь. Как все.

Но он больше не слушал моих советов. Настоящим фундаменталистом стал, с закидонами. До такой степени заделался индейцем, что стал переходить дорогу в неположенных местах. Не желал подчиняться сигналам светофора и пропускать движущийся транспорт.

— Суверенитет моего племени распространяется не только на землю, — говорил он. — Я — индеец, и, значит, мое тело тоже суверенно. И пространство вокруг моего тела — тоже. У меня всегда есть право преимущественного проезда и прохода, потому что я коренной житель.

А еще он начал оспаривать власть всех белых людей в форме — охранников, полицейских, пожарных. Почтальонов изводил нещадно.

— Клал я на них, — говорил он. — И на их поганые нацистские портки[1].

1. Многие американские почтальоны носят форменные шорты. У Джимми они ассоциируются с Германией (видимо, из-за сходства с народным костюмом баварцев).

Как-то, совершая пробежку вдоль реки Спокан, Джимми заметил припаркованную полицейскую машину и показал средний палец двоим копам, которые в ней сидели. А им этот босой парень без рубашки, пыхтящий на беговой дорожке, кое-кого напомнил.

Один коп высунулся в окно и заорал: беги, Форрест[1], беги.

Другой коп крикнул: ату, Тузик, ату!

Джимми хотел, чтобы его воспринимали всерьез. То есть чтоб боялись. Он подбежал к полицейской машине и пнул переднюю дверцу со стороны водителя. А потом пнул еще раз.

Копы выскочили, погнались за Джимми, подставили ему подножку.

— У, козлы, расисты проклятые! — орал Джимми. Копы растерялись: с чего вдруг белый человек называет двух белых полицейских расистами? Джимми, естественно, счел себя жертвой гнета, но копы даже не подозревали, что он индеец. Подумали, что перед ними такой же белый, типичная шваль из Хиллярда.

Спустя несколько часов Джимми позвонил мне из тюрьмы.

— Я сопротивлялся, — сказал он. — Я основал движение сопротивления.

— Уймись, Гордый, — сказал я. — Учти, я не стану вносить за тебя залог.

— Я и сам не соглашусь на освобождение под залог, — объявил он. — Я политзаключенный.

— Придурок ты, вот и все.

А на следующий день телевизор рассказал мне, что в центре Спокана полицейский застрелил бездомного индейца по имени Гарольд.

— У него был нож, — сказал коп.

Оказалось, это был нож для резьбы по дереву, дюйма три длиной. Гарольд пытался приобщиться к родной культуре, ходил на курсы резьбы в Индейский центр. Его племя было известно изготовлением тотемных столбов. И еще изготовлением каноэ. Почти все его племя пьянствует, некоторые допились до смерти.

— У него было угрожающее выражение лица, — сказал коп.

Я был немного знаком с Гарольдом. Почти все индейцы более-менее между собой знакомы. Гарольд не был злобным человеком. Просто лицо у него было такое.

1. Отсылка к сцене из знаменитого фильма Р. Земекиса “Форрест Гамп” (1994).

Я позвонил Джимми. Хотел поговорить о том, как застрелили Гарольда. Но вместо Джимми попал на голосовую почту.

— Будь оно все проклято, — сказал я. — Индейцы до сих пор — дичь для охоты, верно? Когда только эти перестанут в нас стрелять?

Я был настолько зол на весь мир, что самому стало противно. Решил разрядить атмосферу. Сказать Джимми что-нибудь смешное.

— Вот видишь, Гордый, — добавил я, — быть похожим на белого, вроде как ты, иногда полезно. Тебя-то ни один коп не пристрелит, подумав, что ты — разъяренный краснокожий.

Вскоре я сообразил, что сказал Джимми ужасную вещь. Я перезвонил Джимми и извинился. Точнее, наговорил извинения на голосовую почту. Еще через несколько дней снова позвонил и снова наговорил извинения на голосовую почту. Шли месяцы, а от Джимми — ни слова, ни полслова. Я снова ему позвонил и услышал: "Номер не обслуживается". Стал расспрашивать в городе, но никто не знал, где он. Я больше никогда не слышал ни голоса Джимми, ни самого Джимми.

Последнее, что сделал Джимми, — бесследно исчез. И, наверно, это был самый индейский поступок в его жизни.

Р*ади минутной славы*

МАРИ прождала несколько часов. Это ничего. Она индеанка, а у индейцев все: пау-вау, похороны, свадьбы — приучает к терпению. Тут, на прослушивании, ничего индейского не было, но, когда Мари вызвали по фамилии, она была спокойна и сосредоточена.

— Что будете петь? — спросил англичанин.

— Пэтси Клайн.

— Просим.

Он прервал ее уже после первого куплета.

— Вы никудышная певица. Больше никогда в жизни не пойте.

Она знала, что этот момент покажут по телевизору на всю страну. Заранее дала подписку, что смирится с любыми унижениями.

— Но мои друзья, мои преподаватели вокала, моя мама — все говорят, что я изумительно пою.

— Они вам лгали.

Сколько песен спела Мари за свою жизнь? Сколько лживых слов выслушала? Перед объективом телекамеры Мари

произвела безжалостные подсчеты, юркнула в артистическую и выплакалась у мамы на плече.

В этом мире приходится любить лжецов. Либо смириться с тем, что нас никто не любит.

Эмиграция

В мой сад хлынули колибри: сначала летали беспорядочно, потом, зависнув в воздухе, сгруппировались в слова. Для буквы А понадобилось семнадцать колибри, для буквы Ш – двадцать восемь. Так, головка к головке, буква к букве, колибри составили полное имя моей матери.

Я не звонил ей месяц. Как минимум, месяц. Очевидно, птицы прилетели напомнить про мой сыновний долг.

– Здравствуй, мама, – сказал я.

– Кто это? – спросила она. – Голос ужасно знакомый, но что-то никак не вспомню.

– Это я.

– Извините, пожалуйста, повторите, как вас зовут.

– Твой сын.

– Сын? Который? – спросила она.

– Далекий, – ответил я.

– Долго же ты собирался, – сказала она. – Я отрядила колибри в прошлую пятницу.

– Они прилетели минут пятнадцать назад.

– Тьфу на них, – сказала она. – Колибри – птички шустрые, с чего вдруг припоздали?!

– Ты могла бы просто позвонить по телефону.

– А ты не взял бы трубку, ждешь, пока включится голосовая почта. Ты всегда так.

– Ну хорошо, хорошо, – сказал я. – Сейчас я слушаю тебя со всем вниманием. Как поживаешь?

– Ты обещал мне, что пришлешь школьные фотографии моих внучек.

– О черт, мам, опять забыл. Сегодня же кину письмо в почтовый ящик.

– Ты и в предыдущий раз то же самое сказал.

– Знаю, знаю. Был бы у тебя компьютер, все стало бы намного проще. Я бы тебе их прислал по электронке.

– Ох, ни к чему мне эти твои новомодности. Я даже не понимаю, как они работают.

– Пойду на почту, как только повешу трубку. Отправлю фотки экспресс-письмом.

— Если я их так и не получу, смотри у меня, — сказала она. — Пошлю шершней. Не мне тебе рассказывать, какие они дисциплинированные и свирепые.

— И что ты им прикажешь мне написать?

— Они просто набьются в твой дом и станут повсюду писать слово "совесть". Все равно что крохотные католические священники. И станут жалить, жалить, жалить.

Я засмеялся, она тоже. Я положил трубку. Через двадцать минут отправил фото по почте. Но она все равно прислала несколько дюжин шершней. Правда, они вовсе не свирепствовали. Наоборот, уселись мне на плечи и стали что-то нашептывать, а что, я не очень разобрал.

Пора сознаться: как вы, наверно, догадываетесь, я завидую волшебному дару моей матери. И моим трем дочерям тоже завидую. По их велению высоченные сосны наклоняются, подхватывают девочек своими ветками и поднимают высоко в городское небо.

Годы идут, и мои дочери проводят все больше времени наверху, в кронах сосен. Скоро они покинут меня, как я давным-давно — свою мать. Но я сбежал, передвигаясь на своих двоих. А моих дочек понесут деревья — доставят обратно в мою резервацию, чтобы они поселились у своей бабушки, моей матери. И наше племя устроит праздник. Деревья, которые довезли туда моих дочерей, добровольно подставят свои ветки огню. И сгорят. И их дым, возносясь во тьму, сгустится в слова на языке нашего племени, на котором я до сих пор не умею говорить.

Ночные люди

ТУТ у нас в доме напротив — круглосуточный салон маникюра. Такое возможно только в Нью-Йорке. Собственно, в Нью-Йорке таких круглосуточных салонов даже несколько. Но остальные — модерновые мини-дворцы, а заведение напротив моего дома больше смахивает на "Севен-Элевен"[1]: лампы яркие, полы недомытые, высокая вероятность ограблений. Когда салон открылся, я был совершенно уверен, что под его вывеской торгуют наркотиками и/или женщинами. Но каждую ночь, сидя на своем лилипутском балконе (на него не выходишь, в него втискиваешься, словно в ванну), я заглядывал в огромные окна салона и ви-

1. "Севен-Элевен" (7-Eleven) — сеть супермаркетов в США.

дел, как посреди ночи женщины (а также мужчины в женской одежде и/или на разных стадиях превращения в женщин) приезжают привести в порядок ногти на руках и ногах. Кто мог знать, что на свете столько транссексуалок и трансвеститов, страдающих бессонницей?

Все маникюрши были женщины азиатской внешности, почти все — не моложе пятидесяти, сильно измочаленные жизнью в ночную смену. Но одна, лет двадцати пяти, меня завораживала. Неприметная внешность, неприметная одежда, но, не будучи красавицей, она выглядела красивой. Этот незыблемый мираж красоты околдовал не одного меня. Наш ночной консьерж, вообще-то человек смирный и вежливый, заговаривал с ней стихами на языке улиц. Кричал во всю глотку, перебрал все полные и неполные рифмы к слову "японка", хотя она почти наверняка была кореянка. Она всегда улыбалась и махала ему рукой, но и только. Не знаю, скользнул ли хоть однажды ее взгляд вверх, с консьержа на меня, могла ли она заметить, что я наблюдаю за ней с балкона на четвертом этаже. Да можно ли вообще разглядеть меня в темноте?

Итак, я наблюдал, как она выполняет свою работу. Ее коллеги излучали безмолвную враждебность, которая долетала даже до меня через улицу. А вот она держалась бодро. Казалось, общаться с клиентами и клиентками — для нее удовольствие. Она часто смеялась и заражала своим смехом их. Это какой же надо иметь характер, чтобы в 3 часа 33 минуты ночи лучиться обаянием?

Несколько месяцев я вел слежку, а потом решил, что нужно взглянуть на эту женщину вблизи. Мне нужно было с ней поговорить. Мне нужно было сделать маникюр — на педикюр, я сознавал, не решусь никогда. Маникюр — нечто вроде бы публичное, а в педикюре, по-моему, есть что-то интимное, даже эротическое. Мне казалось: если я сделаю педикюр в салоне, то практически изменю своей девушке. Но была у меня и проблема посерьезнее, чем ортопедическая неверность. Я обкусываю себе ногти. Грызу их и жую огрызки. Стыдно идти на маникюр с такими изуродованными ногтями. Поэтому я сначала сам себе сделал маникюр, по-дилетантски, все время опасаясь разбудить мою девушку этим щелканьем ножниц и шуршанием шлифовальной пилки, а потом выскользнул из квартиры и перешел улицу, чтобы сделать профессиональный маникюр.

— Здравствуйте, сэр, — сказала администраторша. — Чем можем вам помочь?

— Я хочу ее, — сказал я и показал пальцем на объект моей привязанности.

Она увидела, что я на нее показываю, улыбнулась, поманила меня к своему креслу. На бейдже значилось, что ее зовут Сондра. Не стоит недооценивать именные бейджи: они дают мужчине благовидный предлог впиться в женскую грудь недолгим, но внимательным взглядом.

— Здравствуйте, Сондра, — сказал я. — Вы не могли бы привести вот это в порядок?

Она взяла мою руку в свои, внимательно изучила ногти.

— Вы их только что сами себе подстригли? — спросила она.

— Да.

Выговор у нее был усредненно-американский, словно в подростковом телесериале, и только легкие нотки выдавали, что она, наверно, из Квинса.

— И отшлифовали? — спросила она.

— Да.

— Этак минуты две назад, верно?

— Да.

— Вы грызете ногти, — сказала она.

— Да. Как вы догадались?

— К нам такие постоянно ходят, — сказала она. — Я тоже грызунья. Потому сюда и устроилась. Хотела отучиться, стала делать дорогущий маникюр. Думала: если потрачу сотню баксов на красоту ногтей, перестану обгрызать.

— И что, сработало?

— Нет, — сказала она. — Тогда я стала ходить в дешевые салоны типа нашего.

— И как?

— Ногти грызть не перестала, но на работу пристроилась.

Сондра опустила мои пальцы в теплую мыльную жидкость. Пока я отмокал, она готовила инструменты.

— Мы делаем холодную стерилизацию, — сказала она. — Она все убивает.

Я вообразил малюсенький морозильник, набитый маникюрными ножницами и пилками.

— Холод действует лучше, чем прожаривание, — сказала она. — Кажется, зубные врачи его тоже применяют. Зубные врачи и маникюрши. Самая грязная работа.

— Вы шутница, — сказал я, вместо того чтобы просто засмеяться. Должен признать, с моей стороны это было довольно-таки странно. Но она, казалось, не заметила ничего необычного. Велела мне вынуть пальцы из ванночки и принялась за работу. Ощущение было потрясающее. Ко мне уже несколько месяцев никто не прикасался с неподдельной теплотой. И даже этот контакт — чисто профессиональный, лишь самую чуточку интимный — возбуждал.

— К вам сюда, наверно, разные чудики заходят, а? — спросил я.

— Реже, чем вы думаете, — сказала она. — По-моему, даже сумасшедшие в легком шоке от того, что мы работаем всю ночь напролет.

— Даже у сумасшедших есть свои рамки приличий, — сказал я.

— Вы шутник, — сказала она, тоже без смеха. Совсем, как я. И повисла та наэлектризованная пауза, когда явно вырисовывается перспектива романтической связи.

— А вы чем зарабатываете на жизнь? — спросила она.

— Ставлю свет в театре.

— На Бродвее? — спросила она. Мысль о Бродвее ее заметно окрылила. Почти всех окрыляет. Но они думают о тех, кто в свете рампы, а не о тех, кто ишачит на колосниках.

— На Бродвее я иногда работаю, — сказал я. — Но чаще на вне-вне-вне-бродвейских постановках[1]. Если где-нибудь люди танцуют нагишом с марионетками, их освещаю я, можете не сомневаться.

— А платят хорошо? — спросила она.

— В Нью-Йорке не проживешь.

— Здесь жизнь вообще никому не по карману, — сказала она.

— И все-таки нас, несчастных голодранцев, тут миллионы.

Она отодвинула кутикулы лопаточкой. Отполировала мне ногти. Стала массировать, натерев маслом, пальцы.

— Актеры к нам все время ходят, — сказала она. — В шоубизнесе полно ночных людей, верно?

— Работаешь нерегулярно, подолгу сидишь без дела, — пояснил я. — Промежутки надо чем-то заполнять. И многие из нас заполняют их одиночеством.

— Когда тебе одиноко, не спится, — сказала она.

— И давно у вас бессонница?

— Пока я не устроилась сюда, проблем со сном не было. А теперь такое ощущение, будто я никогда не сплю.

— И у меня тоже.

Она помассировала мне руки. Кончики ее пальцев касались моих ладоней. Это было так приятно, что я зажмурился и не стал больше открывать глаза.

— Я живу в квартире из одной комнаты, — сказала она. — Я в ней выросла с родителями и тремя братьями. Вшестером в

1. Вне-бродвейскими (off-Broadway) постановками в Нью-Йорке традиционно называли экспериментальные театральные спектакли. Позднее возникла категория вне-вне-бродвейские (off-off-Broadway) — самые авангардные.

одной комнате. Зато мои родители эту квартиру купили. Она была их собственностью. Ну не удивительно ли?

— У одних моих друзей посередине кухни стоит ванна, — сказал я. — Они кладут сверху толстую доску, и получается стол.

— И чего только не придумают! Но теперь вся квартира принадлежит мне. Мои родные уехали обратно в Корею. Даже братья. Здесь родились, здесь всю жизнь прожили, а потом взяли и вернулись.

— Неймется, — сказал я. — Теперь никому на месте не сидится.

— Когда не могу заснуть, просто вышагиваю по квартире, словно в одиночной камере, понимаете? У меня есть откидная кровать, но я ее никогда не раскладываю. К ней все время придвинут большой диван. У меня есть еще два маленьких дивана. Три дивана в однушке! Нет, я точно свихнулась, да? И вот я просто кочую с дивана на диван. Прилягу на один, потом на другой. Пытаюсь заснуть.

— Диванам повезло, — сказал я.

— Любите пофлиртовать, — сказала она. — Как это нравится вашей девушке?

— Откуда вы знаете, что у меня есть девушка?

— У всех вас, любителей пофлиртовать, кто-то есть.

Я открыл глаза.

— Вы тоже любите пофлиртовать, — сказал я. — А у вас кто-то есть?

— Конечно, — сказала она. — Но он почти никогда у меня не ночует. Он слишком легко засыпает. Может спать, даже когда я расхаживаю из угла в угол. Бесит меня дико.

— Вы никогда не жили в одной квартире с человеком, у которого тоже бессонница?

— Нет, — сказала она. — А вы?

— Если двое таких полюбят друг друга, рано или поздно жди убийства и самоубийства.

— Печально, — сказала она.

— Простите, — сказал я. — У меня с девушкой сейчас нелады. Только сомкнет глаза — и через две секунды уже посапывает. Вот свинство!

— Мой парень меня игнорирует. А я все равно не перестаю напрашиваться на его внимание. Может быть, когда-нибудь зайдете и осветите меня, чтобы увидел, какая я красивая.

— Моя преподает в общинном колледже на Лонг-Айленде, — сказал я. — Я ее вообще не вижу. Только когда она спит, а я — нет.

Сондра опять натерла мне руки увлажняющим кремом, каким-то другим.

— У меня с моим парнем уже пять лет не было секса, — сказала она.

— Ого, — сказал я. — Ого.

Я подумал, что он наверняка гей, который шифруется даже от самого себя. Либо в детстве его растлили, и он никак не может изжить травму. А может, он просто трутень, один из тех странных счастливцев, чей моторчик работает не только на биологических жидкостях.

— У меня с моей девушкой в последний раз было полгода назад, — сказал я. — А до того — девять месяцев назад. Секс перепадает мне дважды в год. Я вроде тех католиков, которые ходят к мессе только на Рождество и на Пасху.

Она расхохоталась, стукнула ладонью по столу. И опрокинула ванночку с мыльной водой. Подтирая воду, заморгала, стряхивая с ресниц слезы.

— Почему вы от нее не уходите? — спросила она.

— А вы почему от своего не уходите? — спросил я.

Ни я, ни она не знали, что тут ответить.

Наверно, я оставался с моей девушкой, потому что надеялся, что мы снова влюбимся в тела друг дружки. Мечтал, что она снова меня захочет. В постели мне хотелось, чтобы она забралась на меня и начала тереться, усердно, пока капли пота с нее не потекут мне в рот. Но как признаться ей в этом спустя столько лет, прожитых в благоговейном уважении? Вот черт, я слишком вежливый, чтобы признаться ей в своих желаниях. А если она откажет? А если начнет насмехаться? Быть отвергнутым для меня страшнее смерти.

— На этом с вами всё, — сказала она.

Она имела в виду, что маникюр закончен.

— Я живу в доме напротив, — сказал я.

— Как вы тонко намекаете.

— Да я не в этом смысле, — сказал я. — А может, и в этом. Не знаю.

— Это в вашем доме консьерж — маньяк?

— Он нормальный, — сказал я. — Пока дело не касается вас. Тогда он становится маньяком.

Она взглянула озадаченно.

— Я слышал, как он с вами разговаривает, — сказал я. — Я за вами уже несколько месяцев наблюдаю.

— Ага, — сказала она. — Значит, это вы маньяк.

Отодвинулась вместе со своим стулом.

— Но вы, наверно, все-таки людей не выслеживаете? — спросила она.

– Нет, – сказал я. – Я ночной сторож.

Она ничего не сказала. Только уставилась – наверно, высматривала симптомы подлинной опасности для окружающих. Я-то знал, что безобиден. И, по-моему, она это тоже знала, подсознательно.

– Ну хорошо, – сказала она. – Заплатите администратору. Чаевые приветствуются.

– Не волнуйтесь, – сказал я. – Я больше не приду. И больше не буду за вами наблюдать.

Она просто кивнула.

Я бы хотел сказать ей что-нибудь глубокое: дать имя нашему особому одиночеству, образно описать пропасть, которая может разверзнуться между влюбленными. Но не смог выразить словами ничего, кроме своего самого заветного желания.

– Поспать бы, – сказал я.

– Да, – сказала Сондра. – Я вас понимаю.

Я оплатил маникюр и пошел назад к своему дому. Обнаружил, что консьерж куда-то отлучился. А заодно обнаружил, что ключи остались дома. Придется будить мою девушку. А она рассердится, что я ходил в самоволку, и начнет ревновать, потому что я разговаривал с другой женщиной. Моя девушка сама мне не дает, но не хочет, чтобы давали другие. После неизбежной ссоры мы оба будем ворочаться в темноте, и она начнет досадовать, что сегодня не выспится и утром будет трудно читать лекцию... а я так и не осмелюсь протянуть руку на ее половину кровати, прикоснуться к ее телу.

Мне не хотелось, чтобы так произошло. Пусть лучше вообще ничего не происходит. И я встал посередине улицы. Поразительно, что восемь миллионов жителей могут вести себя так тихо. Я подумал: может, пойти в круглосуточный кафетерий на Кэнел-стрит и дождаться там рассвета? Но потом поднял глаза на свое окно и увидел, что на нашем балкончике стоит моя девушка. Ее можно было разглядеть в темноте. Интересно, давно ли она за мной наблюдает? И чего теперь хочет – чтобы я вернулся к ней или ушел прочь?

О *бет*

– ЕСЛИ у меня начнется “альцгеймер”, – сказал он, – отправь меня в дом престарелых. Я так хочу.

– У индейцев не бывает “альцгеймера”, – сказала она.

– Серьезно? И почему же, скажи на милость?

— Потому что наши старейшины продолжают играть активную роль в нашей культуре. Пау-вау, устные рассказы, церемонии.

— Мало похоже на научный факт, — сказал он. — Зато, знаешь ли, похоже на лапшу, которую вешают на уши.

— На правду. Это похоже на правду.

— Все что угодно станет похожим на правду, если повторять достаточно долго.

— Для меня это правда, — сказала она. — Если у тебя начнется "альцгеймер", я буду за тобой ухаживать. Переделаю столовую под больничную палату. И куплю кресло-реклайнер, у которого спинка откидывается и приподнимается. И буду кормить тебя с ложечки бататами.

— Ненавижу бататы, — сказал он.

— Тогда морковкой.

— Зачем тебе за мной ухаживать, когда я стану таким? Зачем жертвовать своим здоровьем ради меня?

— Есть такая штука — супружеские обеты, — сказала она. — Ты случайно не помнишь, какой обет мы давали?

— Нам нужны "Супружеские обеты 2.0"[1], — сказал он.

— Идешь в ногу со временем.

— Я — индеец, — сказал он. — Ты же знаешь, что я заболею раньше. Если у кого из нас и начнется "альцгеймер", так это у меня.

— Жалость к себе. Очень сексуально.

— Да я же серьезно, — сказал он и взял ее за руку. — Обещай мне.

— Что обещать?

— Обещай, что отправишь меня в дом престарелых, если у меня будет "альцгеймер".

— Никогда. Ты все равно останешься самим собой.

— Как я могу быть собой, если полностью потеряю память? Черт возьми, мы состоим только из воспоминаний.

Ее не удивило, что он вдруг вспылил. Она знала, как его успокоить.

— Ну хорошо, — сказала она. — Ты лишишься своих воспоминаний. Понимаю. Но у меня-то мои все равно останутся. У меня хватит памяти на нас обоих.

— Звучит красиво, — сказал он. — Но это, знаешь ли, та же лапша для ушей.

— Возможно. Но я в эту лапшу верю.

1. "2.0" — герой имеет в виду, что им нужны, так сказать, "обновленные супружеские обеты", по аналогии с обновленными компьютерными программами.

— Послушай, — сказал он. — Просто пообещай мне кое-что. Когда я забуду твое имя... когда я забуду, кто ты такая... тебе придется отправить меня в дом престарелых.

Она попыталась это вообразить. Вообразила, как он пялится на нее, точно на чужую женщину, которая проникла в их дом без спросу. Вообразила и похолодела. Но вообразить оказалось так легко, что сердце невольно сжалось от горя.

— На эту тему я вообще не желаю говорить, — сказала она. — Ничего подобного не будет.

— Я люблю тебя, — сказал он. — Люблю так, как земля любит землю. Обещай мне это, ради моего же блага.

— Нет.

— Обещай, что отправишь меня в дом престарелых, если я забуду, кто ты.

— Нет.

Он встал с дивана, прошелся по комнате. В арке, ведущей на кухню, помедлил. Обернулся к ней.

— Вообрази... — сказал он. — Вообрази, что это пространство между нами — все, что у нас осталось. Вообрази, что на таком расстоянии я не могу ни видеть тебя, ни слышать. Вообрази, что я по тридцать раз в день говорю тебе: “Позвольте представиться”.

На глазах у нее выступили слезы. “Не плачь, нельзя”, — подумала она.

— Перестань, — сказала она. — Зачем ты так?

— Просто дай мне обещание, — сказал он. — Перестань задавать вопросы. И просто пообещай. Мне нужно твое обещание. Просто поступи, как моя жена, и не оспаривай моих мотивов, хотя бы в виде исключения. Просто смирись с фактом. Или ты меня не так сильно любишь, чтобы смириться с фактом, когда я об этом прошу?

Она закрыла лицо руками, зарыдала. Через несколько минут слезы перестали течь. А еще через несколько минут язык снова стал ей повиноваться:

— Ну ладно. Если ты не сможешь вспомнить, кто я, отправлю тебя в дом престарелых. Но стану ходить к тебе каждый день. И каждый день, твою мать, буду тебе втолковывать, как меня зовут, каждый день, пока мы оба живы.

Материлась она редко. Он понял: она сделает так, как сказала.

— Черт бы тебя подрал, — сказала она. — Черт бы тебя подрал, как ты только смеешь требовать от меня такого. Черт бы тебя подрал, как ты только можешь наводить тоску. Засранец!

Им обоим было по двадцать семь, они жили в большом городе, в доме с одной спальней. Поженились три года назад.

Она ждала второго ребенка. Когда она забеременела впервые, они выяснили, что родится девочка. А насчет второго ребенка решили не выяснять — пускай будет сюрприз. Она была из индейской резервации Колвилл, он — из индейской резервации Спокан. Между землями их племен течет Колумбия, четвертая по протяженности река в США. Он ухаживал за ней семь лет: въезжал на своей машине на гиффордский паром и ради нее переплывал воды.

О, эту реку он полюбил, как только родился.

О, эту девушку он полюбил, как только впервые увидел в полумраке на пау-вау: она исполняла танец с шалью.

Но всегда сам побаивался силы своей любви к ней, а тем более — силы ее любви к нему.

Однажды, когда ему было девятнадцать, он въехал на паром, приняв твердое решение: порвать с ней и пойти служить в морскую пехоту. Удрученно размышляя о своем малодушии, он выскочил из машины и принялся ходить туда-сюда по тесной палубе парома. А потом перегнулся через поручни и увидел, что бок о бок с судном плывет стадо оленей.

— Просто охренеть, — мысленно воскликнул он.

— Просто охренеть, — повторил он и насчитал одиннадцать оленей.

— Просто охренеть, — сказал он в третий раз, когда самый здоровенный самец оглянулся и уставился на него. Олень его осуждал.

В полном изумлении он обернулся, хотел было рассказать, что случилось, другим людям на пароме — там было еще три человека. Но раздумал рассказывать. Решил, что нельзя трепаться про оленя направо и налево. Решил, что это было знамение. Как уехать из мест, где можешь увидеть такие чудеса?

И вместо того чтобы в тот день бросить ее и уйти на войну, он пришел к ней домой, держа в руках свой бубен. И для аудитории из трех человек — для нее и ее родителей — спел песню почета в честь оленей. Сымпровизировал песню в честь оленей. И пока пел, осознал, что эта песня почета — заодно песня любви в ее честь. И моментально выучил эту песню наизусть.

И вот спустя много лет, стоя в арке, ведущей на кухню, глядя, как жена плачет над идиотским новшеством, которое он добавил к супружеским обетам, он попытался ее утешить.

— Милая. Даже если я забуду твое имя, я все равно буду помнить ту оленью песню. Каждый раз, когда ты придешь меня навестить, я спою тебе оленью песню, даже если перестану понимать, зачем ее пою. И, значит, все будет в порядке.

Он сам почти поверил, что так все и случится. И она тоже почти поверила.

Майкл Фрейн

Балморал

Фарс в двух действиях

Перевод с английского и вступление Екатерины Ракитиной

Историческая тематика интересовала Майкла Фрейна всегда. Одна из самых известных его пьес, "Копенгаген", посвящена встрече Нильса Бора и Вильгельма Гейзенберга в 1941 году, "Демократия" написана о канцлере ФРГ Вилли Брандте и его секретаре, восточногерманском шпионе Гюнтере Гийоме. В пьесе "Жизнь после жизни" (2008) Фрейн обращается к истории знаменитого австрийского актера и режиссера Макса Рейнхардта.

Однако даже в этом ряду комедия "Балморал" стоит особняком. Это не только размышление о тоталитаризме, но и уникальный для Фрейна опыт в жанре альтернативной истории: в мире "Балморала" революция 1917 года произошла не в России, а в Великобритании. В этом варианте реальности комически перерождаются персонажи британской литературной жизни 1930-х годов. Сэр Хью Сеймур Уолпол (1884—1941), автор исторических и психологических романов, выступает у Фрейна в роли литературного функционера, английского варианта "писателя-попутчика", сотрудничающего с новой властью. Разговор о его популярности в России не случаен: Уолпол, военный корреспондент Первой мировой, был награжден русским Георгиевским крестом за спасение раненого солдата, работал в Петрограде во время Февральской революции и позднее написал о русских событиях два романа: "Темный лес" и "Тайный город". Джордж Уорик Дипинг

© Michael Frayn, 2009
© Екатерина Ракитина. Перевод, вступление, 2015

(1877—1950), автор исторических романов, близких к жанру фэнтези, и книг, резко критикующих современную цивилизацию, у Фрейна изображен джентльменом из "бывших" — что вполне согласуется с характеристикой, данной Дипингу Оруэллом: "Он принадлежит к огромному племени, которое просто не замечает, что происходит вокруг". Годфри Уинн (1906—1971), актер, писатель и журналист, в частности, заведовавший отделом женских писем под названием "Дорогая Эбби" в газете "Санди экспресс", становится пролетарским поэтом. И, наконец, самая разительная метаморфоза происходит с Энид Блайтон (1897—1968), написавшей множество детских приключенческих книг (в том числе и роман "Братство Семерых", название которого обыгрывается у Фрейна), — в пьесе она превращается в автора "путаной любовной лирики". То, что журналист Кочетов, "империалистическая акула пера", носит имя реакционного советского автора ("Журбины" и "Чего же ты хочешь?"), бросает на текст дополнительный комический отсвет. Возможно, это также неслучайный выбор.

Основания для подобного предположения есть, и весьма существенные. С русской и советской культурой Майкл Фрейн знаком куда ближе, чем большинство его соотечественников. В юности он изучал русский язык в военной лингвистической школе, два года служил армейским переводчиком с русского. Как раз в годы работы над пьесой "Балморал" — первый вариант комедии написан в 1978 году, с тех пор она дважды перерабатывалась: в 1980-м (тогда она носила название "Двор Свободы") и в 1987 году, — Фрейн снова погружается в русскую литературу и язык. Он переводит Чехова ["Вишневый сад", 1978; "Три сестры, 1983 (вторая редакция — 1988); "Безотцовщину" (в переводе "Дикий мед"), 1984; "Чайку" и "Дядю Ваню", 1986], Толстого ("Плоды просвещения", 1979), Трифонова ("Обмен", 1990).

Русская тема в пьесе "Балморал" звучит очень мощно. Дело даже не в том, что быт Дома отдыха писателей, расположенного в бывшей королевской резиденции, безошибочно воспроизводит советские реалии, и не в том, что один из центральных персонажей комедии — русский журналист. А в том, что пьеса Фрейна во многом построена на аллюзиях с одним из ключевых текстов русской драматургии — "Ревизором" Гоголя; эти аллюзии русский читатель узнает мгновенно и радостно. "Русское" и "английское" у Фрейна то меняются местами, то сливаются воедино, то иронически отражаются одно в другом, вовлекая читателя во взаимную игру и перекличку традиций, не утратившую ни смысла, ни актуальности, ни остроты за прошедшие годы.

Действующие лица
(в порядке появления):

Годфри Уинн, писатель
Уорик Дипинг, писатель
Энид Блайтон, поэтесса
Джон Макнаб, дворецкий
Скиннер, комендант Дома писателя
Владимир Кочетов, русский журналист
Триша, его спутница
Хью Уолпол, писатель

Действие происходит в бывшем королевском замке Балморал, в Шотландии, ныне – Государственном Доме отдыха писателей Советской Социалистической Республики Великобритания, в 1937 году.

Действие первое.

Одна из комнат замка.
Мебель, обитая шотландской черно-белой клетчатой тканью, оленьи рога, картины Ландсира[1], роскошный камин и три двери: в левой стене, в правой, и по центру. Кресла, обеденный стол, буфет, на котором все приготовлено для завтрака.
Однако при ближайшем рассмотрении в обстановке комнаты обнаруживаются некоторые странности. В огромном камине стоит маленький электрический обогреватель. Вокруг стола расставлены разномастные кухонные стулья. На одной из дверей висит доска объявлений.
Двадцатидевятилетний Уинн стоит спиной к камину с электрообогревателем, греется. Он одет в брюки гольф и свитер. Под мышкой у него газета; задумчиво улыбается.
Через центральную дверь входит Дипинг. На нем старый костюм хорошего кроя, на шее шарф. В руках папка с бумагами. Он – истинный джентльмен.
Останавливается на пороге, хмуро оглядывает комнату и потирает руки, чтобы согреться. Уинн мельком смотрит на него, продолжая улыбаться своим мыслям.

Уинн. Чудной мир. Ох, и чудной же.

Дипинг (*не реагируя, продолжает потирать руки, потом подходит к висящему на стене термометру*). Восемь градусов. Это здесь, в комнате. А снаружи, верно, все сорок. (*Подходит к буфету и брезгливо берет тарелку.*)

1. Эдвин Генри Ландсир (1802–1873) – английский художник и скульптор-анималист; создатель львов на Трафальгарской площади; придворный художник королевы Виктории. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Уинн. Я прошелся перед завтраком, подышал. Сегодня вроде можно бы поохотиться. Пострелять тетеревов. Денек подходящий.

Дипинг садится со своим кеджери[1] за стол и смотрит вокруг, ища что-то.

Газету? (*Протягивает Дипингу газету, которую держал за спиной; Дипинг разворачивает ее и читает за едой.*) И все-таки, Уорри, чудной мир.

Дипинг продолжает читать.

Нет, серьезно, вам когда-нибудь приходило в голову, когда вы были ребенком, вы хоть на секунду могли представить, что через много лет проснетесь морозным утром, за окнами все белым-бело, на буфете стоит старинная супница с дымящимся кеджери, и вы вдруг понимаете, что вы в замке Балморал?

Ответа нет.

Я так думаю, для меня это будет удачный год. Еще только четвертое января!.. Уверен, в тридцать седьмом году у меня все будет прекрасно.

Через среднюю дверь входит Блайтон, на ней свитера и теплые кофты в несколько слоев. Она останавливается на пороге, как и Дипинг, хмуро оглядывая комнату и потирая руки.

Энид, вам когда-нибудь приходило в голову, когда вы были маленькой девочкой, что однажды, морозным трескучим январским утром спуститесь по лестнице и окажетесь в столовой королевского замка?

Блайтон будто и не слышит его. Она дрожит.

Дипинг (*поднимая на нее глаза*). Все сорок. А то и пятьдесят.

Блайтон, ошеломленно глядя на него, перестает потирать руки.

Уинн. Почему бы нам с вами, Уорри, не объединить усилия и не пойти в наступление на пожилую, измученную жизнью козу?

Блайтон резко поворачивается и смотрит на Уинна.

Дипинг (*поясняет*). Годфри хочет кого-нибудь завалить.

1. Жаркое из риса и рыбы, приправленное карри.

Уинн. Мы же в королевской резиденции. Здесь так положено.

Дипинг (*тихо*). Вам никогда не хотелось никого завалить, Энид?

Уинн. Нет, серьезно. Макнаба тоже можно привлечь.

Дипинг. Мне иногда хочется.

Уинн. Да нет, я просто думал, раз мы в замке Балморал, надо стараться получать от этого удовольствие.

Дипинг. Повесить еще одну голову над камином.

Уинн удивленно смотрит на Дипинга. Пауза.

Блайтон. Пятьдесят?

Пауза.

Дипинг. Простите?

Блайтон. Кому пятьдесят?

Дипинг. Кому? То есть как это, кому пятьдесят?

Блайтон. Вы что, хотите сказать, мне пятьдесят?

Дипинг. Минус пятьдесят.

Блайтон. Минус?

Дипинг. Градусов. Мороза. По ощущению.

Блайтон (*недоуменно смотрит вокруг*). О чем это вы с утра, не пойму. (*Подходит к буфету и накладывает в тарелку кеджери.*)

Дипинг (*тихо*). Еще две головы над камином.

Уинн. Уорри, я просто хотел...

Дипинг. Годфри, вы стараетесь понапрасну.

Уинн. Хорошо, хоть пару кроликов.

Дипинг. Я вам вот что скажу, Годфри: даже если вы будете занимать свой пост на каминном коврике, выводя всех из себя, пока у вас на заду не загорятся брюки; даже если вы пойдете и устроите избиение кроликов, оленей, тетеревов, волнистых попугайчиков и белых мышей во всей горной Шотландии, вы не сможете убедить Энид и меня, что вы — джентльмен.

Молчание. Уинн смотрит на Дипинга. Дипинг читает газету. Блайтон садится за стол и начинает уплетать кеджери. Уинн смотрит на нее, потом снова на Дипинга.

Уинн (*тихо*). Уорри, вы говорите страшные вещи. Это обидно, низко, и это противоречит решениям Шестнадцатого съезда Партии.

Дипинг. Напротив, Годфри. Мое замечание как раз в духе решений Шестнадцатого партийного съезда. На этом вы меня не подловите.

Уинн. Уорри, как вы думаете, ради чего в 1917 году у нас, в Англии, делали Революцию?

Дипинг. Неужели ради того, чтобы сделать из вас джентльмена?

Уинн. Ради того, чтобы стереть классовые различия. И этот процесс завершен. Мы живем в бесклассовом обществе. Это разъясняется в резолюции, принятой по итоговому документу Шестнадцатого съезда Партии.

В правую дверь входит Макнаб. На нем шотландский берет, килт и резиновые сапоги. В руках у него ведерко, в каких охлаждают шампанское, с ручкой из веревки. Он волочит за собой лопату. В ведерке уголь. На Макнаба никто не обращает внимания.

Дипинг. Вот именно. Джентльменов больше нет, Годфри. Этот вид вымер.

Уинн. Я понимаю решения Шестнадцатого съезда по-другому.

Дипинг. И как же?

Уинн. Я понимаю так, что теперь все мы — джентльмены.

Макнаб уходит в левую дверь.

Дипинг. Джентльмены всех стран, соединяйтесь!

Уинн. Маркс и Энгельс были немцами. Но Революция произошла не в Германии. И не во Франции, Италии или России. Она произошла в Англии. Мы живем в английском бесклассовом обществе, Уорри, задумайтесь! Посмотрите сами. Мы окружены роскошью. Малейшие наши желания выполняются. Для этого Балморал и отдали народу: чтобы простые люди могли жить, как короли!

Дипинг. Мы не люди, мы писатели.

Уинн. Писатели тоже люди, Уорри! И притом замученные. Потому-то нам и дают недельку-другую отдохнуть в этом замке!

Молчание.

Блайтон. Что мы едим?

Дипинг. Овсянку.

Блайтон. Овсянку?

Дипинг. Такова моя гипотеза.

Уинн. Кеджери.

Дипинг. Это не кеджери. Кеджери готовят из риса. Это не рис.

Уинн. Но уж и не овес!

Дипинг. Это что-то вроде перловой крупы.

Уинн. Овсянку варят из овса.
Дипинг. Это перловка.
Уинн. Кеджери из перловой крупы.
Блайтон. Там еще репа попадается.
Уинн. Кеджери из перловой крупы и репы.
Дипинг. Или суп из репы с перловкой.

Через левую дверь входит Макнаб. В руках у него то же ведерко, он по-прежнему волочит за собой совок, но теперь в ведерке ничего нет, а на Макнабе, под курткой, поверх килта, надет зеленый суконный фартук. Макнаб направляется к правой двери.

Уинн. Давайте спросим Макнаба. Джон, что едят эти добрые люди?
Макнаб. Кеджери.
Уинн. Кеджери. И что же это за кеджери?
Макнаб. Кеджери из перловки и репы.
Уинн. Спасибо, Джон.
Дипинг. Макнаб, а что наводит вас на мысль, что это кеджери?
Макнаб. Я его готовил.
Дипинг. Но, Макнаб, почему вы считаете, что в результате получился кеджери?
Макнаб. Потому что сегодня среда.
Дипинг. Благодарю вас, Макнаб.
Уинн. Спасибо, Джон.

Макнаб уходит в правую дверь.

Просто никто нас не заставляет день и ночь просиживать штаны за работой.
Дипинг. Уолпол еще не спускался. Последние дни он, похоже, решил вовсе не завтракать. К чему бы это?
Уинн. Ну, всем хочется поработать.
Дипинг. Но он сидит у себя прямо-таки сутками.
Уинн. Я хочу работать. И работаю. Я до завтрака два часа работал, в этой самой комнате.
Дипинг. Еще бы, ведь у него в комнате тепло.
Уинн. Просто если тебя отправляют зимой пожить в королевском замке, а ты палец о палец не ударишь, чтобы получить от этого удовольствие, это, по-моему, свинство, даже если и не противоречит решениям Шестнадцатого съезда.
Дипинг. У Хью Уолпола в комнате тепло, потому что у него за стеной — труба вытяжки из кухни. А еще у него двоюродный брат — в больших партийных чинах.

Пауза.

Блайтон. У меня украли грелку для постели.
Дипинг. Здесь все крадут.
Уинн. Только то, что плохо лежит.
Блайтон. Я не могу спать без грелки.
Дипинг. Половину железа с крыши украли.
Уинн. Уорри, зачем преувеличивать. Его там еще полно.
Дипинг. Украли все затычки для ванн.
Блайтон. Я не могу работать без грелки.
Дипинг. Замок растаскивают потихоньку.
Уинн. Придется вам работать здесь, мы все здесь работаем.
Дипинг. Кроме Хью.
Блайтон. Я не могу работать, когда в комнате есть кто-то еще.
Уинн. Только Уорри и я.
Дипинг. Подумайте, каково здесь будет летом, когда понаедет народ. Представьте: двадцать или тридцать писателей, и все тут живут и работают.
Уинн. Все жалуются на кормежку.
Дипинг. Все говорят, что не могут работать, когда в комнате есть кто-то еще.
Блайтон. До лета я не доживу.

В правую дверь входит Макнаб с ведерком для шампанского и лопатой. Теперь в ведерке до верху угля, а зеленого фартука на Макнабе нет. Он направляется к левой двери.

Блайтон (*Макнабу*). Вы нигде не видели грелку для постели?
Макнаб. Нет.
Уинн. Джон, тут есть ружье?
Макнаб. Нет.
Уинн. А коньки?
Макнаб. Нет.
Дипинг. Макнаб, вас не пороли в школе за болтовню на уроках?
Макнаб. Нет.

Макнаб уходит.

Уинн. У него все-таки столько забот. Он и готовит на всех...
Дипинг. Готовит — слишком сильно сказано.
Уинн. Не забывайте, он и убирает, и стирает, и садовничает...
Дипинг. И ворует...
Уинн. Весь замок на нем.
Дипинг. Подумать только, таким замком управляет один младший конюх!
Уинн. Он не младший конюх.

Дипинг. До Революции был младшим конюхом.
Уинн. А теперь он — дворецкий.
Дипинг. Помилуйте, какой из него дворецкий!
Уинн. Не все сразу. Со временем у него начнет получаться лучше, так всегда бывает.
Дипинг. А что вы скажете о Скиннере?
Уинн. О коменданте? Как раз про таких, как комендант, я и говорю...

В среднюю дверь входит Скиннер. На нем приличный темный костюм, темная рубашка и галстук. В руках у него несколько бухгалтерских книг.

Дипинг. Доброе утро, Скиннер.
Уинн. Привет коменданту!
Дипинг. А мы как раз о вас говорим...

Скиннер не отвечает. Бросает книги на стол и обводит комнату мрачным, оценивающим взглядом.

Уинн. Может, вам помочь, комендант? Ищете что-нибудь?

Скиннер подходит к буфету и берет полупустую бутылку молока.

Уинн. Может, чаю? Налить вам чаю, комендант?

В левую дверь входит Макнаб с ведерком для шампанского. На нем снова зеленый суконный фартук, но за собой он тащит не лопату, а швабру, и ведерко с водой. Скиннер пристально рассматривает ведерко, пока Макнаб идет к правой двери.

Скиннер. Решил поднести угольку, Макнаб?
Макнаб. Решил полы помыть.
Скиннер. И взял ведерко для шампанского?
Макнаб. И взял ведро для угля.
Скиннер. Это — ведерко для шампанского.
Макнаб. Только ведерко и осталось.
Скиннер. Ну, хорошо.
Макнаб. Хорошо?
Скиннер. Хорошо.

Макнаб уходит в правую дверь. Скиннер уходит в среднюю дверь, унося с собой бутылку молока.

Дипинг. Что вы там говорили?..
Уинн. Я говорил, что имел в виду как раз таких, как наш комендант. Знаете, кем он был до Революции?
Дипинг. Кассиром на одном из лондонских вокзалов.
Уинн. Да, а через двенадцать лет возглавил всю британскую трамваестроительную промышленность.

Дипинг. А потом его понизили до коменданта Дома писателей.

Уинн. Ничего смешного.

Дипинг. Но ведь он и этого не может, разве нет? От судьбы не уйдешь! На днях за ним придут. Позвонят в дверь в шесть утра, мы спустимся завтракать — где Скиннер? Нет Скиннера.

Уинн. Да вы что, Уорри! Разве можно так шутить.

Дипинг. Куда он унес молоко?

В правую дверь входит Скиннер. В руках у него молочная бутылка, но молока там больше нет, из нее торчит голый прутик. Скиннер оглядывает комнату, прикидывая, где ветка будет выигрышнее всего смотреться.

Уинн. Смотрите, какую веточку нам принесли! Она так оживит комнату.

Скиннер пробует ставить бутылку в разные места и оценивает, как она смотрится.

Дипинг. Что, Скиннер, ревизия будет сегодня?

Уинн. Ну откуда ему знать, сегодня или нет? Это же внеплановая ревизия. О ней не сообщают.

Дипинг. Кто-нибудь мог шепнуть.

Уинн. Так что, комендант, сегодня?

Дипинг. У художников и графиков в Сандринеме уже были. Мне написал Спенсер.

Уинн. У оперных певцов в Холируде тоже. Арестовали завхоза и двух баритонов.

Дипинг. Рано или поздно придет черед Скиннера.

Уинн. А веточка все равно милая.

Пристроив бутылку, Скиннер садится за стол и открывает бухгалтерские книги.

Скиннер. Так, давайте начнем собрание, быстрее освободимся.

Дипинг. Собрание? Какое еще собрание?

Скиннер. Вы что, расписание совсем не читаете?

Уинн. А, собрание ячейки!

Скиннер. Так, что с решениями прошлого собрания?

Уинн. Вношу предложение оставить без изменений.

Скиннер. Кто поддерживает?

Уинн (*подсказывает*). Уорри...

Дипинг пожимает плечами и поднимает руку.

Скиннер (*занося в протокол*). Отчет бухгалтера?

Уинн. Предлагаю принять.
Скиннер. Кто за?
Дипинг. Ваша очередь, Энид.
Блайтон (*приходя в себя*). Что-что?
Уинн. Отчет бухгалтера. Нужно, чтобы кто-нибудь поддержал.
Блайтон. О чем это вы?
Дипинг. Просто поднимите руку, Энид.

Она послушно поднимает руку.

Скиннер. Пункт третий. Ячейка делегирует своих представителей, со знаменем, в Эдинбург на воскресный митинг Борцов с царизмом. Кто вносит предложение?
Уинн (*мягко*). Уорри...

Дипинг поднимает руку.

Скиннер. Кто поддерживает?..
Уинн. Энид...

Блайтон поднимает руку.

Скиннер. Пункт четыре. Ячейка приветствует призыв областного комитета повысить производительность труда и поднять уровень трудовой дисциплины...

В правую дверь входит Макнаб с пустым ведерком и шваброй. Фартука на нем нет. Он идет к левой двери.

...и берет на себя обязательство увеличить рабочую неделю на шесть неоплачиваемых часов в порядке творческого порыва. Предлагает?..
Уинн. Энид...

Блайтон поднимает руку.

Скиннер. Поддерживает?..

Дипинг поднимает руку.

Пять. Кто-то украл шарик для пинг-понга.
Уинн. Господи.
Дипинг. Что еще?
Макнаб. Пропал шнурок от звонка.

Макнаб уходит в левую дверь.

Скиннер. Я сижу в кабинете у себя, работаю. Веду учет. Я не могу следить за шариком для пинг-понга, за шнурком, сковородкой, бильярдным кием...
Дипинг (*Уинну*). Ну все, прощай, свободное время.

Уинн. Уорри, это уже не смешно.

Скиннер. Если нагрянет ревизор, все книги у меня в ажуре. Но если по документам у меня один бильярдный кий и четыре писателя, то какого... Погодите. Где Дипинг?

Дипинг (*показывает*). Здесь.

Скиннер. Тогда где Блайтон?

Уинн. Здесь. Это Уолпол, комендант. Он так и не вышел к завтраку.

Скиннер. Пункт шестой. Ячейка осуждает жестокое подавление выступлений протеста рабочих заводов Санкт-Петербурга и требует, чтобы правительство Российской империи признало свободу профсоюзного движения.

Макнаб входит в левую дверь. При нем нет ни лопаты, ни швабры, но на нем снова зеленый суконный фартук, а в ведерке для шампанского — кухонные помои.

Предлагает?..

Уинн поднимает руку.

Поддерживает?..

Дипинг поднимает руку.

Другие вопросы есть? Других вопросов нет. Ты там что, бассейн строишь, Макнаб?

Макнаб, направляющийся к правой двери, останавливается.

Еще одно ведро воды?

Макнаб. Ведро помоев.

Скиннер. Ты полы помоями моешь?

Макнаб. Свиней кормлю.

Скиннер. Ну конечно, свиней он кормит. Целое ведро помоев им несет. И что же он прячет в ведре помоев?

Встает и подходит к Макнабу.

Теперь понимаешь, зачем я велел забить заднюю дверь? А затем, чтобы все происходило у меня на глазах, Макнаб. Ведра воды, ведра помоев — я все вижу, комар мимо не пролетит. Не ты первый, Макнаб, пытаешься меня дурить. Когда я руководил производством, у меня тысячи работали, и я тебе вот что скажу: ты понятия не имеешь, как люди воруют. Я видел, как фабрики по винтику разбирали. Как целые гостиницы уходили через служебный вход. Как шикарный скоростной экспресс отправился из Манчестера с вагоном-рестораном, мягкими

вагонами и проводниками, а в Вулверхэмптон через неделю пришли одни колеса. Поэтому не жди, что я приду в восторг, оттого что в четверг ты украл дверной звонок. Не жди, что я упаду в обморок оттого, что теперь пропал шнурок от звонка.

Макнаб. Еще бы, не пропал — раз десять, если не больше.

Скиннер. Ну и черт с ним, со шнурком. Ты мне покажи, что у тебя в ведре.

Макнаб. В ведре? Помои.

Скиннер. Ты покажи, покажи, Макнаб.

Макнаб. Показать?

Скиннер. Покажи.

Макнаб выплескивает помои на пол. Скиннер смотрит на пол невидящим взглядом. Его занимает другое.

Десять раз пропал?

Макнаб. Что?

Скиннер. Шнурок. Как это, десять раз пропал?

Макнаб. А так. Он его дергает и дергает, как нанятый. Сам видел. Дернет что есть сил, а потом посмотрит на меня сквозь почтовый ящик и опять — дерг! Пропал шнурок.

Скиннер. Кто на тебя смотрит сквозь почтовый ящик?

Макнаб. Ну, этот парень в фуражке.

Скиннер (*в ужасе*). В фуражке?

Макнаб. Шофер.

Скиннер. Там машина снаружи! Служебная машина? И ты их оставил на снегу?

Макнаб. "Никого не пускать", — вы сами сказали, мистер Скиннер. Никого не пускать, если вы не велите.

Скиннер. Впусти их.

Макнаб. Велите впустить?

Скиннер. Не ты. (*Уинну*). Вы.

Уинн (*идет к правой двери, в волнении*). О господи. Это же ревизор.

Скиннер. Вернитесь, вернитесь. Я сам пойду. А вы уберите тут. Завтрак! Завтрак! Унесите все отсюда!

Уинн бросается к буфету и начинает собирать остатки завтрака. Макнаб стоит там, где стоял, и наблюдает за общей суетой.

Скиннер (*Дипингу и Блайтон*). А вы, двое? Вы что, в очереди за хлебом стоите? Садитесь, работайте.

Дипинг. А что с шариком для пинг-понга?

Скиннер. Думать буду я. А вы садитесь, пишите что-нибудь.

Дипинг и Блайтон усаживаются за стол.

Нет, идите и принесите обогреватель из моего кабинета.

Они встают.

Скиннер (*Блайтон*). Да сядьте вы!

Дипинг уходит в среднюю дверь, Уинн уносит тарелки в левую дверь, оставив супницу на буфете.

Уинн. Это в кухню?

Скиннер (*указывая на супницу*). Это! Унесите отсюда! (*К Блайтон.*) Снимите колпачок с ручки! Это же Дом писателей! Кто-нибудь будет писать?

Уинн. Как быть с кеджери?

Скиннер. С этой дрянью? Унесите отсюда! На кухню!

Уинн возвращается к буфету, ставит тарелки, берет кеджери и снова отправляется к левой двери. Тем временем Скиннер замечает на обоях подозрительно чистое пятно.

Рога! Рога пропали! (*Уинну*). Тарелки!

Уинн возвращается к буфету и пытается забрать тарелки.

(*Блайтон.*) Рога! Нужны рога!

Блайтон встает из-за стола и обреченно бродит по комнате в поисках запасных рогов. В среднюю дверь входит Дипинг, неся обогреватель.

(*Дипингу.*) Рога! Рога!

Дипинг. Рога? (*Ставит обогреватель на пол и снимает со стены другие рога.*)

Скиннер (*Блайтон*). А вы — быстро пишите!

Блайтон возвращается за стол.

(*Макнабу*). А ты чего ждешь? (*Показывая на помои.*) Унеси обратно!

Дипинг (*с рогами в руках*). Унести обратно?

Скиннер (*Макнабу*). Сейчас же!

Макнаб начинает собирать пригоршнями помои в ведро. Дипинг намеревается повесить рога на место.

(*Дипингу.*) Не туда! Сюда!

Дипинг относит рога, куда требуется. Макнаб, решив, что указание касалось помоев, несет очередную пригоршню через комнату. Уинн пытается унести посуду в левую дверь и начинает ронять ее.

(*Уинну.*) Бога ради, отнесите это на место!

Дипинг хочет отнести рога на место. Макнаб направляется к ведру.

(*Дипингу.*) Да не вы! Он!

Уинн пытается собрать то, что уронил. Макнаб, окончательно запутавшись, несет собранное куда угодно, только не в ведро.

(*Уинну.*) Прекратите! Сядьте!

Макнаб садится, по-прежнему не выливает помои в ведро.

(*Дипингу.*) А вы — принесите из моего кабинета книги!

Дипинг (*направляется к средней двери, по-прежнему держа в руках рога, потом останавливается*). Какие книги?

Скиннер. "Какие книги?" Вы хоть что-нибудь можете сделать? Сядьте! (*Макнабу.*) Вставай! (*Уинну.*) Впустите их!

Уинн. Впустить их?

Скиннер. Впустить!

Уинн поспешно сваливает посуду в ближайшее кресло и уходит в правую дверь.

(*Дипингу и Блайтон.*) Пишите! Пишите!
(*Макнабу.*) Вытри эту пакость с пола!

Скиннер уходит в среднюю дверь.
Дипинг и Блайтон склоняются над столом. Дипинг по-прежнему отягощен рогами. Макнаб наконец-то выливает помои в ведро. Потом отрывает от стены отстающий кусок шотландской ткани, встает на четвереньки и начинает подтирать пол).

Дипинг (*тихо*). Не смотрите, Энид.

Блайтон. Что?

Дипинг. Здесь скоро произойдет убийство. Ревизор провернет нашего Скиннера через мясорубку и положит на сковородку. Ощиплет, нашпигует и зажарит.

Макнаб. И нас вместе с ним — как картошку с гусем.

В правую дверь входят Триша и Кочетов, за ними идет Уинн. Трише двадцать, она одета в теплое пальто и вязаную шапочку. Кочетову двадцать шесть, на нем дорогое пальто с меховой отделкой. Он русский, но свободно говорит по-английски. Дипинг и Блайтон встают.

Триша. Здравствуйте. Мистер Скиннер?

Дипинг. О нет!

Уинн. Это мистер Дипинг. Мистер Скиннер спустится сию минуту.

Трое писателей с ужасом смотрят на Тришу и Кочетова. Макнаб подтирает полы и прислушивается.

Кочетов (*абсолютно раскован*). Прелестная комната.

Уинн. Да.
Дипинг. Да.
Кочетов. Надо же, у вас и линолеум в шотландскую клетку. И трое писателей спокойно работают в одной комнате. Неужели такое бывает?
Уинн, Дипинг и Блайтон (*хором*). Да.
Кочетов. Идеальное творческое содружество! Пожалуйста, продолжайте — пишите, пишите!
Уинн. Э...
Дипинг. Мы...
Блайтон. Спасибо.

Уинн, Дипинг и Блайтон одновременно садятся.

Кочетов. Я видел, как пишут гусиным пером. Но чтобы рогами — ни разу.
Дипинг. Ах да! (*Кладет рога на стол.*) Мы решили тут кое-что перевесить.
Кочетов. Похоже, мой приезд — для вас полная неожиданность.
Дипинг. Вовсе нет.
Уинн. Да, конечно.
Триша. Простите, я не объяснила. Это мистер Кочетов.

Уинн, Дипинг и Блайтон одновременно встают.

Кочетов. Пожалуйста, не надо, прошу вас...

Они одновременно садятся.

Вот так хорошо.
Триша. Мистер Кочетов — русский журналист.
Кочетов. Вообще-то, я — акула пера. Представитель капиталистической прессы. Продажной, желтой и омерзительно интересной. А это — моя любовница.
Триша (*очень смущенно*). Мистер Кочетов, перестаньте!
Кочетов. Ну ладно, моя будущая любовница. Разве нет? Моя пока-еще-не любовница.
Триша. Ой, я... Мистер Кочетов все время шутит.
Кочетов. Радость моя, а как же иначе? Вы похожи на свеженькое, розовощекое яблочко. Так и хочется укусить.
Триша. Я сопровождаю мистера Кочетова по поручению Торговой палаты.
Кочетов. Ее задача — не дать мне увидеть то, чего я видеть не должен.
Триша. Неправда! Вам ничего не запрещают видеть! Я же вам говорила: свобода печати у нас гарантирована конституцией. Я вам просто помогаю.

Уинн. Прошу прощения... Этот джентльмен — журналист?

Триша. Да. И законченный циник.

Уинн. *Русский* журналист?

Кочетов. Да, но у меня была превосходная английская гувернантка.

Триша. Он всем, с кем мы встречаемся, рассказывает про свою английскую гувернантку.

Кочетов. Вовсе нет, просто именно она помогла мне понять эту страну — в ее туалетах все держалось на английских булавках. И вот я в Англии, смотрю на что-нибудь и глазам своим не верю, а потом понимаю — английские булавки! Здесь все держится на английских булавках. Свою статью я с этого и начну.

Уинн. Простите... Так вы не ревизор?

Кочетов. Ревизор? (*Трише.*) Я не ревизор?

Триша. Какой ревизор, что вы! Мистер Кочетов просто хочет взять у Хью Уолпола интервью для русской газеты.

Уинн. Интервью?

Кочетов. Может, присядем?

Уинн. Да. Да. (*Не глядя, указывает на кресло, в которое свалил посуду.*) Для газеты? Для русской газеты? (*Осознает, что Кочетов разглядывает грязную посуду.*) Ох, извините! (*Поднимает супницу с кеджери и отдает ее Макнабу, который в ожидании стоит возле ведерка с помоями, потом собирает остальную посуду.*)

Входит Скиннер со стопкой бухгалтерских книг.

Скиннер. Прошу меня простить! Но я подумал, что для начала вы, конечно, захотите взглянуть на книги. Боже мой. Вам даже раздеться не предложили? Писатели, что с них возьмешь. Витают в облаках. Совершенно оторваны от жизни. Располагайтесь...

Триша. Это мистер Кочетов.

Кочетов. Очень рад...

Скиннер. Скиннер, Скиннер.

Уинн (*нетерпеливо, по-прежнему держа в руках посуду*). Комендант...

Скиннер (*Уинну*). Мне они не нужны! (*Кочетову.*) Вы позволите?.. (*Помогает Кочетову снять пальто, находчиво поворачивая его спиной к Уинну и тарелкам, и в результате оказывается лицом к лицу с Макнабом и кеджери.*)

Уинн. Мистер Кочетов журналист. Русский журналист.

Скиннер (*Уинну*). Унесете вы это отсюда или нет? (*Кочетову.*) У нас здесь все по-семейному... (*Замечает, что Кочетов с интересом разглядывает супницу с кеджери.*) Это по-

мои. Этим кормят свиней — людям в пищу это решительно не годится.

МАКНАБ. Это кеджери. (*Нагибается и поднимает ведерко с помоями.*)

СКИННЕР. А это кеджери. У нас всегда есть кеджери — если кто неожиданно нагрянет.

МАКНАБ. Это помои.

СКИННЕР. Это помои. Вам не предложили? *Это* — помои? (*Смущенно переводит взгляд с помоев на кеджери.*)

МАКНАБ. Показать? (*Собирается снова выплеснуть помои на пол.*)

СКИННЕР. Нет, спасибо! Просто поставь обратно на буфет.

МАКНАБ. Помои?

СКИННЕР. Кеджери, кеджери. (*Кочетову.*) Итак, где вы предпочтете работать? Наверное, в моем кабинете, чтобы вас не беспокоили? (*Упорно подталкивает Кочетова к средней двери.*)

ТРИША. Мне кажется, все, чего хочет мистер Кочетов, это спокойно посидеть и поговорить с мистером Уолполом.

СКИННЕР. Разумеется. Если он хочет спокойно поговорить, то мой кабинет... С мистером Уолполом?

УИНН. Я пытался вам сказать.

ТРИША. Просто не верится — я его наконец-то увижу! Я прочла все его книги! Я пять раз читала "Злодея Херриса"! Все говорят об изысканной чувствительности Генри Джеймса, а, по-моему, Хью Уолпол гораздо изысканнее!

КОЧЕТОВ. Единственное, что можно сказать о ее литературном вкусе — это что у нее дивные брови.

ТРИША (*Скиннеру*). Вас предупредили об интервью?

СКИННЕР. Интервью?

УИНН. Вы пропустили мимо ушей.

ТРИША. Мистер Кочетов приехал из России. Он хочет взять у Хью Уолпола интервью для русской газеты.

КОЧЕТОВ. В России его обожают, если верить Трише.

ТРИША. Откуда вам знать! Вас интересуют только машины и женщины!

КОЧЕТОВ. Понимаете, я ничего не знаю. Ей приходится меня просвещать.

СКИННЕР. То есть книги вы смотреть не будете?

ТРИША. Нет, я прочла все его книги!

КОЧЕТОВ. Даже я прочел одну.

ТРИША. Нет, не прочли.

КОЧЕТОВ. В поезде.

ТРИША. Половину.

Скиннер. Хотите взять интервью у мистера Уолпола? Хорошо. (*Макнабу.*) Позови мистера Уолпола.
Макнаб. Его нет.
Скиннер. Что значит “нет”?
Макнаб. Он ушел.
Скиннер. Ушел?
Макнаб. Утром.
Скиннер. Из дома никто не выходил!
Макнаб. До того, как вы встали.
Скиннер. Я на ногах с шести!
Макнаб. Он ушел до шести.

Пауза.

Уинн. До шести?
Блайтон. Ушел?
Дипинг. Уолпол?

Уинн, Дипинг и Блайтон смотрят на Макнаба. Макнаб берет ведерко с помоями и отправляется к правой двери.

Макнаб. Сказать, куда он делся?
Уинн (*поспешно*). Не нужно, Макнаб.

Макнаб уходит в правую дверь.

Скиннер (*Уинну, понимая*). Вы думаете?..
Уинн. Да!
Скиннер. Но вы же не думаете?..
Дипинг (*мрачно*). По-моему, думаем.

Пауза.

Триша. Ничего не понимаю.
Уинн. Телеграмма. Я только что вспомнил. Он получил телеграмму.
Дипинг. Конечно! Он получил телеграмму!
Скиннер (*изо всех сил сигнализируя, чтобы они продолжали*). Ах, телеграмму!
Уинн. Отец болен.
Блайтон. Мать умирает.
Дипинг. Приезжай немедленно.
Скиннер. В два часа ночи.
Уинн. Я просто забыл.
Дипинг. Мы все забыли.
Скиннер. Просто вылетело из головы.
Блайтон. А теперь всплыло.
Скиннер. Снова пришло в голову.
Триша. В чем дело? Ничего не понимаю! Что происходит?

Уинн. Ничего особенного.

Скиннер. Ничего!

Кочетов. Надо же, бедная девочка.

Триша (*Скиннеру*). Что вы от меня скрываете?

Кочетов. Триша! Триша, дорогая моя! Послушайте меня. Как официальный сопровождающий, вы — безупречны. (*Остальным.*) Что бы она мне ни сказала — верю! Беда только в том, что, по-моему, она сама не верит.

Триша. Что я опять не так сказала?

Кочетов. Радость моя, совершенно ясно, что случилось с беднягой Хью Уолполом. Его увезли и расстреляли.

Триша. Мистер Кочетов, пожалуйста, не говорите так.

Кочетов (*остальным*). Я прав?

Уинн. Конечно, нет.

Скиннер. Разумеется, нет.

Дипинг. Как вам такое в голову пришло!

Скиннер. Даже смешно.

Блайтон. Мы даже не понимаем, о чем вы.

Скиннер. Кстати, о чем это вы?

Кочетов (*Трише*). Видите? Его расстреляли. Замечательная будет статья!

Триша. Я знаю, вы просто смеетесь надо мной.

Кочетов. Конечно, ведь вы такая красотка, когда злитесь. Румяная, глаза горят...

Триша. У нас в стране никого не увозят на расстрел.

Кочетов. То есть стреляют прямо на месте?

Триша. Я вам уже объясняла, много раз, что права человека у нас охраняются государством.

Кочетов. Только посмотрите на нее! Как благотворно я влияю на цвет ее лица! Однако, Триша, милая, будьте осторожны. Потому что если вы и дальше будете расспрашивать о Хью Уолполе, увезти и расстрелять могут вас, а это дурно отразится на вашей внешности.

Триша (*Скиннеру*). Здесь есть телефон?

Скиннер. У меня в кабинете.

Триша. Я закажу разговор с Лондоном и все выясню. (*Кочетову.*) Хью Уолпола не расстреляли, я его для вас разыщу, хоть бы мне пришлось дойти до Самого! И я верю не во все, что говорю! То есть я не все говорю, во что... то есть... Где телефон?

Скиннер. Сюда. Прямо по коридору. Мне придется взять с вас деньги за разговор — для отчетности.

Триша уходит в среднюю дверь.

Кочетов. Она только-только закончила школу, начала работать... И куда бы мы ни пришли — все не так. Завтракаем в отеле "Ритц" — приходится ждать официанта час сорок минут. Посещаем новый санаторий — она ломает дверную ручку. Теперь она привезла меня к своему любимому писателю, а он исчез среди ночи. Бедная Триша!

Уинн. Да, но не все так плохо. Посмотрите, сколько писателей *не исчезло* среди ночи! Почему бы вам не взять интервью у Уорика Дипинга? Его романы очень популярны у наших трудящихся.

Дипинг. Или у Годфри Уинна, если на то пошло. Удивительно борзое перо.

Уинн. Да, или у Энид Блайтон.

Дипинг. Энид весьма известна своей путаной любовной лирикой.

Уинн. Знаете, в Балморал приезжают все! Уэллс, Бернард Шоу. Никогда не знаешь, кто может войти в комнату в следующий момент.

В правую дверь входит Макнаб. В руках у него швабра и пустое ведерко из-под шампанского, он без фартука. Он проходит через комнату к левой двери. Кочетов наблюдает за ним.

Нет, ну конечно, такие люди, как Уэллс или Шоу приезжают, в основном, летом. Этот Дом творчества и предназначен для летнего отдыха. Вы бы видели: кругом официанты с холодными напитками на подносах... А духовой оркестр, который играет на террасе! Летом.

Макнаб (*Скиннеру, собираясь уйти через левую дверь*). Я пойду?

Скиннер. Да, да, да... Ты почему без фартука? Что гости подумают? (*Кочетову.*) Такой вот у нас дворецкий: отвернешься — а он уже гуляет без фартука!

Макнаб уходит в левую дверь.

Кочетов. Надо бы поискать мою сопровождающую. А знаете, статья у меня получится выдающаяся. Правда, не знаю, что станет с людьми, про которых я в ней напишу. (*Смеется.*) Как вы думаете, директора санатория арестуют? А директора "Ритца" расстреляют? Мой путь усыпан чиновными трупами... На нас, журналистах, лежит такая ответственность! (*Уходит в среднюю дверь.*)

Дипинг. Бедный старина Уолпол.

Уинн. Может быть, отделается десятью годами. Выйдет в 1947-м.

Дипинг. Причем арестовали именно его — какая ирония!

Уинн. Да, вот тебе и двоюродный брат в верхах.

Дипинг. И это после всего, что мы наслушались о его связях в определенных кругах.

Скиннер. Но мы-то в стороне, так?

Дипинг. В стороне? Вы в печати, друг мой!

Скиннер (*мрачно*). В печати?

Дипинг. В статье этого русского!

Уинн. Одним комендантом дело не обойдется. Мы все увязли.

Дипинг. По самые уши. А потом однажды утром проснемся, и выяснится, что ночью нас увели.

Скиннер. Что будем делать?

Дипинг. Энид что-то притихла.

Уинн. Есть идеи, Энид?

Блайтон. Значит, комната освободилась?

Уинн. Комната? Какая комната?

Блайтон. Комната Хью Уолпола. Комната с вытяжной трубой. Теплая.

Скиннер. Забудьте про комнату. Сосредоточимся на другом.

Уинн тихо и незаметно продвигается к средней двери.

Раз уж мы все в это вляпались... Куда это вы собрались?

Уинн. Извините, я на секундочку. Мне нужно на секундочку наверх.

Дипинг. Нет, позвольте! (*Скиннеру.*) Скажите же ему, что он не имеет права!

Блайтон (*Скиннеру*). Остановите его! Остановите их!

Скиннер. В чем дело?

Блайтон. Я первая додумалась!

Дипинг. Я здесь старший писатель!

Уинн. А я первым занял очередь! (*Уходит в среднюю дверь.*)

Дипинг и Блайтон борются на пороге.

Блайтон. Позвольте!

Дипинг. Прошу прощения!

Блайтон. Что за манеры!

Дипинг. Отвратительно! (*Уходит в среднюю дверь.*)

Блайтон (*Скиннеру*). Так нечестно! Нечестно!

Скиннер. Что все это значит?

Блайтон. Они займут комнату! (*Уходит в среднюю дверь.*)

Скиннер (*собираясь последовать за ней*). Комнату? Какую еще комнату? Забудьте вы про комнату!

В правую дверь входит Уолпол. На нем очки с толстыми стеклами, пальто, шляпа и галоши. У него весьма дурное настрое-

ние. Чем-то напоминает Макнаба, возможно потому, что его играет тот же актер.

Уолпол. Всему есть предел!

Скиннер (*взвивается*). А ты, Макнаб, даже не думай проскользнуть, я тебя чую... Уолпол!

Уолпол. Я собираюсь подать официальную жалобу!

Скиннер. Так вы — здесь!

Уолпол. Сам удивляюсь! Просто чудо, что я остался жив!

Скиннер. Но... вы убежали?

Уолпол. Убежал? Не убежал, а избежал. Избежал смерти, если вы это имеете в виду.

В среднюю дверь входит Блайтон.

Блайтон (*Скиннеру*). Он выбрасывает все из комнаты в коридор! Расчески, костюмы, грязные носки... (*Видит Уолпола.*) О господи!

Уолпол. Да! У меня все кости ноют. Я весь в синяках. У меня, наверное, сотрясение мозга.

В среднюю дверь входит Дипинг.

Дипинг. Он только что вышвырнул в коридор его мать! Фотография в серебряной рамке, а он как швырнет... Уолпол!

Блайтон. Ему переломали кости! Его били по голове!

Уолпол. А сколько еще я пролежал в сугробе, один бог знает. Я серьезно простудился.

В среднюю дверь входит Уинн.

Уинн. Я поставил в комнату свой сундук и запер дверь. Теперь, я надеюсь, никто... Хью!

Блайтон. Его избили до полусмерти!

Дипинг. Бросили в сугроб!

Уолпол. Шарф промок. По шее течет растаявший снег.

Уинн. Но... вас отпустили?

Уолпол. В каком смысле?

Уинн. Вас арестовали — а потом отпустили?

Уолпол. Арестовали? Что вы несете?

Дипинг. Минуточку. Вы хотите сказать, что... вас не арестовывали?

Уолпол. Арестовывали? Меня? Это не меня надо арестовывать! Я стоял в очереди в кооперативную лавку с шести утра. Макнаб распространил слух, что будут давать женские рейтузы. Естественно, выяснилось, что привезли такую же колючую дрянь, как для мужчин. Прихожу сю-

да, промерзший до костей, а тут некоторые превратили парадное крыльцо в каток!

Уинн. Вы поскользнулись и упали?

Уолпол. Я мог проломить себе череп! Каждое утро одно и то же, с тех пор как пропала цепочка из туалета на втором этаже. За свинарником есть чудный сортир. Но некоторых он не устраивает! Да еще среди ночи! Да еще в мороз! Они думают: какая разница? Нынче все позволено! Поэтому они открывают окно спальни, и спасайся, кто может! Но если вам так приспичило, хотя бы посмотрите, что внизу! (*Уходит в среднюю дверь.*)

Дипинг. Боже мой.

Скиннер. Он хочет сказать, что его не арестовывали?

Уинн. Боюсь, мы немного поспешили.

Скиннер (*задумчиво*). А все Макнаб. Опять Макнаб.

Дипинг. Забудьте вы про Макнаба.

Скиннер. Да, но что мы имеем? Этот русский думает, что Уолпола расстреляли!

Уинн. Комендант, все в порядке! Теперь он сам увидит, что ошибся.

Скиннер. А эта девчонка названивает в Лондон, Уолпол, дескать, пропал!

Уинн. Ничего, комендант, теперь сама увидит, что не пропал!

Скиннер. То есть... сказать, что можно взять у него интервью?

Дипинг. Н-да, как до жирафа...

Скиннер. То есть... сказать, что Макнаб сказал?..

Уинн. Да что угодно!

Дипинг. Он здесь, и это главное.

Скиннер. Все равно тут какой-то подвох. (*Уходит в среднюю дверь.*)

Уинн. Я понял — насчет Скиннера. Он и правда не держит удар.

Блайтон. Неотвратим, будет здесь с минуты на минуту.

Уинн. Кто неотвратим?

Блайтон. Тот самый подвох. Представляете, какое интервью даст Хью, когда вы ему все объясните?

Уинн. Объясню? Что объясню?

Уолпол входит в среднюю дверь, держа в руке фотографию в рамке.

Уолпол. Моя мама!

Уинн. Что ваша мама?

Уолпол. Моя мама! Валяется в коридоре! Костюмы! Воротнички! Зубной порошок! Повсюду!

Уинн. О боже! Его комната.

Уолпол. Ваша работа, Уинн, да? Вы рехнулись?

Уинн. Хью, послушайте. Вам не понравится, что я скажу, но дело в том, что я думал... То есть мы все думали... То есть Энид сказала... Я сейчас все уберу. (*Уходит в среднюю дверь.*)

Уолпол. Он взбесился! Его нужно изолировать!

Блайтон. А внутрь вы еще не заглядывали?

Уолпол. Внутрь чего?

Дипинг. Энид, не заводите его!

Блайтон. Там стоит сундук.

Уолпол. Какой сундук? У меня нет сундука!

Блайтон. Зато есть у Годфри Уинна.

Уолпол. Но это — наглое вторжение! (*Уходит в среднюю дверь.*)

Дипинг. Не нужно было этого говорить, Энид. Он уже побагровел, и это только начало.

Блайтон (*мечтательно*). Потом ему будет нечем дышать. Он не сможет и слова сказать.

Дипинг. Он уже одного цвета со своим любимым женским бельем.

В среднюю дверь входят Скиннер и Кочетов.

Кочетов. Личная жизнь, говорите?

Скиннер (*добродушно*). Мы стараемся в нее не вмешиваться.

Кочетов. И поэтому рассказываете, что люди исчезают посреди ночи?

Скиннер. Мы вас разыгрывали.

Кочетов. Так можно взять у него интервью?

Скиннер. Конечно.

Кочетов смотрит на Блайтон.

Блайтон (*пожимая плечами*). А почему бы и нет? Мы живем в свободной стране.

Дипинг. Я его позову, ладно? (*Уходит в среднюю дверь.*)

Кочетов. Я безутешен. Какая была бы дивная статья!

Скиннер. Жаль вас огорчать, но...

Кочетов. Зато Триша будет счастлива. А если Триша будет счастлива, наша обратная дорога в Лондон может принести плоды. (*Уходит в среднюю дверь.*)

Скиннер (*радостно*). Ночной поезд из Абердина! Вот это жизнь, Блайтон! Если бы я мог выбирать, где жить, я бы, наверное, выбрал спальный вагон. Все вчерашние заботы уже далеко, завтрашние — еще далеко. Только

маленькая теплая комнатка, летящая сквозь ночь. В всем мире нет ничего, кроме света, озаряющего папку с официальными бумагами. А поутру тебя ждет лимузин, все улыбаются, все рады тебя видеть. Это вернется, Блайтон, это все вернется.

В левую дверь входит Макнаб. Он в фартуке, несет швабру и ведерко помоев. Медленно идет к правой двери за спиной Скиннера.

Я не такой дурак, как думают некоторые. Говорю я немного. Веду себя тихо. Выжидаю. Жду, когда смогу схватить преступника за руку в тот самый момент, когда он выносит еще одно ведро. Не убегай, Макнаб. У меня для тебя плохие новости. Это старый фокус. Тачки, груженные соломой. Начинают ворошить солому. А ты что крадешь? Ты крадешь тачки. Я это уже видел, Макнаб, я все уже видел. Ты думаешь: этот дурень будет лазить в ведро, а я думаю: сколько веревки ему дать, чтобы он удавился? Знаешь, что я сделал сегодня утром, Макнаб? Я прилепил двухпенсовую марку на дно ведра. И когда я подниму это ведро... (*Поднимает ведерко над головой.*) ...и с удивлением обнаружу, что на дне нет двухпенсовой марки, то получу доказательство... (*Смотрит на дно ведерка. Пауза. Потом Скиннер отдает ведерко Макнабу.*) Свиньи?

Макнаб. Свиньи.

Скиннер. Тогда ступай, Макнаб.

Макнаб уходит в правую дверь.

(*Стоит в задумчивости.*) Что-то он все-таки крадет. Я точно знаю. Может, марки?

В среднюю дверь входит Уинн, очень взволнованный.

Уинн. Комендант! Комендант! Хью Уолпол озверел! Я пытался объяснить. Я сказал, что все уберу. Но едва он увидел мои вещи, он просто осатанел. Выбрасывает все в коридор! Четыреста страниц рукописи раскидал по лестнице!

Скиннер. Вы его случаем не расстроили? Ему еще интервью давать!

Уинн. Расстроил? Еще кто кого расстроил!

Скиннер. Писатели! За ними глаз да глаз.

В среднюю дверь входит Дипинг. Он явно доволен.

Дипинг. Знаете, Уинн, вы очень зря оставили его одного наверху.

Уинн. В чем дело? Что он еще?..
Дипинг. А вы прислушайтесь.

Они прислушиваются. Слышен шум, будто какой-то большой, очень тяжелый предмет скатывается по лестнице.

Уинн. Да что же он?..
Дипинг. Это ваш сундук.
Уинн. Мой сундук?

Слышно, как предмет продолжает громыхать на лестнице.

Дипинг. Он доставит его прямо к двери.
Уинн. К двери?
Дипинг. Все подготовит к вашему отъезду.

В среднюю дверь входит Уолпол. Потный и задыхающийся, вне себя от ярости, он волочит за собой сундук. Втащить его в дверь очень нелегко.

Уолпол. Это неслыханно!..
Уинн (*Скиннеру*). Вы только посмотрите на него!
Скиннер. Уолпол, ну зачем вы так?
Уолпол (*волоча сундук на середину комнаты*). Возвращаюсь... насквозь промокший... потерял целое утро...
Уинн. Остановите, остановите его!
Скиннер (*Уолполу*). Ну, перестаньте. Вам еще интервью давать!
Уолпол (*не обращая внимания*). И что я вижу? Я вижу, что этот нахальный юнец...
Уинн. Вы должны его успокоить!
Скиннер (*Уинну*). А вы заткнитесь! (*Уолполу.*) Уолпол, вам нужно успокоиться!
Уолпол. У меня сердцебиение. И стучит в ушах... Я не останусь в одном доме с!.. Или он... отсюда или... я... (*Умирает.*)
Скиннер. Так-то лучше. Послушайте, Уолпол. Просто дадите еще одно, самое обыкновенное интервью, поговорите о литературе. Я бы не хотел, чтобы вы воспользовались случаем и стали жаловаться на жизнь. Вам, конечно, есть на что жаловаться.

Уолпол падает и исчезает из виду за сундуком.

А то нам всем не на что жаловаться! Будет подходящий момент — все начнем жаловаться... Куда он делся?
Дипинг. По-моему, ему дурно.
Блайтон. А по-моему, он умер.

Скиннер. О господи, боже мой. Давайте, Уолпол, соберитесь. У нас нет времени на эти ваши фокусы. (*Уинну и Дипингу.*) Поднимите его. Разлегся тут, понимаешь.

Уинн и Дипинг поднимают Уолпола на ноги.

Давайте, Уолпол! Пора работать!

Они усаживают его на стул и отступают на шаг, чтобы посмотреть на него.

Дипинг. Знаете, что-то не больно хорошо он выглядит.
Уинн. Что-то незаметно, чтобы он дышал.
Скиннер. С ним все нормально. Просто ему нужно посидеть. Перевести дух.

Уолпол медленно клонится вперед.

Блайтон. Он умер.
Скиннер. Что за чушь! (*Усаживает Уолпола прямо.*)
Дипинг. Таскал сундук, это его доконало.
Уинн. У него всегда было слабое сердце. Я знаю.
Скиннер. Ну, как вы? Получше?

Уолпол снова медленно клонится вперед.

Блайтон. Он умер.
Скиннер (*снова усаживая Уолпола и держа его*). Что делать, интервью мы теперь отменить не можем.
Дипинг. Он не может давать интервью в таком состоянии!
Скиннер. Придется! Или он рассчитывает, что мы и дальше будем придумывать отговорки? На что это будет похоже, сами подумайте!
Дипинг. Если сейчас войдет этот русский и застанет его в таком виде...

В среднюю дверь входит Кочетов.

Кочетов. Мистер Уолпол!

Все автоматически оборачиваются к Кочетову. Скиннер отпускает Уолпола, и тот начинает клониться вперед.

Ради бога — не вставайте!

Скиннер усаживает Уолпола прямо.

И ничего не говорите! Подождите, пока придет моя девочка из Торговой палаты. Она как раз звонит в Лондон, сказать, что вы нашлись. (*Подходит к средней двери и зовет ее.*)

Уолпол снова клонится вперед.

Триша! Идите сюда! Он здесь!

Скиннер выпрямляет Уолпола.

(*Кочетов снова поворачивается к нему.*) Так глупо! Я думал, вас нет в живых!

Уинн (*нервно*). Нет, нет!

Кочетов (*оборачиваясь к нему*). Простите?

Уолпол клонится вперед.

Уинн. Нет, нет, нет, нет, нет!

Скиннер усаживает Уолпола прямо и держит его.

Кочетов. Да, теперь вижу, что нет. (*Снова поворачивается к Уолполу, все время поглядывая на среднюю дверь.*) Я бы хотел вас кое о чем попросить. Триша совсем молода, но она так серьезно ко всему этому относится, пожалуйста, когда она войдет, постарайтесь не улыбаться.

Триша входит в среднюю дверь.

Триша. Он правда здесь?

Кочетов. Он правда здесь! Мистер Уолпол, это Триша. Ваша большая поклонница.

Триша (*робко*). Здравствуйте. (*Стоит, опустив глаза.*)

Пауза. Кочетов с интересом наблюдает за ней.

Кочетов. Говорите же. Скажите что-нибудь.

Триша. Не знаю, что.

Кочетов. Скажите, что вам нравятся его книги.

Пауза.

Триша. Не могу.

Кочетов. Да почему же?

Триша. Потому что это глупо.

Кочетов. Мы проехали пятьсот миль ради этой минуты. А вы молчите!

Триша. Пожалуйста, продолжайте. Не обращайте на меня внимания.

Кочетов (*по-прежнему глядя на Тришу*). Она читает ваши книги с пятнадцати лет.

Триша. Мистер Кочетов, не надо!

Кочетов. Радость моя, кто-то из нас должен говорить. У нее три кумира. Я правильно помню? Чайковский, Шелли и Хью Уолпол.

Триша. Никогда больше вам ничего не скажу!
Кочетов. Она влюблена во всех вас. Но вам повезло, мистер Уолпол, потому что Чайковский и Шелли — умерли.
Триша. Ненавижу вас!

Триша убегает в среднюю дверь в слезах.

Кочетов. Что я наделал? А что делать, иногда так и хочется отъесть от нее кусочек. Двадцать лет, а она все еще читает стихи! Я ее верну, не беспокойтесь.

Кочетов уходит в левую дверь.

Скиннер (*в панике*). Уберите его отсюда!
Уинн. А как же интервью?
Скиннер. Уберите, уберите! (*Хватает Уолпола, стаскивает его со стула и падает, не удержав.*)

Уолпол валится сверху.

Уберите! Уберите! Заберите его! Помогите!

Уинн и Дипинг освобождают Скиннера.

Дипинг. Куда его положить?
Скиннер. Куда угодно! Лишь бы отсюда! Не туда!
Блайтон. Они сейчас вернутся.
Скиннер. Просто избавьтесь от него! За диван! В ящик! (*Замечает сундук.*)
Дипинг. В ящик, так в ящик.

Отпускает Уолпола со своей стороны и пытается открыть сундук. Уинн тоже бросает Уолпола и кидается оборонять сундук.

Уинн. Нет, нет! Только не сюда! Это мой сундук!
Скиннер. Он заперт! Где ключ?
Уинн. Наверху. Вы не сможете его открыть... Не дергайте так! С ним нельзя так грубо! Посмотрите, что вы наделали — вы его сломали!
Дипинг. Тут полно барахла.
Скиннер. Выбрасывайте!
Уинн. Нет, нет! Это мои вещи!

Дипинг выбрасывает из сундука вещи.

Послушайте, это же мой теннисный костюм!
Блайтон (*возле левой двери*). Он идет!

Уинн бросает свою собственность на произвол судьбы и помогает Скиннеру и Дипингу поднять Уолпола с пола. Они засовывают его в сундук, откуда актер, играющий его, может выйти через сценический люк или как-нибудь иначе.

Дипинг. Не закрывается!
Скиннер. Нога мешает! (*Указывает на знакомую ногу в галоше, торчащую из-под крышки.*)

Уинн и Дипинг заталкивают ее внутрь и закрывают крышку. Скиннер загораживает пустой стул.
В среднюю дверь входит Кочетов.

Кочетов. Все в порядке. Я пустил в ход все свое обаяние. Ей просто нужно успокоиться и вытереть слезы... Сначала появился сундук. Теперь — ворох старой одежды. (*Поднимает кучку одежды.*)
Уинн. Это мой теннисный костюм.
Кочетов. А мяч не застревает в снегу?
Уинн. Нет, я просто... готовил снаряжение к следующему сезону.

Кочетов отбрасывает теннисный костюм и поднимает что-то еще. Оказывается — теплые кальсоны.

Кочетов. Прошу прощения. (*Тактично открывает сундук и, не глядя, бросает в него кальсоны. Уходит в среднюю дверь.*)
Дипинг (*Скиннеру*). Что теперь?
Скиннер. Сядьте на ящик!

Уинн усаживается.

Дипинг. Что вы им скажете?
Уинн. Скажите правду.
Дипинг. Так вот ни с того ни с сего?..
Уинн. Так вот ни с того ни с сего...
Дипинг. Увели и расстреляли.
Уинн. Они же поймут, что в него не стреляли! Что он просто неожиданно...
Дипинг. Сыграл в ящик.

Пауза.

Скиннер. Да, тут мы просчитались, не надо было в ящик. Точно. Вытаскивайте его!
Уинн. Вытаскивать?
Скиннер (*машет, чтобы Уинн встал с ящика*). Подымайтесь! Слезайте!

Открывается правая дверь. Уинн захлопывает крышку и усаживается на нее. В правую дверь входит Макнаб, без фартука, в руке — пустое ведерко.

Дипинг. А, это вы.
Блайтон. Я думала, это призрак Хью Уолпола.

Макнаб идет к левой двери, все провожают его взглядом. Он останавливается, поднимает ведерко и стучит по дну, привлекая внимание к марке. Уходит в левую дверь. Уинн спрыгивает с сундука, и они начинают тащить Уолпола за ноги.

Скиннер. Стойте!
Дипинг. Что такое?
Скиннер. Макнаб!
Уинн. Что Макнаб?
Скиннер. Оденем его, как Уолпола! Выдадим его за Уолпола!

Пауза.

Блайтон. О нет!
Уинн. Ничего не выйдет.
Дипинг. Он на него совершенно не похож.
Блайтон. Нет, нет и нет!
Уинн. Точно не выйдет.
Дипинг. Макнаб — шотландец.
Скиннер (*тыча пальцем в направлении сундука*). Пальто, пальто! Снимайте пальто! (*Кричит влево.*) Макнаб! Иди сюда! Ты где? Макнаб! (*Блайтон.*) Держите дверь! (*Уинну и Дипингу.*) Пальто! Пальто! Пальто!

Дипинг пожимает плечами. Они открывают сундук и начинают стаскивать с Уолпола пальто. В левую дверь входит Макнаб в зеленом фартуке, неся в руках пустое ведерко и грабли.

Скиннер. Так! Садись! Для тебя есть работенка!

Макнаб стоит как вкопанный, заглядывая внутрь, в сундук.

Макнаб. А с ним-то что?
Скиннер. Ничего. Садись.
Макнаб. Сюда первым классом, отсюда в багажном вагоне.
Скиннер. Сядь! (*Забирает у Макнаба ведерко и грабли и ставит на буфет.*)
Макнаб. Сесть? (*Садится на стул, на котором до него сидел Уолпол.*)
Дипинг (*протягивая Скиннеру пальто*). Безнадежно! Это безнадежно!
Скиннер. Заткнитесь!
Дипинг. Ничего не выйдет!
Скиннер. Должно выйти!
Дипинг. Нереально!
Скиннер. Это еще что! Приезжали проверяющие на фабрику — я людей из картона делал! А тут такая роскошь — из плоти и крови! (*Макнабу.*) Вставай!

Макнаб встает. Скиннер и Уинн надевают на него пальто.

Руки, руки, руки!

Блайтон. Одевают, как манекен!

Скиннер (*Макнабу*). Слушай, один неверный шаг, и будешь лежать в ящике рядом с ним.

Макнаб. Стойте. Это что?

Уинн. Вы — он.

Макнаб. Я — кто?

Скиннер. Не спорь, Макнаб. Некогда спорить.

Уинн. Вы — мистер Уолпол.

Макнаб. Мистер Уолпол?

Уинн. Всего на пять минут.

Макнаб. С какой радости?

Скиннер. С того, что я так сказал.

Уинн. А фартук?

Скиннер. Застегни пальто.

Уинн. У него шея не уолполовская.

Скиннер (*Дипингу*). Шарф! (*Уинну.*) Снимите с него берет!

Уинн (*снимает с Макнаба берет и кладет его в карман пальто*). Надо же! А у Хью плешь на макушке.

Скиннер. Шляпу!

Дипинг (*протягивая шляпу*). И все равно: гляньте на него! Ничего общего!

Скиннер. Очки! Две руки, две ноги, голова — по мне, более чем.

Дипинг (*подает очки*). Много он в них увидит!

Скиннер. На что ему смотреть?

Они надевают на Макнаба очки. Тот шарит руками, как слепой.

Дипинг. Должен же он видеть, куда идет.

Скиннер. Никуда он не идет. (*Макнабу.*) Не шевелись.

Дипинг. Но как только он раскроет рот...

Скиннер. Рта не раскрывать!

Уинн. Будьте немногословны.

Скиннер. Просто мычи что-нибудь невразумительное.

Уинн (*обнаружив в кармане пальто трубку*). Вот, зажмите в зубах.

Пауза. Они с сомнением рассматривают свое произведение.

Блайтон. Ну и чучело — только поджечь.

Пауза.

Уинн. Но ему придется что-нибудь говорить, комендант. Это же интервью.

Макнаб (*которому мешает трубка*). Интервью?

Дипинг. Обычно спрашивают, с чем вы хотите обратиться к человечеству.

Уинн (*Макнабу*). Вы хотите напомнить о величии человека.

Дипинг. Еще можно сказать, что он против войны. Это всегда хорошо принимают.

Блайтон. А любовь? Всегда спрашивают про любовь.

Скиннер. Ты — за. За любовь. Против войны. Так, мы готовы?

Дипинг. Что он думает об Эйнштейне? Или о золотом стандарте? Или о Лиге наций?

Уинн (*Макнабу*). Спросят про что-нибудь еще — смотрите на нас. Мы поможем.

Скиннер. Точно. Они идут?

Пауза. Все ждут, внимательно глядя на Макнаба.

Уинн (*Макнабу*). Просто... импровизируйте.

Пауза.

Скиннер. Сапоги! Снимите с него сапоги!

Уинн и Дипинг валятся на колени перед Макнабом, каждый стаскивает с него по сапогу.

Уинн. Он без носков!

Скиннер. Надевайте сапоги обратно!

Они быстро натягивают сапоги на Макнаба. Пауза.

Ящик! Закройте ящик!

Уинн, Дипинг и Блайтон бросаются к открытому сундуку. Закрывают крышку, но она снова открывается.

Уинн. Не закрывается!

Скиннер. Сядьте на нее!

Дипинг садится на крышку.
Пауза.

(*Скиннер смотрит на Макнаба.*) Нет, не выйдет. Бесполезно. Снимай это все. Придется сказать правду.

В среднюю дверь входят Кочетов и Триша.

Триша. Прощу прощения. Не представляю, что вы подумали.

Скиннер. Вы только дайте мне объяснить.

Триша. Я, официальное лицо, плачу, выбегаю из комнаты.

Кочетов. Это я виноват.

Скиннер. Вообще-то, виноват Уинн.

Триша. Как-то все сразу навалилось: и поездка, и такое чувство, что я за все отвечаю...

Кочетов. И снег. И овцы.

Триша (*Макнабу*). И вдруг выясняется, что вас нет.

Кочетов. А потом вдруг выясняется, что есть.

Скиннер. Да, так вот...

Дипинг. Сядьте, Скиннер.

Скиннер. А... (*Садится.*)

Триша (*Макнабу*). Я так много хотела вам сказать, о столько спросить.

Кочетов. Но увидела вас, и все вылетело у нее из головы.

Триша. Просто вы сидели и смотрели так... даже не знаю как именно... так строго, неодобрительно. И я... я подумала, он меня просто презирает. А сейчас я смотрю на вас... и кажется, что все не так страшно.

Кочетов. Сейчас у вас в зубах ваша старая трубка, и вы... вы просто другой человек.

Триша. Да, и вы совсем не такой, как я думала! Вы мне виделись... Я даже не знаю... (*Садится на пол у его ног.*) Но почему-то не в резиновых сапогах. Знаете, как я вас всегда представляла? Это глупо, конечно, но мне казалось, что вы похожи на кота. Ужасно изысканный, и брезгливый, и коварный, хорошо воспитанный, с мягкими бархатными лапками. Но с пронзительным взглядом, который видит меня насквозь! Ну, так вы выглядите на фотографии. Ног там, по-моему, не видно. Простите. Я болтаю чепуху. Даже не знаю, у меня сегодня такое глупое настроение. Сначала не могу сказать ни слова, потом не могу остановиться. (*Кочетову.*) Извините.

Кочетов. Нет, продолжайте. Проведите интервью до конца. Напишите за меня статью.

Триша (*Макнабу*). Знаете, я должна задать вам один вопрос. То есть совсем не должна. Это мистер Кочетов должен задавать вам вопросы, и я даже знаю, о чем он будет вас спрашивать, потому что он спрашивает об этом у всех, у кого берет интервью. Он собирается вас спросить про одного человека из Нижнего Новгорода. (*Кочетову.*) Извините. Продолжайте вы. Спросите у него про Нижний Новгород.

Кочетов. Спрашивайте сами. У меня сегодня выходной.

Триша. Не издевайтесь!

Кочетов. Ни слова не скажу!

Триша. Ну, значит так, в Нижнем Новгороде есть человек, который стоит на столбе. Вы, наверное, не знали, но

есть такие люди — они на столбах стоят. Он так уже восемьдесят три дня стоит. (*Кочетову.*) Восемьдесят три?

Кочетов. То было вчера.

Триша. Восемьдесят четыре дня. И каждое утро к нему приходят корреспонденты из газет, стоят у подножья столба и спрашивают, что он думает о войне, и все в таком духе. А когда мистер Кочетов был там, в Нижнем Новгороде, он спросил, каким со столба кажется мир, и тот человек ответил...

Кочетов. "Таким большим, что удивляешься, как это он вращается вокруг такого тонкого столба".

Триша. И теперь мистер Кочетов хочет вас попросить, чтобы вы сказали, каким вам кажется мир, так же коротко и остроумно. Наверное, мне нужно замолчать, и дать ему спросить вас об этом, но сначала я должна задать вам один вопрос. Почему Изабел так необъяснимо тянет к Моффатам?

Кочетов. Что?

Триша (*Кочетову*). Это из романа мистера Уолпола "Мистер Пэррин и мистер Трэлл", вы его не читали. (*Макнабу.*) Моффатов она терпеть не может. Почему же она приходит к ним снова и снова?

Макнаб смотрит на Уинна, ища помощи. Уинн смотрит на Дипинга, который поворачивается к Блайтон. Та пожимает плечами. Триша переводит взгляд с одного на другого.

Извините. Это очень дурацкий вопрос? (*Макнабу.*) Я уверена, все и так знают. Но, пожалуйста, скажите.

Уинн. Я знаю! Отчего бы нам не выпить?

Дипинг. Выпить! Отличная идея!

Блайтон. После завтрака прошло уже, наверное, полчаса.

Уинн. Выпьете, мистер Кочетов?

Кочетов. Как угодно. (*Макнабу.*) Так, давайте разберемся в этом вопросе, и можно приступать к интервью. Скажите ей, что на уме у Изабел.

Дипинг. Минуточку. Пить-то нечего.

Уинн. Есть виски.

Блайтон. Он держит его в сейфе.

Уинн. Для особых случаев.

Дипинг. Я все устрою, хорошо?

Дипинг поднимается с сундука и подходит к Скиннеру. Крышка открывается. Блайтон издает дикий нечленораздельный крик. Уинн бросается к сундуку и усаживается на крышку. Кочетов и Триша поворачиваются и смотрят на Блайтон.

Кочетов. Прошу прощения?
Блайтон. Разве я что-то сказала?
Дипинг (*протягивая руку*). По-моему, сейчас как раз особый случай!

Скиннер дает ему ключ. Дипинг уходит в среднюю дверь.

Кочетов. Ну, так Изабел. Разъясните ей насчет Изабел.
Уинн. Я слышал, он придерживается определенных взглядов на войну.
Блайтон. Мне бы хотелось, чтобы он поговорил о любви.
Кочетов. Доберемся и до войны. Доберемся и до любви. Сначала про Изабел.
Триша. Простите. Мне просто интересно, что за таинственная сила влечет ее к Моффатам. (*Ждет. Макнаб вынимает изо рта трубку, собираясь ответить.*)
Уинн. Или спросите у него, с чем он хочет обратиться к человечеству.
Блайтон. Или не задумывается ли он о том, кто он на самом деле.
Триша. Все его перебивают! Вы не даете ему начать!
Кочетов. Да. Помолчите, прошу вас, пожалуйста. Итак, что за таинственная сила.
Уинн. Я думаю, нужно объяснить...
Кочетов. Гм!..
Уинн. Он — человек очень...
Кочетов. Прошу вас!
Уинн. Немногословный.
Кочетов. Так дайте ему сказать хоть слово. Мистер Уолпол...

Макнаб снимает очки и трет глаза.

Скиннер. Ты что делаешь? (*Кочетову.*) Прошу прощения. Ему настоятельно рекомендовано ни в коем случае не снимать очки.
Блайтон. Чтобы снизить вероятность сердечного приступа.

Макнаб надевает очки.

Уинн. Здесь заботятся о нашем здоровье.
Триша. Ну, пожалуйста!
Кочетов. Дайте же ему сказать!

Макнаб вынимает трубку изо рта. В среднюю дверь входит Дипинг, несет виски, сифон и стаканы.

Дипинг. Кому с содовой, кому без?

Макнаб снова сует трубку в рот.

Триша. Он как раз хотел заговорить.
Уинн. Я разливаю, хорошо?

Он подымается с сундука и подходит к подносу. Крышка сундука открывается. Скиннер издает дикий нечленораздельный крик. Кочетов и Триша оборачиваются к нему, в то время как Дипинг, держа сифон, бросается на крышку сундука.
Скиннер превращает вопль в кашель.
Кочетов и Триша оборачиваются к Дипингу, который распростерт на сундуке, держа в руке брызжущий сифон.

Дипинг. Кому содовой?
Кочетов. Так. Кому содовой? Мне без содовой. Кому-нибудь с содовой? Всем без содовой.
Триша. Мне с содовой.
Кочетов. Ей с содовой. (*Подает ее стакан Дипингу, чтобы тот налил содовой.*)
Итак. У всех налито? Все довольны? Никто не хочет предложить сигару или сбегать помыть руки? Хорошо. Прекрасно. Выпьем за что-нибудь, а потом в полной тишине выслушаем мистера Уолпола, который объяснит нам все про таинственную Изабел. Итак, дамы и господа, я могу попросить вас встать?..

Все поднимаются, кроме Дипинга, который сидит на крышке сундука. Кочетов ждет, подняв стакан, и смотрит на Дипинга. Дипинг явно в большой растерянности. И тогда Блайтон запрыгивает на крышку, подняв свой стакан.

Блайтон. За Изабел!

Дипинг встает.

Все вместе. За Изабел!

Все выпивают и садятся — Дипинг и Уинн на крышку сундука. Кочетов и Макнаб, оставшиеся стоять, осушают стаканы одним глотком.

Кочетов. Вы только посмотрите на него! Пьет, как русский.
Триша. Теперь *вы* перебиваете.
Кочетов. Нет, но он мне нравится. Налейте ему еще. Налейте мне еще. Мы с ним выпьем.

Уинн наливает им обоим еще виски.

Скиннер. Спасибо. Я думаю, бутылку лучше отдать мне. (*Забирает бутылку.*)

Уинн садится на крышку сундука.

Кочетов. За свободу слова.

Макнаб и Кочетов осушают свои стаканы.

Так, а теперь все молчат. Мистер Уолпол...

Кочетов садится. Пауза. Потом Макнаб слегка подается вперед.

Триша. По-моему, он в самом деле заговорит!
Блайтон. Интересно, что же он скажет.
Макнаб. Этот ваш парень... Этот парень на столбе... Восемьдесят четыре дня он там стоит? И как он только не лопнул! Эти тут через восемьдесят четыре минуты окошки пооткрывают и до ветру!
Триша. Не понимаю...
Кочетов. Правда, моя радость? А я, кажется, начинаю понимать... (*Достает блокнот и карандаш и начинает писать.*)
Макнаб. Вы там стоите внизу, смотрите на него? Так? (*Поднимается на ноги и смотрит сверху вниз на Кочетова и Тришу.*) А он, значит, наверху... (*Разворачивает стул и встает на него, как за кафедру.*)

Скиннер застывает в тревоге.

...он, значит, копил-копил, и он смотрит вниз, на всех вас, и что он говорит? Я вам скажу, что он говорит. (*Вырывает у Скиннера бутылку виски и поднимает ее высоко над головой, наклонив. Ставит ногу на спинку стула, из-под пальто высовывается его голое колено.*) Он говорит...
Скиннер (*взвизгивает*). Одерни юбку!

Занавес

Действие второе

Та же обстановка, что и в конце первого действия.

Скиннер. Одерни юбку!
Макнаб (*в ярости*). Юбку? Что значит, юбку?
Скиннер. То есть, брюки!
Макнаб. Юбку, да? (*Пытаясь продемонстрировать Трише и Кочетову.*) Нет там никакой юбки!
Скиннер (*пытаясь удержать полу пальто*). Что подумают наши гости?
Уинн. Он в шортах.

Дипинг. Его брюки в починке.
Уинн. Он — командир скаутов.
Блайтон. Его от этого лечат.

Макнаб распахивает пальто на всеобщее обозрение.

Макнаб. Это килт!
Скиннер. Это не килт!
Макнаб. Я — шотландец!
Скиннер. Он не шотландец!
Уинн. В нем есть что-то шотландское.
Дипинг. Гораздо больше шотландского, чем думают читатели.
Макнаб. Я — шотландец!
Скиннер (*умывает, так сказать, руки*). Ну, хорошо — он шотландец! (*Пауза. Побежденный Скиннер садится в стороне.*)
Кочетов (*Трише, весело*). Итак, вы не думали, что он шотландец?
Триша (*расстроенно*). Он вообще не такой, как я думала! (*Макнабу.*) Судя по вашим книгам, я думала, в вас меньше... Я даже не знаю. (*Кочетову.*) Я права?
Кочетов (*серьезно*). Намного меньше.
Уинн. Да, так и есть.
Триша. То есть меньше?.. (*Пытается жестами выразить неуловимое качество, которого ожидала.*)
Уинн. Да, конечно, меньше.
Триша. Нет, я думала, в нем будет больше...
Уинн. А в нем и есть больше — в каком-то смысле.
Блайтон. Гораздо больше.
Триша. Нет, я имела в виду больше...
Уинн. Больше брезгливости.
Триша. Не совсем.
Дипинг. Больше занудства.
Триша. Ну...
Блайтон. Больше кошачьего.
Макнаб. Кошачьего? Как кошка, которая играет с мышкой? Кошачьего во мне навалом.
Кочетов. Вам нравится наблюдать, как люди запутываются и мечутся? Понимаю.
Триша. Нет, я поняла, что хотела сказать. Я думала, в вас будет больше уолполства.
Кочетов (*Дипингу*). Как, на ваш взгляд, в нем достаточно уолполства?
Дипинг. В нем есть уолполство, поверьте!
Блайтон. Сколько угодно!
Триша. По-моему, в вас совсем нет уолполства!

Кочетов. Я не уверен в литературной ассоциации. Может быть, раблезианство?

Уинн. Ну...

Скиннер. В моих бумагах указано, что он принадлежит к епископальной церкви.

Блайтон. Видели бы вы его с сардинами.

Дипинг. Да, сардины, это что-то. С сардинами не было никакого раблезианства.

Триша. С сардинами?

Макнаб. Не хочу я вспоминать про сардины!

Кочетов. А мы, разумеется, хотим, чтобы вы вспомнили про сардины.

Макнаб. Значит, обед в воскресенье. Я им достал банку сардин, а где — не спрашивайте, но сардины на дороге не валяются, это точно. И они тут все сидят, жрут сардины — только не он.

Триша. Кто?

Уинн (*показывая на Макнаба*). Он.

Макнаб. Я?

Уинн. Вы, Хью.

Макнаб. Что?

Уинн. Хью, вы же тут сидели, Хью. Вспомните, Хью.

Скиннер. Соображай быстрее, Макнаб... Макуолпол...

Макнаб. А, да. Точно. Я тут сидел. Точно. Значит, сижу я тут, молча, губки поджал, и рожа у него кислая-кислая. У меня. Я ему, значит, говорю: "Что такое, мистер Уолпол?" Себе, значит, говорю: "Что такое?" А он мне: "Что такое?" Он, значит, дворецкий, говорит мне, мистеру Уолполу: "Что такое?" И знаете, что я говорю? Я говорю: "Меня можно принудить есть хлеб с маслом без масла, и яичницу с ветчиной без ветчины или яиц, но я не стану есть сардины, коли нет рыбной вилки".

Дипинг. Вы всегда были очень щепетильны, когда дело касалось сервировки.

Кочетов. Безупречный джентльмен.

Уинн. Вот именно.

Макнаб. А чай? Он меня так доставал с этим чаем. *Я* его доставал с этим чаем. "Макнаб, — говорю, — сколько можно повторять? Чай — сначала. Молоко — следом. И, Макнаб, не хватайте сахар пальцами, иначе у нас в чашках будет полно микробов".

Триша. Макнаб? Это кто?

Макнаб. Да дворецкий наш. "Макнаб, — я ему говорю, — коли вы дворецкий, старайтесь – и поворачивайтесь поживее".

Дипинг. “Макнаб, — это *вы* так говорите, — не протягивайте свою сальную руку за талонами на питание. Возьмите поднос”.

Уинн. “Если вы не желаете надевать перчатки, когда подаете еду отдыхающим, Макнаб, по крайней мере, снимите сапоги, в которых давали корм свиньям”.

Макнаб. Я вчера пришел сам не свой. Вы бы меня видели, когда я в дом зашел. Было на что посмотреть. (*Подходит к правой двери, чтобы это изобразить.*) “Всему есть предел! Я едва не покалечился на этом крыльце. Но пусть они трепещут, Макнаб, у меня свои люди в верхах, даже кузены”. Нет, я тот еще тип, так я скажу. Я все охочусь за женским бельем. “Макнаб, — говорю, — в деревне ничего не слышно насчет рейтуз? Держите шесть пенсов, Макнаб. Эту дрянь, которую продают для мужчин, я носить не могу, Макнаб. Она слишком колючая для человека, ведущего малоподвижный образ жизни”. (*Садится рядом с Кочетовым.*) А ванная?

Кочетов. Расскажите про ванную.

Макнаб. Каждый банный день одно и то же. Спускаюсь в своих ковровых тапочках и говорю: “Макнаб, держите шесть пенсов. Будьте умницей, проветрите ванную. Там чей-то пар”. Ковровые тапочки — вот это жизнь. Как я посмотрю, я иногда целыми днями хожу в ковровых тапках. Снимаю, только когда работаю — как они это тут называют. Снимаю тапки и ставлю ноги на стену — там, где тепло от вытяжной трубы. Сижу так часа четыре кряду и, кто его знает, о чем думаю. То ли сочиняю какую красоту, чтобы в книжку вставить? То ли вспоминаю, как раньше грейпфрут ели — чайной ложкой или кофейной? Я вам так скажу, мистер, и ничего с вас за совет не возьму. Вернетесь домой — купите себе пару хороших, прочных ковровых тапок и можете прибивать к двери табличку: писатель, мол.

Кочетов. Но сегодня вы, я вижу, в сапогах?

Макнаб. Сегодня у нас гости.

Скиннер. Я надеюсь, наши гости относятся к этому не очень серьезно.

Кочетов. Я к этому отношусь очень серьезно. Почти так же серьезно, как все вы.

Уинн, Дипинг и Блайтон быстро превращают тревогу на лицах в улыбки.

Уинн. Да нет, он такой шутник, наш Хью. Я уверен, он совсем не так относится к писательскому труду.

Кочетов. В самом деле?

Макнаб. Да я их подначиваю. Серьезно, и головой приходится поработать. И глаза устают. И слова всякие — запоминай, как писать. Но и получаешь кое-что. (*Протягивает свой стакан Скиннеру, который вынужден его наполнить.*) И остальным тоже, не обижайте их. Помогай им бог с их точками с запятой и прочим.

Скиннер наполняет все стаканы.

Нет, так вот оглянешься, подумаешь, как жизнь прожил, вспомнишь и то, и это — не зря жил. Ну, за литературу!

Кочетов. За литературу!

Триша. Да, за литературу!

Уинн и Дипинг. За литературу!

Скиннер. Ну, повеселились, и ладно. Если у вас больше нет вопросов...

Триша. По-моему, нет. Нет?

Кочетов. Напротив. Мы только начали.

Макнаб. Да уж, я бы вам порассказал про писателей, про их дела, это точно. Про то, как у нее бешено билось ретивое, а он прижался пылающими губами к ее губам, и все в таком роде — я бы вам рассказал, откуда это берется, это вам не книжки читать. Литература, я вам скажу! За нее!

Кочетов. За литературу — и жизнь!

Триша. За жизнь!

Блайтон. За жизнь!

Уинн и Дипинг. За литературу.

Скиннер. И на этом давайте закругляться. Боюсь, мистер Уолпол – очень занятой человек.

Макнаб. За меня не волнуйтесь, мистер Скиннер. У меня времени полно.

Скиннер (*добродушно*). Пора к станку, Уолпол! Читатели ждут!

Макнаб. А пусть подождут, мистер Скиннер. Пусть все подождут хоть разок.

Скиннер (*Кочетову, извиняясь*). Писатели! Дай им волю, будут пить с утра до вечера. Пора, Уолпол.

Макнаб. Хотите, чтоб мы поднялись и пошли работать?

Скиннер. Да. Поднимайтесь. (*Кочетову.*) Это для их же блага.

Макнаб встает.

Макнаб (*Дипингу, Уинну и Блайтон*). Ладно, что там. Подъем.

Уинн. А...

Тревожно смотрит на Скиннера. Дипинг смотрит на него издевательски. Они продолжают сидеть на сундуке.

Блайтон. Может быть, стоит еще посидеть и выпить? До вечера далеко.

Кочетов. Им не терпится узнать, что будет дальше.

Скиннер (*сдаваясь*). Так мы тут будем сидеть до второго пришествия.

Макнаб садится.

Триша. Знаете, вот вы сняли очки, и я вспомнила, где я вас раньше видела.

Кочетов. Здесь, когда мы только приехали. Вы шли кормить свиней.

Макнаб. А, очки. Толку от них... Ни черта в них не вижу. Дают всякую ерунду, говорят: "Надевай". А что ты можешь врезаться в пол головой, на это им наплевать.

Триша. Еще фартук.

Макнаб. А, старый фартук.

Скиннер. Он чистил пишущую машинку.

Уинн. Мы же говорили, он такой брезгливый.

Дипинг. Очень брезгливый, когда дело касается пишущей машинки.

Триша. Но у вас же было ведро помоев.

Дипинг. Его машинка в отвратительном состоянии.

Блайтон. Он роняет крошки в машинку.

Уинн. Да нет, он просто прибирал в комнате.

Триша. Понятно. Вы делаете часть работы по дому?

Макнаб. Можно и так сказать.

Дипинг. Мы стараемся жить рабочей коммуной.

Уинн. Мы все исполняем домашние обязанности по очереди.

Макнаб (*Уинну*). Да ну? (*Трише.*) Спросите его, когда он последний раз кормил свиней?

Скиннер. Не надо сцен, не будем выяснять при гостях, кто что сделал.

Макнаб. Кто что сделал?

Уинн. Обычные семейные дрязги!

Макнаб. Кто что сделал? Кто сделал хоть что-то? Что-то кто-нибудь сделал?

Скиннер. Ладно, остальные пусть еще посидят, а ты — за работу...

Макнаб. Я вам скажу, кто что сделал. Я вам скажу, кого тут уделали!

Дипинг подпрыгивает. Кочетов, улыбаясь, делает пометку в блокноте.

Дипинг (*Кочетову*). Еще виски? О, бутылка пуста.
Уинн (*вскакивая*). Я принесу еще.

Крышка сундука открывается. Становятся видны ноги Уолпола.

Скиннер (*Уинну*). Слушайте, я сказал — пора закругляться, и буду стоять на своем.
Макнаб. Лучше вы, мистер Скиннер, на нем посидите. (*Кивает в сторону сундука.*)
Скиннер. Нет, нет, я не собираюсь тут сидеть и смотреть, как вы откроете еще... (*Видит сундук. Резко садится на него.*)

Кочетов и Триша оглядываются.

Скиннер. ...ящик виски.
Уинн. О господи.
Триша. Вам нехорошо?
Макнаб. У него дух захватило.
Дипинг. Ему нужен ящик виски.
Кочетов. *Ящик* виски?
Скиннер. Крыщик вязки... То есть... ...хрящик...
Дипинг. Как бы там ни было, ему это нужно.
Макнаб. Давайте, мистер Уинн, вперед! У дворецкого нынче выходной.

Дипинг дает Уинну ключ.

Уинн. Я только хотел сказать, что мы все сами себе стелем постель...
Макнаб. Старайтесь живее поворачиваться, мистер Уинн. Сегодня это Ваша работа. Расстарайтесь, притараньте бутылочку.

Уинн уходит в среднюю дверь.

Блайтон. С этим интервью он заставит нас мыть полы.
Макнаб. Не начинайте. Я-то знаю, что за стихи вы пишите. "И немереное пламя припекло между ногами".
Блайтон. Вы подсматривали. Вы рылись в моих бумагах.
Макнаб. А вы не бросайте их на пол в ванной.
Блайтон. И я не писала "припекло между ногами".
Макнаб. С этим парнем, что приезжал в ноябре.
Блайтон. С Дорнфордом Йейтсом? Вы на что намекаете?
Макнаб. В бильярдной. Видел я вас. Припекало, а?
Блайтон. Строчка, которую вы пытаетесь воспроизвести, звучит: "Взгляда медленное пламя".
Макнаб. В бильярдной пламя — измеренное. В оружейной - припекло.

Блайтон. Я в жизни не была в оружейной. И уж тем более не писала ничего даже отдаленно напоминающего “припекло между ногами”.

Дипинг. До чего все это гадко.

Блайтон. Вот уж спасибо! То, что я могла бы рассказать, куда гаже!

Дипинг. Опять вы за свое. В этой истории нет ни слова правды. Я едва знал ту женщину.

Блайтон. Он ее едва знал!

Макнаб. И не он один!

Скиннер. И все равно, эта базарная перебранка едва ли интересна нашим гостям.

Кочетов. Да что вы! Настоящий литературный спор прямо у нас на глазах? Мы наслаждаемся каждой секундой! Разве нет, Триша?

Триша. Знаете, это все в самом деле... очень неожиданно.

Кочетов. Нам так повезло. Скоро вы будете самыми знаменитыми писателями в мире.

В среднюю дверь входит Уинн с бутылкой виски.

Скиннер. Виски! Дайте им еще виски! Давайте, давайте!

Дипинг. Да, еще по стаканчику, и сменим тему.

Уинн наполняет стаканы.

Макнаб. Кто что сделал, так? Вот вам тема. Кто сготовил завтрак? Кто почистил мистеру Скиннеру ботинки?

Триша. Но ведь вы не все делаете сами? Вы сказали, здесь есть дворецкий.

Макнаб. Да уж, дворецкий здесь есть.

Кочетов. Этот невезучий Макдоналд?

Макнаб. Макнаб. Джон Макнаб. Сын Джона Макнаба из Томинтула. А Джон Макнаб из Томинтула был праправнуком знаменитого Джона Макнаба из Крэгелахи.

Триша. Он был знаменитым?

Макнаб. Он был достаточно знаменит в Крэгелахи.

Триша. А где этот Макнаб сейчас?

Макнаб. Вот это вопрос. Где сейчас старина Макнаб? Как тут ответишь, мистер Скиннер?

Скиннер. Не думаю, что нужно в это вдаваться.

Макнаб (*Кочетову*). Я вам скажу, где он. Его...

Скиннер (*резко*). Макнаб! (*Понимает.*) То есть... (*Зовет.*) Макнаб!

Уинн (*тоже зовет, пытаясь помочь*). Макнаб!

Скиннер. Макнаб!

Уинн (*открывает левую дверь и зовет*). Макнаб... Нет, его там нет.

Макнаб. Это точно. Его там нет в кои-то веки, и я вам скажу почему — потому что в кои-то веки он...

Скиннер (*вскакивает и распоряжается*). Выпьем! Выпьем еще!

Крышка сундука открывается. Макнаб спокойно на нее присаживается.

Макнаб. ...потому что в кои-то веки он присел отдохнуть. (*Осушает стакан и протягивает его.*) Я бы не отказал, мистер Скиннер, я бы не отказал.

Скиннер берет бутылку и наполняет стакан Макнаба.

Да, бедный старина Макнаб присел отдохнуть. И я вам вот что скажу. Он присел первый раз за день. Я больше скажу, он присел первый раз с Нового года. А в Новый год он присел единственно потому, что нашел ключ от сейфа и вскоре после полуночи, когда он еще не добрался до стула, стул подпрыгнул и добрался до него.

Скиннер. Да, и где он пробыл весь следующий день?

Макнаб. В постели. Хворал!

Кочетов. Вы, кажется, очень печетесь об этом Макнабе.

Макнаб. Если я о нем печься не стану, никто из этих и не подумает.

Скиннер (*Кочетову*). Пожалуйста, не волнуйтесь насчет дворецкого. О нем заботятся.

Макнаб (*Кочетову*). Вы хоть раз видели, чтобы дворецкий приносил завтрак?

Скиннер. Многие дворецкие приносят завтрак.

Макнаб (*Кочетову*). Спозаранку выходят из дома, чтобы принести завтрак?

Скиннер. Многие дворецкие спозаранку выходят из дома, чтобы достать что-нибудь к завтраку.

Макнаб (*Кочетову*). Из силков, которые поставили накануне? Вы хоть раз видели, чтобы дворецкий вскапывал огород и стриг газоны?

Скиннер. Эти газоны не стригли с тех пор, как на них пустили свиней.

Макнаб (*Кочетову*). И ходил за свиньями? И чистил канализацию? И крыс ловил? И стрелял браконьеров? И носки штопал? И еще сидел всю ночь за дымовой трубой с театральным биноклем, карауля того, кто крадет кровельное железо? А потом бы спускался утром, а его бы обви-

няли, что это он это самое железо украл? А еще шарик для пинг-понга! А еще ведерко для шампанского!

Скиннер. Я уверен, наши гости слишком много повидали, чтобы слушать эту чепуху.

Макнаб. “Покажи мне помои, Макнаб”.

Уинн. На него иногда накатывает.

Макнаб. “Макнаб, я приклеил двухпенсовую марку на твое ведро”.

Блайтон. Теперь его не остановишь.

Уинн. Но мы все равно его любим. Правда?

Макнаб. Меня сегодня все любят. Это точно. Это не каждый день, мистер, я-то знаю. Сам мистер Скиннер ко мне сегодня проникся. Так, мистер Скиннер? Вы за меня сегодня в огонь и в воду, да мистер Скиннер?

Скиннер. Если я вам чем-то могу помочь, то конечно...

Макнаб. Побежите сломя голову, так мистер Скиннер?

Скиннер. Не понимаю, к чему вы клоните.

Макнаб (*спокойно*). Бегите, мистер Скиннер. Покажите, как вы бегаете.

Кочетов (*Трише*). Вот к чему приводит демократия.

Макнаб. Бегите.

Скиннер. Не понимаю, что все это значит.

Макнаб. Бегите.

Скиннер. Я в эти игры не играю.

Макнаб (*встает*). Бегите!

Крышка сундука начинает подниматься. Скиннер в тревоге вскакивает на ноги.

Макнаб (*садится*). Сядьте.

Скиннер садится.
Внезапно Макнаб снова приподнимается — и снова Скиннер вскакивает. Макнаб тут же садится, потом делает вид, что снова встает, — и Скиннер не может не дернуться в ответ. Макнаб машет на него рукой, внезапно погрустнев.

Сидите, сидите. Прямо сердце болит на вас глядеть.

Кочетов (*Трише*). Видите, почему мы предпочитаем авторитарный режим.

Уинн пересаживается на сундук к Макнабу.

Уинн (*Кочетову*). Да это мы в Балморале так дурачимся. Мы это любим, да, Уорри? Мажем друг друга джемом. Кладем кнопки на стулья.

Дипинг. Да, дергаем Блайтон за косички. Наливаем патоку Уинну в носки.

Кочетов. Мне это напоминает “Войну и мир”.

Уинн. В самом деле?

Кочетов. Прозаическое сочинение, растянутое до невозможности.

Макнаб (*слезает с сундука и куда-то направляется*). Вот вы спросили, каким мне кажется мир.

Уинн. Нет, нет, Хью, по-моему, нет. Никто вас ни о чем не спрашивал.

Макнаб. Меня тут попросили описать мир, как будто я смотрю на него...

Уинн. Да когда это было! Нечего и вспоминать!

Макнаб. ...со столба.

Блайтон. Он не остановится до утра.

Макнаб. И я вам скажу. Начистоту. Как я посмотрю, картина мрачная. Даже очень мрачная. Я смотрю со своего столба, и что я вижу? Я вижу недоверие и подозрительность среди людей. Лживых обвинителей на коне и злобную клевету. Имен я не называю, но эти, внизу, знают, на кого я смотрю.

Блайтон. Это еще хуже, чем его коленки.

Макнаб. Я вижу кружку, прикованную к питьевому фонтанчику, и марку, приклеенную к ведру.

Уинн, Дипинг и Блайтон глубоко смущены. Скиннер уставился на Макнаба в бессильной ярости.

Я вижу похоть в бильярдной и заграничное шелковое белье в оружейной, и картошку в магазине по девять пенсов за фунт. И вот я стою на своем столбе, смотрю на мир, и мне хочется задрать килт и...

Кочетов (*мягко, протягивая свой стакан*). ...налить нам еще по стаканчику.

Макнаб наливает.

Вы были великолепны.

Уинн. Мы были великолепны.

Дипинг. И все заработали по стаканчику виски.

Кочетов. Но ничего не вышло. Кого мне жаль больше всех, так это бедную Тришу. Взгляните на нее! Ее сердце разбито!

Триша (*пытаясь улыбнуться*). Нет, нет...

Кочетов. Мы проехали пятьсот миль. Она никогда так далеко не ездила. Она никогда не ездила в спальном вагоне. Все ради того, чтобы увидеть великого человека, знаменитого писателя. Чего она ждала?

Триша. Я не знаю чего.

Кочетов. Но вы ждали чего-то. Надеялись на что-то. На несколько мудрых слов.

Триша. Нет, не это.

Кочетов. На беседу о книгах.

Триша. Нет, не о книгах. Я бы не смогла о книгах.

Кочетов. Тогда на что-то в выражении лица. На особый взгляд, в котором читалась бы боль и внутренняя борьба. На что-то в глазах. Немного света от внутреннего огня. Немного тепла.

Триша. Уже не помню.

Кочетов. И что же? Сначала нас к нему не пускают. Потом ему не дают говорить. Потом заставляют говорить о каких-то глупых рыбных ножах. А потом — все, правда выходит наружу. Зеленый фартук, резиновые сапоги, живой интерес к ценам на картофель. Рыбные ножи! Да он крестьянин!

Триша. И вы от этого в восторге.

Кочетов. Не то слово.

Скиннер. До чего обидно. Стараешься, прикидываешь, пытаешься видеть на шаг вперед. И что в результате? Тебя подводят люди. У тебя масса идей, но нет людей, чтобы их довести до дела. Ты просто связался не с теми людьми.

Кочетов. Лапонька, я вам кое-что скажу о писателях.

Скиннер. Я бы мог порассказать про людей.

Кочетов. Писатели — ужасные люди.

Триша. Особенно некоторые.

Кочетов. Все.

Блайтон. Некоторые писатели ужасны — как писатели.

Макнаб. Некоторые люди ужасны — как люди.

Скиннер. Все люди ужасны.

Кочетов. Знаете, о чем говорят писатели? Только об одном. О себе самих. Нет, ну конечно, они вам скажут, что ненавидят войну. Но думаете, их интересует война? Ни капельки. Их интересует только то, как они ее ненавидят.

Триша. Просто вы — законченный циник.

Кочетов. Был циником! До сегодняшнего дня. До тех пор, как встретился с мистером Уолполом. Потому что это меня потрясло. Мистер Уолпол интересуется не самим собой! Его занимает другое человеческое существо! Хью Уолпол думает не о Хью Уолполе, он думает о Джоне Макнабе! О простом слуге. Обыкновенном дворецком. И все-таки, когда мистер Уолпол говорит о Джоне Макнабе, он становится красноречивым, он искренен. Он искренне возмущается тем, что Макнаба обижают. Он искренне гордится предками Макнаба. В этом, как мне кажется, и

состоит суть писательского творчества: постичь ум и душу другого человека. Ведь когда Уолпол говорит о Макнабе, он становится Макнабом! Он и есть Макнаб!

Триша. Понимаю. Это и правда неожиданно.

Макнаб. Сапоги меня выдали, да?

Кочетов. Сапоги! Только подумайте! Писатель в резиновых сапогах!

Макнаб. С сапогами была целая история. Они хотели их снять, да я без носков.

Кочетов. Без носков! Господи! Писатель без носков! И вы стыдитесь его! Вы даже его заставляете стыдиться самого себя! Вы его недостойны!

Скиннер. Вы только выслушайте, я все объясню. Макнаб сказал, что Уолпол...

Уинн (*Скиннеру*). Выпейте еще.

Скиннер. Я просто хочу объяснить...

Дипинг. Не надо ничего объяснять.

Скиннер. Да, но все из-за того, что Макнаб сказал...

Дипинг. Заткнись!

Скиннер. Что?

Дипинг. Послушайте, что он говорит, бога ради!

Уинн (*Кочетову*). Пожалуйста, продолжайте. Писатель без носков...

Кочетов. Должен признаться, я приехал в эту страну без веры в душе. Я приехал, чтобы посмеяться. И я ошибся. Я увидел, что здесь на самом деле что-то изменилось. В дворцовом парке пасутся свиньи. Простой крестьянин может стать писателем. Я увидел, что общество все же можно изменить. Что можно преобразить человека. Мистер Уолпол, я сейчас поведу себя очень по-русски. Надеюсь, я вас не покороблю. Я вас сейчас поцелую. (*Целует Макнаба в обе щеки.*)

Макнаб. Вот это да! А я небритый!

Триша. Мистер Кочетов, вы обратились!

Кочетов. Абсурд! Классический пример! Хотел похулить и уверовал! И знаете, я так глупо счастлив. Как будто с моей души сняли давний груз.

Триша. Мистер Кочетов! Да вы другой человек! (*Она целует его.*)

Кочетов. Володя, называй меня Володей.

Триша. Володя! Я думала, ты никогда не поймешь!

Кочетов. Я сопротивлялся, Триша! Я изо всех сил старался не поддаваться!

Триша. Володя, я всегда знала, что ты сможешь, если захочешь.

Кочетов. Это все мистер Уолпол. Это его ты должна целовать.

Триша. Мистер Уолпол! Теперь я осознала, что совсем не понимала вас, когда читала ваши книги. И даже когда вы говорили. Я тоже как будто прозрела. (*Целует Макнаба.*)

Макнаб. Это я понимаю! Литература!

Триша. Как я счастлива!

Кочетов. Какая ты умница! (*Целует ее.*)

Макнаб. Сегодня что, праздник? Или бар закрывается?

Кочетов. Какая красавица! (*Целует Макнаба.*)

Триша. Как хорошо!

Макнаб. А это, лапушка, тебе. (*Целует Тришу.*)

Кочетов. Как дивно и ново! (*Обнимает их обоих.*)

Они все смеются и целуются.

Скиннер (*поднимаясь*). Наверное, будет уместно, если в заключение я скажу несколько слов...

Кочетов (*в экстазе игнорируя Скиннера*). Вот так и нужно! Ни травы на газонах, ни носков на ногах! Только свиньи, резиновые сапоги и иногда по стаканчику. Так и нужно, так и будет!

Скиннер. Если позволите...

Макнаб (*поднимая стакан*). Да здравствуют свиньи!

Кочетов. Свиньи!

Триша. Свиньи!

Скиннер. Свиньи.

Пьют.

Если позволите. Я хотел бы, если можно, предложить тост за дальнейшее развитие дружественных культурных связей между нашими народами...

Кочетов. За Хью Уолпола!

Триша. Да, за Хью Уолпола!

Скиннер. Ну хорошо, за Хью Уолпола.

Макнаб. За старого бедолагу Хью Уолпола.

Пьют.

Кочетов (*Скиннеру*). Он просто чудо, разве нет?

Скиннер. Чудо. Итак, позвольте мне на прощание сказать пару слов. Я убежден, что наша встреча послужит всемерному укреплению дружественных связей между двумя великими державами...

Кочетов. Вон тот писатель. Он тоже хороший писатель. Это по лицу видно. Как его зовут?

Уинн. Уинн. Годфри Уинн.

Кочетов. Годфри. Выпьем за Годфри.
Все вместе. За Годфри!

Пьют.

Макнаб. Речь!
Кочетов. Да! Скажите речь!
Уинн (*поднимается*). Я прямо... Не знаю, что сказать... Разве что... ой, мама! (*Быстро садится на сундук, прижимая открывающуюся крышку.*)

Одобрительные возгласы и аплодисменты.

Кочетов. Замечательно! Бесподобная речь! (*Оборачивается к Дипингу.*) И еще писатель. Еще один прекрасный писатель.
Уинн. Да, выпьем за Уорри!
Все вместе. За Уорри!

Пьют.

Уинн. Речь!
Кочетов. Речь!
Макнаб. Давайте, мистер Дипинг!
Дипинг (*встает*). Право, это очень мило с вашей стороны, я очень тронут. И еще я хочу сказать вот о чем. Сегодня, более чем когда-либо...
Кочетов (*вскакивая*). Слушайте! Слушайте, я скажу речь! (*Его акцент становится более заметен.*) Я этого никому не говорил. Почему я так ненавидел Англию? Потому что я наполовину англичанин! Да! Моя мать была англичанка. Я был маленький, мы были такие нищие, мама и я!
Дипинг. Сегодня, более чем когда-либо, нам, писателям, приходится бороться за достойное место...
Кочетов. Слушайте! Слушайте! И я думал, все англичане нищие, и они плохие. А когда вырос, думаю — англичанин? Я не англичанин! Я русский! Я как папа! А сейчас приехал в эту страну, приехал в этот дом, и вспомнил маму, и понял, как ей было тяжело... Вот что я хотел сказать. А вы что хотели?
Дипинг. Я только хотел сказать...
Кочетов. Я только хотел сказать — я не русский. Я — англичанин.

Одобрительные возгласы.

Дипинг. Так вот...
Кочетов. И поэтому — подождите — я вас так хорошо понимаю! Потому что у всех у нас английская душа!

Скиннер. Слушайте, слушайте.

Кочетов (*Дипингу*). Теперь говорите.

Дипинг. Я хотел сказать только одно и совершенно забыл, что именно.

Одобрительные возгласы. Дипинг садится, улыбаясь. Кочетов поворачивается к Скиннеру.

Кочетов. А еще у нас тут вот кто.

Уинн. Да, мистер Скиннер! Артур Скиннер, так?

Кочетов. Артур Скиннер. Что я вам скажу? Вы ужасный человек, Артур!

Скиннер. Я вам очень признателен, но... Прошу прощения?

Кочетов. Нет. Я вам скажу откровенно, Артур, раз уж мы начали откровенный разговор — мы ведь говорим начистоту, правда? — я вам скажу: у вас много недостатков. Нет, послушайте. Много недостатков, и самый большой — ваша скромность. Послушайте! Послушайте! Вы стыдитесь того, что в этом доме такая нищета. Вы стыдитесь того, что Хью Уолпол — простой крестьянин. И пытались это от меня скрыть.

Скиннер. Нет, нет, нет.

Кочетов. Вы хотели меня обмануть.

Скиннер. Нет, нет, нет.

Кочетов. Откровенно, Артур. Начистоту.

Скиннер. Ну...

Кочетов. Вот! "Ну..." Видите? А теперь, Артур, я вам кое-что скажу. Этот нищий дом — счастливый дом. Эти простые люди — счастливые люди. И кто руководит этим счастьем? Артур, я вас удивлю. Им руководите вы! (*Поднимает стакан.*) За Артура Скиннера!

Все вместе. За Артура Скиннера!

Пьют.

Скиннер. Это самое лучшее из всего, что мне... Извините...

Макнаб. Слезы! Скиннер в слезах! Моисей ударил в скалу, и пошла из нее вода!

Скиннер. Никто никогда... Извините...

Кочетов. Артур, не поймите меня неправильно! Я ничего такого не говорил!

Скиннер. Я понимаю. Понимаю. Но просто даже этого мне никто никогда...

Кочетов. Артур!

Макнаб. Все, поплыл!

Кочетов. Я вас обнимаю. (*Целует Скиннера в обе щеки.*)

Скиннер (*плачет, не таясь*). Ужас... Ужас... Не плакал ни разу за эти ужасные годы...

Триша. Боже мой! Я сейчас тоже заплачу! (*Берет Скиннера за руку.*)

Макнаб. Хорошо. Как на похоронах.

Скиннер. Если бы моя мама слышала, что вы сказали! Только вспомню, как она билась, чтобы свести концы с концами!

Кочетов. Только вспомню, как моя мама, вся в английских булавках...

Скиннер. Жмешься и изворачиваешься всю неделю, чтобы свести дебет с кредитом! Я всему научился у мамы!

Кочетов. Моя мама — английская гувернантка. Мой папа — русский князь. И все эти годы я пытался походить на него!

Рыдают.

Уинн. В этих русских что-то есть. Дайте русскому бутылку спиртного, и через пять минут все будут в слезах!

Кочетов. Я — англичанин! Англичанин!

Уинн. Дайте англичанину бутылку спиртного. А я как вспомню свою маму и как мы хорошо жили... Не могу...

Макнаб. Чего стесняться, мистер Уинн. Поплачьте от души. Сразу полегчает.

Блайтон. Господи! Посмотрели бы они на себя со стороны!

Все оборачиваются к ней.

Дипинг. Энид! Мы не пили за Энид!

Блайтон. Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь.

Уинн. Мы забыли про вас!

Блайтон. Я к этому привыкла.

Скиннер. Энид! Идите сюда!

Блайтон. У меня нет ни малейшего желания вливаться в это море публичных слез.

Ее вовлекают в круг.

Кочетов. Вы прекрасно пишете.

Блайтон. Я не нуждаюсь...

Уинн. Нет, правда. Правда, Уорри?

Дипинг. Прекрасно!

Кочетов. И очень красивая женщина.

Блайтон. Просто оставьте меня в покое.

Скиннер. Это мой дом. В моем доме никого в покое не оставляют.

Дипинг. Давайте ее расцелуем.

Он и Кочетов целуют ее.

Блайтон. Ради бога...
Скиннер (*поднимая стакан*). За Энид!
Все вместе. За Энид!
Блайтон. Это нелепо.
Кочетов (*обнимая ее*). И еще это очень приятно.
Блайтон. Что это? О господи, это рука! (*Смеется.*)

Все смеются.

Триша. Это лучшая вечеринка в моей жизни!
Кочетов. Плачем. Смеемся.
Уинн. Русская вечеринка.
Кочетов. Я — англичанин! Англичанин!
Дипинг. Разумеется. Чисто английская вечеринка.
Кочетов. Скоро мы опять будем плакать. Потому что нам скоро придется расстаться.
Уинн. Никогда!
Кочетов. Кто знает, куда нас забросит судьба? Мир огромен. Жизнь необъятна и туманна, как осеннее небо. Думайте обо мне иногда!
Скиннер. Я тебя не забуду! Я не помню, как тебя зовут...
Кочетов. Володя.
Скиннер. Володя.
Кочетов. Артур...
Скиннер. Володя!
Кочетов. Артур... Артур... (*Шарит по карманам.*) Я хочу тебе что-нибудь подарить, на память, чтобы ты меня вспоминал, Артур... Часы. Я тебе дарю эти часы, Артур.
Скиннер. Володя, это же золото!
Кочетов. Это ерунда.
Скиннер. Они на четырнадцати камнях!
Кочетов. Они твои. Триша... Годфри... (*Начинает оделять содержимым своих карманов всех вокруг.*) Я хочу, чтобы у вас всех что-нибудь было...
Триша. Это же твои сигары.
Кочетов. Возьми их, возьми.
Уинн. Но тебе же нужна ручка!
Кочетов. Мне ничего не нужно, Годфри!
Скиннер. Володя, у них есть секундная стрелка!
Дипинг. Денег я взять не могу.
Блайтон. Нет, только не деньги.
Кочетов. Деньги — это грязь.
Дипинг. Но это же тридцать пять фунтов!
Блайтон. А это четыре — и девять с половиной пенсов!

Макнаб. А это что? Его расческа?
Уинн. Как на Рождество!
Скиннер. Володя, у них цифры светятся!

Но Кочетову не до него. Он занят тем, что сдирает с себя пиджак и галстук, собираясь их раздарить.

Кочетов. Вот! Вот! Зачем мне это? Я богатый. Вы бедные.
Триша. Нет, нет, нет!
Дипинг. Остановитесь!
Уинн. Оставь себе брюки!

Его усмиряют силой.

Дипинг. Чем мы можем вас отблагодарить?
Триша. Я не могу ничего придумать. Разве что... Вот, возьми эту брошку.
Уинн. Смотрите, чистый носовой платок.
Макнаб (*отдает ему шляпу Уолпола*). Примерьте эту шляпу.
Блайтон. И шарф.
Дипинг. Я хочу подарить вам портрет моей мамы.
Скиннер. Три пенса — больше у меня с собой нет.
Кочетов. Как это трогательно... как чудесно... Я это сохраню навсегда.
Скиннер (*поднимает руку, призывая к тишине*). Послушайте! Я хотел бы сказать от чистого сердца... Я не знаю, что бы я хотел сказать!
Блайтон. Я знаю! Мы должны поклясться, что всегда будем друзьями!
Кочетов. Поклянемся страшной клятвой!
Блайтон. Мы будем вроде шайки Робина Гуда!
Триша. Да!
Блайтон. И это будет наша тайна! Мы будем Братство Семерых!
Все вместе. Братство Семерых!
Кочетов. Положите руки на сердце...
Уинн. Где у нас сердце?
Кочетов. Здесь.
Скиннер. Поклянемся!
Блайтон. Дружить всегда-всегда!
Кочетов. И никогда больше друг друга не обманывать!
Блайтон. Никогда!
Скиннер. Никогда!
Кочетов. И никогда не забывать, что... (*Останавливается. Ему что-то пришло в голову. Все вокруг стоят, положив руку на сердце.*)
Уинн. Не забывать, что... Володя?

Кочетов. Джон Макнаб!
Уинн. Джон Макнаб?
Кочетов. Ваш замечательный дворецкий! Позовите его, пусть поклянется вместе с нами! Где он?
Триша. Да! Где он?
Уинн. Э...
Дипинг. Ну...
Уинн (*убирая руку с сердца*). Он прилег.
Кочетов. Позовите его.
Дипинг. Он вышел пройтись.
Кочетов. Прилег? Вышел пройтись?
Макнаб. Да он не знает, где он, вот и все.
Кочетов. Зачем вы так со мной? Мы поклялись! Артур, мы же поклялись!
Скиннер. Да. Мы поклялись, Годфри! Мы поклялись, Уори! (*Начинает смеяться.*) Ох, Володя, это так глупо! Ты в жизни не поверишь!
Кочетов. Чему?
Триша. Во что?
Скиннер. Макнаб здесь! Прямо у вас перед глазами.
Уинн. Артур!
Дипинг. Умеренность во всем!
Блайтон. Не надо все портить, все так хорошо!
Скиннер. Он поймет! Нам больше не надо ничего скрывать! Он не тот человек!
Кочетов. Ты хочешь сказать... один из них?..
Скиннер. Ты так рассердишься!
Уинн. Артур, ради бога...
Кочетов (*показывая на Уинна*). Но ведь не он?..
Скиннер. Нет!
Дипинг. Он спятил!
Кочетов (*указывая на Дипинга*). Что, он?
Скиннер. Нет!
Кочетов (*поворачиваясь к Блайтон*). Не она?
Скиннер. Нет! И остается — кто?.. Ох, Володя, ты упадешь!

Кочетов и Триша медленно поворачиваются к Макнабу и смотрят на него.

Кочетов. Ты ведь не хочешь сказать?..
Макнаб. А пальтецо было ничего. (*Снимает пальто Уолпола.*)
Уинн. Артур, ты же не можешь сказать, что Хью Уолпол — Макнаб.
Блайтон. Потому что где в этом случае Хью Уолпол?
Скиннер. В каком случае?
Дипинг (*открывая сундук*). В этом.

Кочетов. То есть это...
Скиннер. Не он.
Кочетов. Не он?
Триша. Но больше здесь никого нет! Кроме вас.
Дипинг. Угадала!
Уинн. Умница!
Кочетов. Он — Макнаб?
Блайтон. Если вдуматься, это очевидно.
Кочетов. Ты — Макнаб?
Скиннер. Я — Макнаб.
Макнаб. Так это он дворецкий? Кто-кто, а я с ним спорить не стану.
Кочетов. Не могу поверить.
Макнаб (*снимая зеленый суконный фартук*). Вот, надень-ка фартук. И поглядим. Где у нас берет?.. (*Достает берет из кармана пальто Уолпола.*) Живо надевай, Макнаб, иначе насмерть застудишься в свинарнике... Вот и он! Вот вам и дворецкий!

Все смотрят на Скиннера, стоящего в фартуке и берете.

Кочетов. Не могу поверить. Не могу поверить! Поверить не могу! (*Однако говорит таким довольным тоном, что сразу понятно – может.*)

Макнаб наполняет свой стакан.

Макнаб. За Джона Макнаба!

Все хватают стаканы.

Все вместе. За Джона Макнаба!
Макнаб. Пусть плодится и размножается!

Пьют. Кочетов обнимает Скиннера.

Кочетов. С ума сойти! Как меня провели! Тебя тоже, Триша? Я был уверен, совершенно уверен, что ты — Артур Скиннер! А ты — Джон Макнаб.

Скиннер, все еще не пришедший в себя, изо всех сил пытается улыбнуться и кивнуть.

Идеальный дворецкий. Человек, который может все.

Скиннер улыбается и кивает.

Даже дурачить заезжих журналистов. Ох, Джон, Джон, Джон! Можно я буду звать тебя Джон?

Скиннер улыбается и кивает.

Нет, ну я, в общем, догадывался. Ведь это была такая карикатура! Бухгалтерские книги — кеджери — помои. Как я только не расхохотался!

Скиннер. Тебе, может быть, и смешно. Но кто-то же должен вести бухгалтерию. Кто-то же должен отделить кеджери от помоев.

Кочетов (*окружающим*). Послушайте его! Он так точно понимает этот тип!

Скиннер. Но ты же не думаешь, что он *хочет* быть этим типом? Он его терпеть не может! Он бы с удовольствием поменялся местами с кем-нибудь из этих, сидел бы целый день, книжки сочинял. Он бы даже с Макнабом поменялся!

Кочетов. Он тебе завидует?

Скиннер. Что? Мне? (*Видит свой зеленый фартук.*) Да! Мне! Он бы поменялся местами со мной!

Макнаб. Еще один.

Скиннер. И еще как поменялся бы! А то нет! Никакой ответственности. Никаких забот. Ничего не нужно делать, просто шляйся весь день по дому с ведром помоев. Я даже ведро держу так, что это действует Скиннеру на нервы.

Кочетов. Почему? Как ты его держишь?

Скиннер. Где оно?

Макнаб берет с буфета и приносит ведерко для шампанского и грабли и вручает их Скиннеру.

Ничего не делаешь, только развлекаешься с ведрами и лопатами и доводишь бедного Скиннера. Как в школьные годы!

Макнаб. Тогда ступай, Макнаб, убирать навоз.

Скиннер. Я захожу в эту дверь... (*Изображая Макнаба.*) Никогда не поставлю ведро, чтобы дверь закрыть. Ни в жизни. Задираю ногу, как кобель на фонарь, и лягаю дверь своим грязным сапогом. И иду, мотая ведром, вразвалочку, как будто я тут хозяин. Я как-то так особенно повожу плечами, одно это уже оскорбительно.

Дипинг и Блайтон смеются и аплодируют.

Макнаб. Это еще что?

Уинн. Это вы!

Кочетов. Это — он? (*Указывая на Макнаба.*)

Уинн. То есть он. (*Указывает на Скиннера.*)

Дипинг. Он так хорошо себя изображает.

МАКНАБ (*невольно улыбаясь*). Да никогда он так не расхаживает.

УИНН, ДИПИНГ и БЛАЙТОН (*хором*). Точно так! Именно так!

СКИННЕР. Каждое мое слово — это издевательство. (*Изображая Макнаба.*) Точно, мистер Скиннер. Да это ведро кеджери, мистер Скиннер. И да, мистер Скиннер, и нет, мистер Скиннер, и три ведра, мистер Скиннер, и наплевать на все с высокой горы.

МАКНАБ (*доволен*). Гляди-ка, а у него вышло.

КОЧЕТОВ. И ты шотландец!

СКИННЕР. Я самый доподлинный шотландец. Твердолобый, как гранит. Неприступный, как скала. Колючий, как чертополох. Но могу снизойти и утащить, что плохо лежит. Еще как могу! (*На ходу берет чей-то стакан и допивает виски.*) Я не гордый, я сую свой нос во все, что меня не касается. (*Мимоходом открывает папку с рукописью Дипинга.*)

МАКНАБ (*доволен*). Ну, разве не хорош!

СКИННЕР. Да, нынче я хорош! Да еще старый зеленый фартук на мне! Теперь меня не удержишь! (*Идет к правой двери.*) И до чего же я ушлый мужик! Все это время, под носом у бедняги Скиннера, краду... (*Он замирает, понимая.*) Зеленые суконные фартуки!

КОЧЕТОВ. Что? Что?

СКИННЕР. Каждый раз, когда я выхожу, на мне фартук. А когда возвращаюсь, его нет. (*Поворачивается к Макнабу с обвинительным выражением лица.*) Зеленые суконные фартуки! Вот что я краду!

МАКНАБ. Да, нынче его не проведешь!

ДИПИНГ. Еще бы!

УИНН. Еще бы!

БЛАЙТОН. Но это так прекрасно!

КОЧЕТОВ. Воруешь, да, Макнаб?

СКИННЕР (*в изумлении глядя на фартук*). Две дюжины было. И ушли, прямо на глазах у Скиннера!

КОЧЕТОВ (*Тришe*). Какой типаж!

СКИННЕР. Вот оно! Вот как он живет! Фартуки и цепочки от бачков. Ведра и шарики для пинг-понга. Все уходит... (*Следит глазами за воображаемым продвижением фартуков от левой двери к правой.*) ...через парадную дверь и поминай как звали! Слушайте! Слушайте! (*Запрыгивает на сундук.*) Я хочу сказать, что сегодня счастливейший день в моей жизни! Два часа назад мы все так боялись! Чего мы боялись?

Вдалеке слышен глухой стук. Все, кроме Кочетова и Триши, застывают.

КОЧЕТОВ. Чего? Чего?
ТРИША. Там кто-то пришел...
БЛАЙТОН (*мрачно*). Вот этого мы и боялись.
КОЧЕТОВ. Что кто-то придет?
МАКНАБ. Проверяющий.
КОЧЕТОВ. Какой проверяющий?
СКИННЕР. Ревизор.

Вдали снова слышен стук в дверь.

КОЧЕТОВ. Ревизор? Сюда? Но ведь это замечательно! Он увидит этот счастливый дом — он вручит всем ордена! Впустите его!
СКИННЕР (*с двусмысленной интонацией*). Впустить!
КОЧЕТОВ. Не волнуйтесь! Я все улажу! Я ему все расскажу! Как мы счастливы! Братство Семерых! Все расскажу!
БЛАЙТОН (*тронута*). О, Володя! Мы могли бы пожениться! Я могла бы писать книжки для детей! Я всегда хотела писать для детей!
КОЧЕТОВ (*Скиннеру*). Надо его впустить!
ВСЕ ВМЕСТЕ (*Скиннеру, радостно*). Надо его впустить!

Скиннер собирается слезть с сундука.

КОЧЕТОВ. Стой! (*Быстро собирает пустые бутылки.*) Даже в раю...

СКИННЕР спрыгивает с сундука и уходит в правую дверь. Все смотрят ему вслед, в то время как Кочетов открывает сундук.

...покойников надо прятать! (*Бросает бутылки в сундук, закрывает крышку и садится на нее, потом понимает, что увидел.*)

А остальные понимают, что он сказал, и поворачиваются к нему.

Занавес

Уильям Батлер Йейтс

Портрет работы Джона Сарджента

Григорий Кружков

“*Серебряный налив луны* / И *солнца золотой налив*”

Из опыта переводов У. Б. Йейтса

> Нет, быть может, ничего, что подводило бы нас ближе к созерцанию существа поэзии, чем работа над переводами стихов или пусть лишь вдумчивая оценка такой работы.
>
> В. Вейдле *О непереводимом*

Поэты редко рассказывают о своей работе над стихами. То есть общих высказываний сколько угодно, даже в поэтической форме; возьмем, например, “Ремесло” Анны Ахматовой: “Бывает так: какая-то истома; / В ушах не умолкает бой часов...” и так далее, вплоть до концовки: “Тогда я начинаю понимать, / И просто продиктованные строчки / Ложатся вдруг в открытую тетрадь”.

Понятно? Понятно, что простым смертным понять этого не дано. Вернее, с них достаточно знать: поэт настроился на некую волну, и Муза ему продиктовала. Всё.

Я припоминаю лишь один, и то сомнительный, случай, когда поэт подробно и поэтапно поведал нам историю стихотворения: это эссе Эдгара По “Философия творчества”. В нем поэт рассказывает, как был сочинен знаменитый “Ворон”: он поставил себе задачу написать шедевр, и далее каждый его шаг, каждое действие с математической непреложностью вытекало из предыдущего. Эссе очень интересное, но в какой степени это правда, а в какой – мистификация, судить трудно.

Совершенно ясно, почему поэты – за исключением Эдгара По – не оставили нам достоверных отчетов о том, как у них рождались стихи. Это было бы профанацией тайны. Нечто вроде пресловутого “сеанса черной магии с полным ее разоблачением”.

Правда, есть еще черновики, наброски, планы. По пушкинским черновикам мы можем иногда проследить мучительный поиск гениального эпитета: он явился поэту не сразу – слово

© Григорий Кружков, 2015

зачеркнуто, над ним написано другое, и это тоже зачеркнуто, и еще одно, и еще... Страшно интересно; и в то же время неловко, как будто мы заглядываем куда-то, куда нам не положено.

Но перевод стихов — иное дело. Перевод не кажется нам чем-то сакральным; он, по определению, замешан на рациональных дрожжах, включает в себя предварительный анализ стихотворения, разъятие музыки на части, проверку алгебры гармонией и так далее. Правда, в конечном счете, разъятые части надо снова сложить и проговорить над ним некоторое заклинание, чтобы оно ожило. Иначе — труп или еще хуже: механический кадавр. Так что, в конце концов, успешный перевод тоже некоторым образом чудо. Но еще и наука, и ремесло, и, если угодно, задача, которую нужно решить. Задача, распадающаяся на целую серию задач.

Тут нет общих правил; каждый случай — отдельный. Каждое переведенное стихотворение — приключение с неизвестным финалом. Мне всегда казалось, что если бы переводчик рассказал историю перевода книги стихов своего любимого поэта, то получилась бы еще одна книга, не совсем обычная, но, может быть, небезынтересная для любителей поэзии. Я мог бы, например, рассказать о своей более чем тридцатилетней работе на стихами Уильяма Батлера Йейтса. У меня сохранилась старая, вручную переплетенная тетрадь, в которую я когда-то вписывал свои переводы, исправлял их и вклеивал новые варианты поверх старых. И более новые — поверх новых... и так далее, нередко до пяти-шести слоев; так что тетрадь порядочно распухла. Впрочем, на целую книгу рассказов пороху не хватит, но некоторыми сюжетами могу поделиться.

1. “На *мотив* Ронсара”

When you are old and grey and full of sleep... Это одно из самых известных ранних стихотворений Йейтса. Оно является переработкой сонета Пьера Ронсара “Quand vous serez bien vieille” из его “Сонетов к Елене” (1578): “Когда, старушкою, ты будешь прясть одна...”. Но Йейтс заимствует из этого сонета лишь первые две строки и саму идею — возлюбленная поэта в старости перечитывает его стихи; дальше он трактует тему совершенно иначе. Заключение у Ронсара нравоучительное:

> Не презирай любовь! Живи, лови мгновенья
> И розы бытия спеши срывать весной[1].

1. Перевод В. Левика.

А у Йейтса оно кончается печальным вздохом об ушедшей любви.

When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

Уже в первой строфе мне встретилась первая сложность. "Когда ты, старая, седая и сонная, будешь клевать носом у очага, открой эту книгу и читай, не торопясь, и пусть тебе пригрезится нежный взор, которым когда-то светились твои глаза, и глубокие тени этих глаз".

Иначе говоря, поэт предлагает своей даме в будущем — когда она станет старухой — представить собственный нежный взгляд, каким он был встарь, увидеть свои глаза глазами смотревшего на нее влюбленного. Передать впрямую столь сложный ход, учитывая ограниченность стихового пространства и неповоротливость русского синтаксиса, практически невозможно. Пришлось "связывать концы", привлекая авторский контекст. Мы знаем, что эти стихи, как и множество других стихов того времени, написаны для Мод Гонн и доми-

Мод Гонн

нанта всех этих стихов — ее красота — воплощение вселенской скорби, источник бесконечного горя для поэта. Bitter (горький) или mournful (скорбный) — постоянные эпитеты Йейтса. Например, в "Печали любви": "Возникла дева с горькой складкой рта / В великой безутешности своей..."

Так возник вариант перевода: старуха читает стихи и ощущает их горечь, причиной которой была она сама, ее красота:

Когда ты станешь старой и седой,
Припомни, задремав у камелька,
Стихи, в которых каждая строка,
Как встарь, горька твоею красотой.

Вторая строфа тоже представляет трудности, особенно концовка. "Многие любили тебя, когда ты была весела и беспечна (именно так лучше всего трактовать "moments of glad grace"), и любили тебя любовью истинной или притворной; но лишь один любил скитальческую душу в тебе и любил печали твоего меняющегося лица".

Последняя фраза, переведенная в лоб, звучит довольно неуклюже, но смысл внятен. Особенно, если вспомнить фетовское:

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица.

"Ряд волшебных изменений милого лица" — это и есть русский ключ к пониманию йейтсовского "the sorrows of your changing face". Даже "свет ночной, ночные тени, тени без конца" тоже отзываются у Йейтса, когда он говорит о тенях в глазах любимой: "of their shadows deep".

Главный образ второй строфы, безусловно, "скитальческая душа". Но тут нужно учесть, что "the pilgrim soul in you" — не просто неприкаянная, скитальческая душа со всеми ассоциациями, которые сюда входят (одиночество, изгойство и так далее). Йейтс верил в метемпсихоз — древнюю пифагорейскую теорию переселения душ. Душа Мод Гонн, по его убеждению, прошла через много земных воплощений (может быть, она когда-то принадлежала Елене Троянской); свою красоту и страдальческий свет она скопила в этих своих перерождениях. Во вставной песне из пьесы "Последняя ревность Эмер" Йейтс писал:

Женская красота — словно белая птица,
Хрупкая птица морская, которой грустится
На незнакомой меже среди черных борозд:
Шторм, бушевавший всю ночь, ее утром занес
К этой меже, от океана далекой,
Вот и стоит она там, и грустит одиноко
Меж незасеянных жирных и черных борозд.

Сколько столетий в работе
Душа провела,
В сложном расчете,
В муках угла и числа,
Шаря вслепую,
Роясь подобно кроту, —
Чтобы такую
Вывести в свет красоту!

Странная и бесполезная это вещица —
Хрупкая раковина, что бледно искрится
За полосою прибоя, в ложбине сырой;
Волны разбушевались пред самой зарей,
На побережье ветер накинулся воя...
Вот и лежит она — хрупкое чудо морское —
Валом внезапным выброшенная перед зарей.

Кто, терпеливый,
Душу пытал на излом,
Судеб извивы
Смертным свивая узлом,
Ранясь, рискуя,
Маясь в крови и в поту, —
Чтобы такую
Миру явить красоту?

Вот что значит “скитальческая душа”, которую видел Йейтс в своей Мод Гонн. Увы, легко это знать; но в стихи вмещается столько, сколько удается в них вместить. Главный образ я все-таки передал, а вот печали, пробегающие изменчивыми тенями по лицу, — ушли; вместо них осталось лишь одно русское слово “тоска”:

...Но лишь один любил и понимал
Твою бродяжью душу и тоску.

Потеря тяжела, но зато русские слова свободно себя чувствуют в этих строках, не задыхаются от тесноты, не толкаются

локтями. Справедливо писал Аркадий Гаврилов, замечательный переводчик Эмили Дикинсон: “Перевод английского стихотворения на русский можно уподобить перекладыванию персиков из одной корзины в другую – меньших размеров. Можно втиснуть все или почти все персики, но они помнутся. Вероятно, лучше иметь 70 целых персиков, чем 100 смятых. Это сравнение относится к образной системе (один образ – один персик), но не к смыслу и духу. Дух у 70 целых персиков тот же, что и у 100. А вот у смятых персиков дух другой, так они сразу же начинают портиться”.

Перейдем к третьей строфе; тут возникает проблема, пожалуй, самая сложная. “И клоня голову возле раскаленной решетки (камина) прошепчи, вздохнув, что Амур улетел, прошагал по вершинам гор и скрылся среди сонма звезд”.

“Love” с большой буквы по-английски означает “Амур”. При этом слове у нас возникает один из двух образов: либо пухлый малыш с луком и стрелами, резвящийся у ног своей матери Венеры, либо прекрасный юноша, прилетавший к Психее под покровом ночи: любовь Амура и Психеи запечатлена в бесчисленных картинах и скульптурах от античности до конца XIX века. Но употребить слово “Амур” в этом стихотворении по-русски невозможно: оно сразу приобретает какой-то жеманный и искусственный оттенок, которого в оригинале нет. Все дело в том, что “Love” по-английски далеко не то, что “Cupid” (Купидон). Смысл этого слова колеблется между “любовью” и “Амуром” и часто означает скорее некое олицетворение любви, чем античного божка с крылышками. Пример – стихотворение Джеймса Джойса из цикла “Камерная музыка”:

Strings in the earth and air
Make music sweet;
Strings by the river where
The willows meet.

There’s music along the river
For Love wanders there,
Pale flowers on his mantle,
Dark leaves on his hair.

All softly playing,
...With head to the music bent,
And fingers straying
...Upon an instrument.

Конечно, эту бродящую над рекой фигуру, закутанного в мантию, невозможно отождествить с античным Амуром; она

скорее напоминает задумчивую Музу, играющую на лире или на кифаре. Отсюда и перевод:

Есть воздуха струны
И струны земные,
Глубокие струи,
Где ивы речные.

Там бродит Любовь
Среди сумерек мглистых,
На мантии темной
Увядшие листья.

Играет, играет,
Томясь и тоскуя...
И пальцы блуждают
По струнам вслепую.

Итак, переводить "Love" как "Амур" вовсе не обязательно. Допустим, мы переводим его как "Любовь" с большой буквы. Что дальше? Любовь, которая проходит по вершинам гор и скрывается среди звезд, — в оригинале это получается (из-за того, что по-английски у нее есть антропоморфный двойник), а по-русски — никак. Нужна замена, но какая? Спросим себя: в чем смысл этого образа? В том, что любовь возвращается в свою небесную отчизну. Не так ли герои греческих мифов возносились на небо и превращались в бессмертные звезды? В последней строфе старушка засыпает, глядя на догорающий в очаге жар. Не естественно ли ей представить любовь, как искру, улетающую с земли, чтобы затеряться среди сонма звезд?

Так рождается русская версия стихотворения:

На *мотив* Ронсара

Когда ты станешь старой и седой,
Припомни, задремав у камелька,
Стихи, в которых каждая строка,
Как встарь, горька твоею красотой.
Слыхала ты немало на веку
Безумных клятв, безудержных похвал;
Но лишь один любил и понимал
Твою бродяжью душу и тоску.
И вспоминая отошедший пыл,
Шепни, к поленьям тлеющим склонясь,

Что та любовь, как искра, унеслась
И канула среди ночных светил.

Примечание. Выше я сказал, что “Любовь, которая проходит по вершинам гор и скрывается среди звезд”, — по-русски не получается. Но у Владимира Набокова получилось. Неизвестно, перевел ли он стихотворение целиком, но эта строфа, набранная в строку, появляется в конце его берлинской рецензии на сборник стихов Сергея Кречетова[1], где он критикует “хореический лепет”, в который превратил переводчик заключительную строфу Йейтса. Перевод самого Набокова, если напечатать его, как должно, в столбик, таков:

И у огня склонясь, шепни уныло —
О том, как унеслась любовь и там —
Вверху — прошла, ступая по горам, —
И в сонме звезд лицо свое сокрыла.

2. “*Песня скитальца Энгуса*”

Это стихотворение основано на ирландской сказке “Белая форель”, в которой пойманная форель превращается в девушку. Сам Йейтс говорил еще о греческой народной песне, которая послужила ему источником; впрочем, сюжет универсальный. Энгус — бог ирландских мифов, которого во времена Йейтса считали покровителем любви (Master of Love), а также обычное ирландское имя. Так что здесь есть нарочная двусмысленность. В первой публикации Йейтс назвал стихотворение “Песня безумца” (“A Mad Song”).

The Song of Wandering Aengus

I went out to the hazel wood,
Because a fire was in my head,
And cut and peeled a hazel wand,
And hooked a berry to a thread;
And when white moths were on the wing,
And moth-like stars were flickering out,
I dropped the berry in a stream
And caught a little silver trout.

1. В. В. Набоков. Русский период // Собр. соч. в 5 тт. — Т. 1. — СПб.: Симпозиум, 200. — С. 745. Впервые: газета “Руль”, 17.12.1922.

When I had laid it on the floor
I went to blow the fire aflame,
But something rustled on the floor,
And some one called me by my name:
It had become a glimmering girl
With apple blossom in her hair
Who called me by my name and ran
And faded through the brightening air.

Though I am old with wandering
Through hollow lands and hilly lands,
I will find out where she has gone,
And kiss her lips and take her hands;
And walk among long dappled grass,
And pluck till time and times are done
The silver apples of the moon,
The golden apples of the sun.

Начало: “Я вышел в орешниковый лес, потому что огонь пылал в моей голове; срезал и очистил от коры орешниковый прут и нацепил ягоду на леску. И когда белые мотыльки вились в воздухе и звезды, подобные мотылькам, гасли, я забросил удочку в реку и поймал маленькую серебристую форель”.

Несмотря на простоту этой строфы, она мне долго не давалась. В ранних вариантах было и “Я вышел в лес, где рос орех...” (попытка буквализма), и “Огнем пылала голова, когда в орешник я вступил...”). Но нет, начало должно быть простым и легким, без фокусов с синтаксисом, ведь “I went out” — традиционный зачин народной песни. Но как не потерять спецификации леса? Ведь орешник — особое дерево, магическое, и у Йейтса часто бывает атрибутом бога любви. Решение пришло не раньше, чем я заметил в слове “hazel” просвечивающее сквозь него слово “haze” (дымка, мгла). Значит, и мудрить нечего. “Я вышел в темный лес ночной...” — звучит именно так, как нужно. А какой это лес, станет ясно в третьей строке: ведь орешниковый прут можно найти только в орешнике.

Вторая строфа: “Я положил ее на пол и пошел разжечь огонь; но что-то прошуршало по полу и кто-то меня окликнул по имени. Оказалось, что это была мерцающая девушка с цветком яблони в волосах; она окликнула меня и скрылась в светающем воздухе”.

“Apple blossom” у Йейтса — атрибут Мод Гонн; всякий раз, когда в его стихах появляется яблоневый цвет, речь идет о ней. Это связано с его самым первым впечатлением, когда он встретил ее в Лондоне: “Ее лицо было нежным, как яблоневый

цвет, а все черты являли такую красоту, которую Блейк назвал высшей красотой, ибо она не терпит ущерба от времени...”

В третьей строфе проблему представляет, прежде всего, концовка. Знаменитые последние строки, которые в англоязычном мире растащены на эпиграфы и заголовки, но которые очень трудно перетащить на русский с сохранением стихотворного размера подлинника (четырехстопного ямба). “The silver apples of the moon, the golden apples of the sun”. “Серебряные яблоки луны, золотые яблоки солнца”. Считайте сами: “серебряные” — это уже две с половиной стопы; в оставшиеся три слога “яблоки солнца” — ну никак не влезают.

Однажды, будучи по делу у Владимира Владимировича Рогова (речь шла как раз о переводах Йейтса), я обмолвился, что, хотя стихотворение про Энгуса еще не перевел, но уже придумал вариант концовки:

Серебряный налив луны
И солнца золотой налив.

Немедленно переводите все целиком, иначе я у вас это украду, пригрозил Рогов.

Я вернулся домой и с перепугу закончил перевод. Закончил и послал по почте Рогову. Ответ пришел в форме поздравительной телеграммы (до сих пор храню). Правда, потом вдогонку приехало письмо с множеством замечаний... Разумеется, я не раз правил текст и до сих не всем там доволен, но последняя строфа, по-моему, звучит чисто, и концовка убедительная.

Песня *скитальца Энгуса*

Я вышел в темный лес ночной,
Чтоб лоб горящий остудить,
Орешниковый срезал прут,
Содрал кору, приладил нить.
И в час, когда светлела мгла
И гасли звезды-мотыльки,
Я серебристую форель
Поймал на быстрине реки.

Я положил ее в траву
И стал раскладывать костер,
Как вдруг услышал чей-то смех,
Невнятный тихий разговор.
Предстала дева предо мной,
Светясь, как яблоневый цвет,

Окликнула – и скрылась прочь,
В прозрачный канула рассвет.
Пускай я стар, пускай устал
От косогоров и холмов,
Но чтоб ее поцеловать,
Я снова мир пройти готов,
И травы мять, и с неба рвать,
Плоды земные разлюбив,
Серебряный налив луны
И солнца золотой налив.

Примечание. Один из коллег, услышав мой перевод, попытался в своем варианте его усовершенствовать таким образом: “Луны серебряный ранет и солнца золотой шафран”. Но мне кажется, что это совсем не то: упоминание конкретных садовых сортов уничтожает ту атмосферу языческой фантазии, сказочности, которая необходима для этого сюжета. В том-то и дело, что “налив” здесь не сорт яблок, а состояние зрелости, насыщенности цветом и светом: “яблоко дозрело до золотого налива”...

3. “*Озерный остров Иннишфри*”

The Lake Isle of Innisfree

I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made;
Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee,
And live alone in the bee loud glade.

And I shall have some peace there, for peace comes
dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the
cricket sings;
There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet’s wings.

I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart’s core.

Когда я в первый раз попробовал перевести это стихотворение (много лет назад), я еще не знал мудрого завета Анато-

лия Гелескула: чтобы было “так”, надо, чтобы стало иначе, — и перевел первую строку как можно ближе к ритму Йейтса и почти дословно: “Вот встану и пойду я, пойду на Иннисфри...” Через пару лет я прочел в книге перевод Андрея Сергеева, который начинался так:

Встану я и пойду, и отправлюсь на Иннисфри...

Почти то же самое, да не то. Небольшое изменение ритма, и интонация полностью поменялась. Вместо легкого, почти плясового размера (у меня) — торжественная поступь строки. Подумав, я понял, почему Сергеев сменил ритм. I will arise and go — выражение, взятое из Библии, точнее из евангельской притчи о блудном сыне: “Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему...” (Лк. 15:18–20).

По свидетельству самого Йейтса, стихотворение написано им в Лондоне, когда, проходя по улице мимо какого-то магазина, в витрине которого для привлечения покупателей журчал маленький водопад, он вдруг вспомнил озеро близ Слайго, куда он любил уходить в своих одиноких прогулках, островок на озере, где он мечтал поселиться. И эти мальчишечьи мечты среди суеты и забот большого города, в которые он сам погрузился с головой, — начинающий поэт, с трудом прокладывающий себе дорогу в литературе, — эти мечты снова прихлынули в его сердце, и он написал эти стихи — стихи-воспоминание — обещание верности, начинающиеся библейскими словами: I will arise and go now...

Но передается ли этот смысл зачином сергеевского перевода: “Встану я и пойду...” Боюсь, что не совсем; в силу двух причин. Во-первых, читатели, для которых писал Йейтс, были намного более начитаны и наслышаны в Священном Писании, они мгновенно узнавали аллюзию в этой строке; среди русских читателей, думаю, не каждый и не сразу ее узнает. Во-вторых, английский перевод Библии стилистически отличается от русского в сторону большей простоты и разговорности. Потому-то английская строка с повторенным два раза глаголом “go” звучит легко и напевно, а строка Сергеева — торжественно, чтобы не сказать тяжеловесно, и все стихотворение приобретает совершенно другой, тяжеловатый, ритм и тон.

Передо мной встала задача — перевести не слова, а суть этого одного из самых популярных и самых мелодичных стихотворений Йейтса, оттолкнуться от того смысла и ситуации, ко-

торые вдохновили поэта. Противопоставление города природе, контраст "серой мостовой" и свежей волны, плещущейся в берег, — понятный мотив. Так же, как противопоставление торных мирских дорог — творческому одиночеству. Сравните у Китса сонет "К Одиночеству":

Уж если жить, с тобою дни деля, —
Расстанемся с неволей городской!
Уйдем туда, где с кручи над рекой
Свободно открывается земля...[1]

И в своем комментарии к стихотворению, и в юношеском биографическом романе "Джон Шерман" Йейтс подчеркивает внезапность того нахлынувшего на него воспоминания, которое дало толчок стихотворению. Как будто человек спал — и вдруг проснулся. Ощутил неправедность, неправильность своей жизни (как блудный сын в притче). Понял, что он заблудился здесь, на серых мостовых, в плену огромного, сумрачного города, — и как будто стряхнул с себя какой-то тяжелый сон. Так возникли первые строки нового перевода:

Я стряхну этот сон — и уйду в свой озерный приют,
Где за тихой волною лежит островок Иннишфри...

Изменился и размер — с ямба на анапест. Тем самым я избавился от последней привязи, которая делала мой перевод деревянным. Как будто не только Йейтс стряхнул морок большого города, но и я стряхнул с плеч морок буквальности, разом уничтожил все барьеры между собой и прежде сокровенной от меня душой стихотворения, тем, что лежит за текстом.

Неожиданно начало моего перевода оказалось в перекличке с другим стихотворением Йейтса "В сумерки" ("Into the Twilight"), в котором поэт призывает свое сердце разорвать сети добра и зла, освободиться из их скучного плена:

Out-worn heart, in a time out-worn,
Come clear of the nets of wrong and right...

Дряхлое сердце мое, очнись,
Вырвись из плена дряхлых дней!..

1. Перевод Б. Дубина.

Ведь поэзия — это и есть пробуждение от “дневного сна”. Того самого, о котором Эдгар По сказал:

Ах, что мне в том, что видно днем?
Не все ли это сон
Тому, чей взор всегда в былом,
Печалью освещен?

А Мандельштам не зря же написал:

Народу нужен стих таинственно родной,
Чтоб от него он вечно просыпался...

Тут я исходил из того, что писали классики перевода о “неточной точности”, о тех отклонениях от оригинала, которые возможны и оправданы, если основаны на анализе самого широкого контекста — в данном случае даже не только всего творчества поэта, но и той романтической традиции, к которой он подключен.

По моему опыту, перевод происходит следующим образом. Переводчик вглядывается в оригинал — так пристально и долго, пока стихотворение не займется внутренним теплом, не разогреется, как печка, пока оно полностью не развоплотится, не дематериализуется, перейдя в состояние пламени и света. Возможно, это происходит по формуле Эйнштейна $E=mc^2$ (хотя я и не уверен). Вглядываясь в этот свет, в это печное пламя, вернее, вглядываясь в то, что там, за светом и пламенем, переводчик заново находит слова и воплощает стихотворение в плоть родного языка (энергия вновь переходит в материю).

В итоге, у меня получилось такое стихотворение:

Озерный остров Иннишфри[1]

Я стряхну этот сон — и уйду в свой озерный приют,
Где за тихой волною лежит островок Иннишфри;
Там до вечера в травах, жужжа, медуницы снуют,
И сверчки гомонят до зари.

Там из веток и глины я выстрою маленький кров,
Девять грядок бобов посажу на делянке своей;

1. Я выбрал ирландское произношение для слова “остров” — “инниш”. Ср. с островами Инишмор, Инишмаан, и т. д.

Там закат — мельтешение крыльев и крики вьюрков,
Ночь — головокруженье огней.

Я стряхну этот сон — ибо в сердце моем навсегда,
Где б я ни был, средь пыльных холмов или каменных сот,
Слышу: в глинистый берег озерная плещет вода,
Чую: будит меня и зовет.

4. *Скромный кролик*

И в заключение — пример парадоксальный (и смешной). Переводил я однажды стихотворение раннего Йейтса "To an Isle in the Water" ("На остров среди моря") и замучился с последней строфой:

Shy as a rabbit,
Helpful and shy.
To an isle in the water
With her would I fly.

То есть "Скромная, как кролик, послушная и скромная, на остров среди моря я с ней бы улетел".

Что ты будешь делать с этим кроликом! В общем, бился я, бился... Пока не обнаружил, что эта строфа уже была переведена на русский язык... двести лет назад! Вот так:

Натура! я тебе подобен,
Я вольно чувствовать хочу;
Как скромный кролик, я незлобен,
И вслед любви везде лечу.

Откуда это? — Из комедии кн. Шаховского "Новый Стерн", в которой автор пародирует Карамзина.

Впечатленный, я забраковал свой перевод этого стихотворения и больше его нигде не печатал.

Уильям Батлер Йейтс

Из новых переводов

Перевод с английского Григория Кружкова

Роза Мира

Когда б Архангел Михаил,
Водитель Божьих сил,
Глаза с небес к тебе склонил,
Он бы про меч забыл;

Забыл бы он свой долг и пост
И спор Добра и Зла,
Чтоб свить венок из ярких звезд
Для твоего чела.

Тогда, увидев, как тебя
Земля и Небо чтят,
Народы, благо возлюбя,
Вошли бы в Божий град.

На свете стихла бы вражда,
Господь простер бы Длань —
И усмирилась навсегда
Небес и Ада брань.

Песни старой матери

Что ни день мне вставать до зари и опять,
На коленях елозя, огонь раздувать,
И мести, и скрести, и стряпать еду,
Когда ветер последнюю гасит звезду.
А дочки спят долго в постелях своих
И грезят о шляпках и лентах цветных,
И бродят без дела весь день напролет,
Вздыхая, коль ветер им локон помнет.
А я тружусь, потому что я мать,
И огонь в очаге все трудней раздувать.

© Григорий Кружков. Перевод, 2015

Призрачный рой

О'Дрисколл гулял ввечеру
У топких речных берегов —
И селезня с уткой спугнул
Из темных густых тростников.

Давно уж закат отгорел,
А он все бродил там в мечтах
О Бриджет, невесте своей,
О длинных ее волосах.

Вдруг слышит он дудку вдали —
Там кто-то играл средь полей,
И не было песни грустней,
И не было веселей.

Увидел он дев и парней,
Плясавших средь луга кольцом,
И Бриджет была среди них
С веселым и грустным лицом.

Они окружили его,
Любезную речь завели —
И красного в кружке вина
И хлеба ему поднесли.

Но Бриджет его увела
Туда, где в тени под горой
Сидели кружком старики,
Картежной увлекшись игрой.

Был весь этот призрачный рой
Зыбучим, подобно волне;
Он сел к старикам и играл,
Сидел и играл, как во сне.

Он карты тянул и метал,
От них оторваться не мог, —
Пока его Бриджит с собой
Какой-то плясун не увлек.

Из круга ее он унес,
Как муху уносит паук,
И струи девичьих волос
Текли у него между рук.

О'Дрисколл колоду швырнул,
Очнулся от вязкого сна;
Виденье исчезло, как дым,
Над лугом всходила луна.

И дудка играла вдали,
Играла вдали средь полей,
И не было песни грустней,
И не было веселей.

Отшельник Рибх у могилы Байле и Айллин

Вы встретили меня во тьме ночной
С раскрытой книгой в старческих руках:
Не удивляйтесь — я вам объясню;
А вы ступайте, расскажите тем,
Кто не видал сей головы обритой
И голоса не слышал моего,
Надтреснутого старостью. Не стану
Рассказывать о Байле и Айллин —
Вы знаете их горестную повесть
И то, как тис и яблоня сплелись
Над их могилой; расскажу иное.

Чудесная их смерть преобразила
Тела их — кости, мясо, сухожилья —
В явленья чистой сущности; при встрече
Таких влюбленных нет ни буйных ласк,
Ни радости мучительной, но сразу
Одно сливается с другим всецело,
Ведь ангелов совокупленье — свет.

Здесь, в этой темноте, где породнились
Тис с яблоней, в их годовщину смерти,
В их годовщину первого объятья,
Любовники, трагической кончиной
Очищенные от всего земного,
Спешат в объятия друг друга. Пусть
Мои глаза не молоды, но травы,
Молитвы и целебный ключ придали
Им пристальность — я вижу этот свет.
Он, сквозь листву процеживаясь, кругом
Ложится на траву; при этом свете
Читаю я свою святую книгу.

Робер Деснос

Из книги "Когда художник открывает глаза"

Перевод с французского и вступление Сергея Дубина

От переводчика

В самое ближайшее время в московском издательстве "Grundrisse" выходит сборник статей об искусстве французского поэта Робера Десноса. Составил его мой отец, Борис Дубин, но внезапная смерть в августе прошлого года не позволила ему взяться собственно за перевод — а он давно мечтал объемно представить вот такого, "искусствоведческого", Десноса, пару работ которого раньше уже переводил.

Эти работы вписываются в русло чрезвычайно богатой и очень значимой во Франции традиции взаимопроникновения живописи и поэзии. Художники создавали самобытные и уникальные иллюстрации поэтических книг, зачастую отрывавшиеся от текста и вдохновлявшиеся скорее духом, нежели буквой стихов. Поэты же, со своей стороны, пытались — и необязательно "симметрично", в пандан к проиллюстрировавшим их художникам — осмыслить суть художественного образа, природу искусства. В России аналогичная традиция, несмотря на первоклассную школу книжной графики, не сложилась — по крайней мере, равная по масштабу французской, — да и западная во многом остается известной лишь узкому кругу посвященных. Расширить этот круг как раз и пытался отец: литературной составляющей этого бинома были посвящены его многочисленные журнальные публикации, а также подготовленный и переведенный им сборник "Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве" (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2005). В этом смысле чрезвычайно отрадно было увидеть зимой прошлого года в Музее частных коллекций Пушкинского музея выставку "Сюрреализм и livre d'artiste", своего рода "ответную реплику" художников.

Хотя об искусстве во Франции писали Бодлер и Малларме, а из прозаиков — Золя и Пруст, — выкристаллизовалась и приобрела свой "окончательный" вид эта традиция в основном уже в XX веке и именно в рамках сюрреализма; как и во многом другом, Андре Бретон и его соратники были здесь не столько первопроходцами, сколько "синтезаторами" и популяризаторами (работы Бретона об искусстве, в частности, публиковались в "ИЛ", 1996,

© Сергей Дубин. Перевод, вступление, 2015

Полностью книга Робера Десноса выйдет в издательстве "Грюндриссе" осенью 2015 года.

№ 8). Деснос — человек по натуре страстный и увлекающийся; его рвение в сеансах "коллективных грез" сюрреалистов даже заставило Бретона обеспокоиться его душевным равновесием — с головой окунулся в эту стихию. Он писал об искусстве много — прежде всего о работах самих сюрреалистов, но не только — и с особым энтузиазмом — о кино: сначала восторженно, увидев в "седьмом искусстве" новую среду бытования так интересовавшего сюрреалистов "чуда повседневности", затем, по мере коммерциализации кино, со все большим разочарованием; так, резкое неприятие вызвали у него звуковые фильмы, разрушавшие, по его мнению, как раз эту самую магию. Лишнее свидетельство того, что писал Деснос поистине "как дышал" — работу над заметками об искусстве он продолжал и в подполье во время оккупации; некоторые из них вышли в свет, когда он уже был арестован как участник Сопротивления. Деснос прошел через несколько концлагерей и умер в Терезиенштадте от сыпного тифа через месяц после освобождения лагеря советскими войсками и чешскими партизанами.

Заметки Десноса об искусстве (Ecrits sur les peintres. — P.: Flammarion, 2011) и отдельно о кино (Les rayons et les ombres. Cinéma. — P.: Gallimard, 1992) во Франции собраны в увесистые тома. В сборнике "Grundrisse" и еще более сжатой настоящей выборке представлены наиболее важные, на наш взгляд, статьи; мы попытались нащупать его "болевые точки": сюрреализм, Ман Рэй, Пикабиа, Миро, Пикассо, поэзия и чувственность кино, американские комедии и киносериалы. И даже больше, чем конкретные имена и примеры (примечательно, как в одной из позднейших заметок он напишет о сюрреализме: "Меня интересует тут именно живопись, в целом же сами эти художники из рук вон плохи"), его занимала постоянно ускользающая природа искусства как такового — свою статью "Сюрреализм" он завершает вечным вопросом: "Что же такое живопись?".

Ман Рэй, или "Даже и не мечтайте"

ВСЕЛЕННУЮ мы познаем лишь при помощи чувств, испорченных предрассудками. В нашем видении мира, сводящемся к четырем стихиям, мы недалеко ушли от самых древних антропоидов: так слепые рыбы из глубин океана, наверное, складывают свою мифологию из ароматических водорослей, несмотря на весь тот пантеон богов, который человек силится вывести из бесплотной материи. В день, когда были разбужены наши чувства, мы провозгласили, что хаос рассеян, – но от этого его вокруг не стало меньше, и новый хаос уже не разделить на воду, воздух, землю и огонь. Нам не хватает еще стольких чувств. Покорение лишь одного из них способно перевернуть мир решительнее, чем изобретение очередной религии или внезапное наступление нового геологического периода.

Но даже после многих тысяч лет эти пять тонких рецепторов до конца нам так и не подвластны. От контроля, которому, по мнению людей, они подчиняют все вокруг, ускользают сны, по сути относящиеся к области зрения, — как и то, что мы называем оптическими иллюзиями (попробуйте-ка снять их на фотопленку!).

Один прославленный полководец приказал своим солдатам метить врагу поддых, другой указал на голову, а третий — на левое запястье. Поэту, впрочем, хорошо известно, что трупов раньше времени не бывает (все мертвые безымянны).

На мой взгляд, любые попытки отобразить то, что нас завораживает, исказят смысл мира, который предлагает мне Ман Рэй, ведь он открывает нам владения столь же осязаемые и бесспорно материальные, как свет, тепло или электричество.

Ман Рэй-художник ведет свои битвы на шахматной доске духа, а не в сфере банальной живописи. Он обдумывает легкое отклонение обелиска или изгиб шеи Марселя Дюшана. Спирали переплетаются подобно извилинам мозга, но никакая стрелка не последует попыткам спрямить их изгибы, чтобы указать на иллюзорного победителя лотереи или, что еще обманчивее, на точное время. Ман Рэй возникает меж двух подземных толчков и останавливает творение на апогее этого скачка, пока маятник не качнуло обратно к норме. Лица он схватывает в то мимолетное мгновение, что разделяет два их выражения. В своих картинах он не пытается отразить жизнь, но и смерти в них тоже нет места. Есть лишь остановка, пауза: Ман Рэй — живописец синкоп.

Ман Рэй-скульптор формулирует самые судьбоносные законы там, куда не добраться долотом. Он оставляет мрамор и гранит могилам, а глину — подошвам; для возведения его конструкций требуются материалы, определяемые чем-то бóльшим, чем просто сопротивлением людскому усилию. Физика тайн не различает хрупкость бумаги и устойчивость порфира. Если ей заблагорассудится, она наделит первую прочностью, а вторую — беспокойной подвижностью жидкостей. Призванная им сила тяжести превратит абажур в подобие пружины чувствительнее сейсмографа или самого точного флюгера, обреченного причудой метеоролога томиться в вакууме под безмолвным колпаком из хрусталя.

Ман Рэй-фотограф не стремится ни к художественной деформации, ни к рабскому воспроизведению “натуры”. Ваши лыски и выпучины откроют вам неведомое создание, которого вы не решались даже на мгновение представить в ваших снах. Новый “вы” явится на свет под осторожными руками химика в красных отсветах фотолаборатории. Выйдя на свежий воздух, он заморгает, подобно ночным птицам.

Ман Рэй... Люди еще не придумали слово, чтобы обозначить изобретенные им абстрактные "фотографии", в рискованные построения которых он затягивает солнечный спектр. Детьми мы "печатали" наши пятерни на альбуминной бумаге, подставленной солнцу. Используя этот же бесхитростный прием, он создает инопланетные пейзажи, открывая нашим взглядам хаос ошеломительнее всего того, что только способна показать нам Библия; чудо дает себя запечатлеть, не противясь, а на выявляющей невидимое бумаге проступает тревожный отпечаток большого пальца чего-то неведомого.

Сентиментальность, позорящая почти все, к чему прикасается человек, изгнана вон. Метафизическую тоску, без которой достоинство на этой земле немыслимо, вам подарит чуткий хлороформ. Отбросьте земные понятия, и вам откроется мир без широты и долготы, ютящийся на клочке той доступной лишь немногим бесконечности, которая служит самым трогательным оправданием, какое только наше время способно дать своей способности творить.

Подобно знаменитому монаху, который, позабыв о евхаристийных елеях, открыл предвестие грома в смеси серы и селитры, Ман Рэй не рассчитывает, не предсказывает результата своих манипуляций. Вслед за ним мы несемся по этим американским горкам плоти или чистого света, спускаясь по головокружительным склонам в поисках ключа к промелькнувшим мимо пещерам с сокровищами. Клоун в своем футляре из бумаги, что тяжелее свинца, издали подает нам сигналы. Но между срезов этого листа картона – как и повсюду, где нам вздумается, – мы держим чудо, гигантский водоворот, что уходит вглубь воронкой и дарит нам затягивающий в себя букет.

Однако мы не решаемся сгинуть в нем душой и телом, несмотря на настоятельные призывы нашего отражения на дне. Назавтра в газетах появится подробный рассказ о преступлении со всеми доказательствами: отпечатками пальцев и тюремными фото в фас и профиль. И все же будьте уверены: значение этих черных или цветных символов – букв и изображений – нам видится совсем иным.

1923

Эротика

ОДНОЙ из самых восхитительных составляющих кино – и одной из причин той ненависти, что питают к нему глупцы, – является эротика. Движения лучащихся во тьме мужчин и женщин не дают покоя нашей чувст-

венности. В наших мечтах их плоть становится реальнее тел живых, и, если на экране они отданы на милость самой бесповоротной судьбы, воображение чуткого зрителя затягивает их в чудотворное приключение, где возможно все. По своему воздействию на наш разум кинематограф превзойдет любой наркотик: никакой опий не сравнится с атмосферой такого параллельного сценария, когда присутствующие одновременно в мыслях и на экране события и поступки вспыхивают вдруг ослепительными точками соприкосновения этих двух миров.

Поцелуи всадниц на просторах саванн, мелькнувшее плечо танцовщицы, достойная проконсула могучая шея искателя приключений, белоснежная рука, тонкая и длинная, "скользящая к письму" или к револьверу — и особенно глаза, невыносимо прекрасные в таинственном мерцании проектора, — в вас воплощается пропитывающая фильмы "любовь". Как кавалькада ковбоев выматывает зрителя, так и пульсирующая на экране жизнь до предела возбуждает воображение. Среди толпы персонажей, в одно мгновение перенесенной в царство трагического или сентиментального, любимыми станут те, кто впустит вас в свою жизнь, мужественные или слабые героини, соблазнительные убийцы! Сколько бы ни сговаривались старцы и евнухи, а кино ни подвергалось цензуре, невиданной и при Старом режиме, такие детали этим близоруким не разглядеть. Именно в эротике кинематографа и следует искать сегодня утешение от разочарований, из которых состоит фальшивая жизнь большинства. Лучи проектора напоены самородной поэзией: ее можно резать на золотые нимбы. Причудливее языков пламени Троицына дня, вентиляционные шахты поверх границ обращаются ко всем сердцам, приобщенным к грезе. По всему свету пылкие взгляды сходятся на фигуре кинозвезды, вознесенной до неприступного величия богов, и, сколь бы вульгарным и презренным ни был ее земной образ, за дарованную нам иллюзию мы у нее в неоплатном долгу.

Именно устранившись, вопреки всему, от объективного отображения реальности, кино смогло ускользнуть от контроля своих опекунов. Преображая внешние элементы, оно формирует новое мироздание: так замедленная съемка поединка Сики с Карпантье[1], по сути, воспроизводила движения страсти.

1. Бой за мировой титул в полутяжелом весе между действующим чемпионом Жоржем Карпантье и претендентом Баттлингом Сики (наст. имя Луи Мбарик Фалль) в Париже 24 сентября 1922 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Дисциплина — а во французском это слово обозначает как идеал посредственных риторов, отстаивающих традицию, так и каторжный штрафбат или плетку-семихвостку — не властна над этой совершенно новой формой умственного наслаждения. (Кино еще не возвели к традиции Ронсара, но за этим дело не станет.) Те, кому хватило глупости негодовать после выхода такого безобидного романа, как "Холостячка"[1], и подвергать гонениям мюзик-холл — самое приемлемое проявление французского театра, — набросились, как и ожидалось, на это новое искусство. Недавно опубликованная Луи Деллюком[2] книга (сценарии фильмов с фотографиями вырезанных цензурой пассажей) продемонстрировала, что некомпетентность цензоров кино превосходит безграмотность генералов в том, что касается романов. Прискорбно, что режиссеры не обладают полной свободой в постановке, и, в частности, нагота или полуобнаженная натура подвергаются строжайшему запрету.

Нам уже мало банальной реальности: Назимова или Полин Фредерик[3] впустили нас в жизнь беспокойную и стремительную. В антракте среди сидящих рядом зрителей мы готовы искать ту или того, кто увлечет нас за собой в приключение, не уступающее сумеречной грезе кинематографа.

1923

Г*реза и кино*

БЫВАЕТ кино, чудеснее которого нет на свете. Обладающие даром грезить знают, что по непредвиденности и трагичности никакой фильм не сравнится с той жизнью, которой безраздельно отдан их сон. Любовь к кино причастна жажде грезы. Упустив нежданное приключение, когда пробуждение спугнет его из-под наших век, мы отправляемся в сумрак кинозалов на поиски искусственных мечтаний и, быть может, возбуждения, способного заполнить наши опустевшие ночи. Вот если бы какой-нибудь режиссер

1. "La Garçonne", роман Виктора Маргерита (1866–1942), выход которого в 1922 г. вызвал бурный скандал, стоивший его автору ордена Почетного легиона.
2. Деллюк, Луи (1890–1924) — французский кинорежиссер, сценарист и критик.
3. Алла Назимова (наст. имя Марем-Идес (Аделаида Яковлевна) Левентон, 1879–1945) и Полин Фредерик (наст. имя Беатрис Полин Либби, 1883–1938) — американские киноактрисы.

вдохновился этой идеей и после ночного кошмара в точности записал бы все, что помнит, воссоздав сон до мельчайших деталей! Тут уже не до логики, не до классических построений — или попытки подольститься к непонимающему большинству: речь идет об увиденном, о реализме высшего порядка, ведь такой фильм откроет новое поле для поэзии и мечты. И правда, кто станет спорить с тем, что греза пленяет исключительно самого сновидца? Он один прожил все ее повороты, и никакое описание не поможет слушателям оценить их ужасную или комическую притягательность. Поэзия так многого ждала от фильма, и, признаем, эти ожидания далеко не всегда оказывались обманутыми. Зачастую сценарий был превосходным, а актеры поразительными. Мы обязаны им самыми глубокими переживаниями. Но если поэзия избавилась от всех правил и ограничений, кино все еще остается скованным узколобой и на редкость вульгарной логикой. И, несмотря на многочисленные попытки, сценарий, полностью свободный от человеческих законов, так и не добрался до наших экранов. Грезы предстают в кино совершенно выхолощенными; от того несравненного волшебства, в котором кроется их очарование, во всех этих попытках не осталось и следа — как нет ни одной попытки, где режиссер обратился бы напрямую к своим воспоминаниям[1].

Неужто подобные проявления могут прийтись по вкусу лишь ограниченному числу зрителей? Не думаю. Налицо стремление просветить публику; стремление, которое может оказаться небезынтересным. Так или иначе, прискорбно, что безумные средства уходят на безмозглые потакания большинству вроде "Колеса"[2], но не делается никаких шагов навстречу тем, чья свобода духа способна полностью развязать режиссеру руки. Кино не породило еще ничего, сопоставимого по смелости с "Русскими балетами", ничего, столь же естественно свободного, как "Цвет времени" или "Сосцы Тиресия"[3] в театре.

Я уже говорил, как огорчает меня запрет эротики. Представьте, каких замечательных результатов помогла бы нам добиться обнаженная натура — и какие восхитительные произведения мог бы поставить в кино маркиз де Сад.

1. "Интересная попытка была предпринята Дугласом в 'Когда проплывают облака'" (*Прим. автора.*); речь идет о комедии Виктора Флеминга 1919 г. по сценарию и с участием Дугласа Фэрбенкса.
2. Фильм-мелодрама (1923) французского режиссера Абеля Ганса (1889–1981).
3. Пьесы Гийома Аполлинера (1880–1918), 1918 и 1917 соответственно.

Быть может, стоит основать частный кинотеатр, в котором демонстрировались бы фильмы, слишком смелые для рядовой публики? Современники всегда лишь сковывали новаторов. Писатель и живописец вольны отдаваться высшему призванию вдали от света прожекторов, так что́ же, кинохудожник навеки останется заложником предрассудков? Неужели кино умрет, лишенное тех эксцентриков, которые одни неизменно видятся мне гениями?

Кто-то из моих друзей предположил однажды, что должен найтись такой оригинал, который готов был бы пустить все свои средства на поддержание подобной *лаборатории экспериментов*. Суждено ли будет нам когда-либо повстречать этого миллиардера, кто пышным титулам царя свиного жира или стали предпочтет куда как более завидное звание свободного человека?

1923

П*икабиа: во весь голос*

ЭПОХА капитуляций и не думает заканчиваться. Караваны, не дойдя до сказочных Тимбукту и безлюдных Калифорний, поворачивают восвояси и направляются в так называемые цивилизованные (читай: давно известные) страны; те, кто ушел на запад, не возвращаются с востока, а идут обратно, набив карманы золотом. И все же время от времени пролетающая над городом тень дает понять: искатель приключений машет нам с солнца рукой.

Неужто перестройка мира закончилась? Наш век окончательно расписан по полочкам энциклопедий, а любое упоминание об универсальном человеке встречает неверие приготовишек, не видящих дальше корочки учебника?

Важно не знание (цель суетная), а способность познавать, высшая форма разума — единственная, по правде сказать, не принижающая бесповоротно того, кто ей наделен.

Разум есть всего лишь разумение, а потому он и достоин только придаточной, второстепенной роли. Разум навсегда лишает нас бесценной добродетели — умения удивляться — и заражает энтузиазм духом повседневности и классной комнаты, грозя обезобразить его, если только не вмешается иная, превосходящая разум, добродетель, как-то: сила любви и поэзии. Присущие исключительно разуму свойства тогда отходят на второй план, где им и место, уступая дорогу страстям, а им уже не пристало чинить препятствия или читать нравоучения.

Тот, кто обращается к разуму, и только, неизбежно ограничивает себя областью педагогии и тем самым уподобляется безликой шестеренке, призванной разжевывать глупцам устремления высшего порядка и служить передаточным звеном между толпой и индивидом. Скептицизм, который вызывают подобные попытки, сам по себе способен дискредитировать сложившиеся в последнее время умонастроения, приверженцы которых противопоставляют разум чувствам и в противовес гению выдумали на потребу посредственности дурацкий ярлык — талант. Вам известны бесталанные гении? Этот миф, зародившийся среди третичных (я имею в виду тех мещан, что — небезосновательно — уподобляют знание постыдной болезни и по причине "свежести" таких теорий считают себя вправе насмехаться над равными им по глупости ископаемыми первичного и вторичного периодов), являет собой один из самых одиозных признаков современного течения, которое, вдохновляясь одновременно Расином и Бальзаком, одарило нас столь тягостными персонажами, как Поль Бурже, Жан Мореас и Шарль Пеги, и такими малозначимыми личностями, как Шарль Моррас[1]. Гений неизменно связан с чувствами, а чувства подразумевают столь глубокое и всестороннее понимание мира, что разум в его привычном понимании в этом океане просто тонет. И, напротив, дух разумный — и только — неизбежно немощен, а потому являет собой самый презренный образчик человеческой натуры, который только можно отыскать.

Именно эта сила любви и поэзии делает Франсиса Пикабиа одним из достойных восхищения представителей нашего времени. Он не занимается "живописью" и не пишет "стихи": он живет. Я, пожалуй, не знаю никого, в ком эта подспудная жажда жизни была бы укоренена столь глубоко. И Франсис Пикабиа — не из тех снобов, кто полагает, будто доказать, что они живы, можно, выставляя напоказ свою врожденную неполноценность. В нем нет ни капли того космополитизма, который, как пытается уверить нас некий процветающий романист, несравним с тягой к экзотике и бездумными поисками местного колорита. Просто Франсиса

1. Критик и романист Поль Бурже (1852–1935), поэт Жан Мореас (наст. имя Иоаннес Пападиамантопулос, 1856–1910), поэт, драматург и публицист Шарль Пеги (1873–1914) и поэт, критик и публицист Шарль Моррас (1868–1952) — представители традиционалистского, католически-монархистского, неоклассицистского и, в особенности в случае Морраса (осужденного за поддержку вишистского режима), националистического крыла французской литературы.

Пикабиа занимает подлинная сущность вещей (и при этом он ловко скрывает свои истинные намерения).

Из чего следует, что картинам и стихам Франсиса Пикабиа чужда присущая искусству тяга к подражанию реальности. В этом плане нет большой разницы между Микеланджело и торговцем тряпичными розами: да и то, цветочник лично мне куда милее. Устав от пейзажей за окном и деланых поз, Пикабиа быстро отказался от слепого подражания, которое фотография сделала решительно бесполезным, да и Бонна, вопреки воплям "эстетов", вознес ранее к недосягаемым высотам. Одним из первых он осознал необходимость создания наново (а не почивания на старом) — будь то в его живописи, известное всем развитие которой ошеломило критиков, питавших в отношении его определенные надежды; или поэзии, сублимированной и исторгнутой напрямую из праисточника, или жизни; повсюду мы найдем одну и ту же веру, одно и то же воодушевление. Мало сказать, что Пикабиа молод — у него нет возраста. Он всегда живет следующей минутой, и его кристальный смех — как красная тряпка для гнущих шею мошенников и святош, скрывающих под маской приказчика благодушие скота. Но следствием подобной обособленной жизни становятся одиночество или скандал. Такая перспектива Пикабиа не напугала, а потому в эпоху, когда бал правят жеманность и лицемерие, он воплощает анархию высшего порядка, против которой последние тридцать лет восстают все вымуштрованные неоклассицизмом. Изобретательность, которую он сделал смыслом существования, постоянная жажда обновления и систематическое разрушение традиции придают его многоликости оскорбительное для толпы величие. Его портреты испанок, кубистские полотна или дада: все это — разные стороны личности Пикабиа, который неизменно оказывается верен себе. Способный жить вдали от посторонних глаз, но не скрывая пристрастия к свету, который для него — сырье все для того же скандала, — он всегда находил в самом себе достаточно оснований не терять надежды и продолжать жизнь, изобиловавшую уходами и разрывами. Вот эта моральная стойкость, благодаря которой он, наверное, и сумел устоять перед коммерцией, и достойна, на мой взгляд, восхищения, и именно эта стойкость сообщает его книгам и его картинам чистый дух, за который я не могу их не любить. Я никогда не считал смешным, если люди, прежде чем восхититься книгой или картиной, спрашивают: "А кто автор?". Пусть чаще всего за этим вопросом стоит малодушие — по существу, вопрос этот совершенно справедлив. Я отказываюсь видеть в чем бы то

ни было исключительно материальную ценность. Подпись, имя автора — самая важная часть произведения, отображение его значения, ключ к жизни. Известен автор или нет, ясно происхождение его трудов или туманно, но между произведением и этими двумя параметрами устанавливается причудливая и непроизвольная связь, от которой только и зависит мое пристрастие или отвращение. Я, со своей стороны, не намерен отделять творения от авторов, оценивать одни в отрыве от других. Даже для древних произведений, чьи авторы "мертвы", такая ампутация была бы произволом. Так, моя собственная смерть, я убежден, станет лишь одним из эпизодов моей жизни, которая в любом случае пойдет дальше, своим чередом.

Понятно тогда то презрение, какое Франсис Пикабиа может питать к проходным событиям, и то, сколь мало его занимает внимание глупцов.

Итак, эпоха капитуляций все никак не кончится. Караваны возвращаются в верблюжатники. На месте гибели первооткрывателей стрелы все еще торчат из песка, снега или травы. А люди все так же малодушно проверяют время по безбожно врущим солнечным часам, забывая об уходящих вдаль тропинках, которые однажды сотрет ураган, бесповоротно уничтожив последнюю для них возможность со всеми их ищейками нагнать беглецов.

1924

Сюрреализм

В легенде о *прекрасном Пекопене и прекрасной Больдур* у Виктора Гюго герой, увлеченный Дикой Охотой[1], попадает в любопытный замок. И действительно, потолок одного зала там украшен портретами великих людей, многие из которых появятся на свет лишь много веков спустя. Мне часто грезится этот чудесный замок, и он все больше кажется мне истинным оплотом фантазии и поэзии.

Так называемая натуралистическая живопись, сутью которой является рабское воспроизведение предметов или бездвижного пейзажа, давно осуждена и даже сослана на галеры. Уже долгое время все достойные какого-либо внимания художники обращают свой утомленный взгляд к стране грез.

1. Мифологический троп, группа призрачных всадников-охотников со сворой собак.

Картины "примитивистов" — те же грезы, как и полотна романтиков, которые еще можно любить. Во второй половине XIX века именно стремление к грезе подталкивало того или иного пейзажиста или автора натюрмортов, которым враз опостылел ремесленный труд, к попыткам создания новых миров.

На заре века XX то же можно сказать о вас, Пикабиа и Пикассо.

Пикабиа: я вижу, как вы отправляетесь на поиски воображаемого, как творите без устали, точно Эдисон от живописи. Не храня ничего из прошлого и не оставляя камня на камне, вы — и с каким ликованием! — переходили все новые и новые границы, ступая на неизведанные земли, удивляясь таинственным и неведомым пейзажам, автором которых сами и были. Пикассо, алхимик, чей смех брызжет из того же источника, что и живопись, — вы, я уверен, давно уже нашли философский камень. Раймунд Луллий[1] без труда расшифровал бы те тайны мироздания, что рождаются на ваших полотнах. Знать, Инквизиция не сожгла вас на костре в те дни, когда Мельмот-скиталец заключал с вами роковую сделку, из-за которой вы нам так дороги.

Марсель Дюшан: стальной характер, бесстрастное лицо, упрямое молчание, которым он ограждает тайну своей жизни. Без него машины были бы начисто лишены души, а геометрия — дыхания поэзии.

По огромной залитой солнцем площади, зловеще перечеркнутой тенью заводской трубы, бежит Кирико, спасаясь от кровожадных призраков Идеальной справедливости и Морального отмщения. Время — четыре пополудни или пять утра. Небо наливается изумрудом. Тени медленно поворачиваются вокруг своей оси. Катя перед собою обруч, проходит девочка. Сверху за ней следит стоящий у окна нагишом толстяк. Малышка идет своей дорогой, пересекая сад, где посреди обломков античных статуй, пирамид, бананов и красных манекенов поэт коротает послеобеденные часы. Она поднимается по улице: там на столе у обочины лежат несколько артишоков, два бисквита и перчатка. Идеальная справедливость и Моральное отмщение, стремительно прорезав воздух, приносят весть, что Кирико мертв.

В одном из портов Левантийского побережья собралась причудливая толпа, где нагие женщины, выжимающие грудя-

1. Раймунд Луллий (ок. 1235–1315) — каталонский миссионер, поэт, мистик и философ.

ми сок из гранатов, стоят бок о бок с носильщиками без головы. По их словам, они ждут человека, вдохновленного небом и любовью. В порт заходят величественные красные суда. На сушу спускается один-единственный моряк в тельняшке с голубыми полосами. Мудрецы кивают: это он; его зовут Андре Массон, и он послан на разведку революцией.

В клетке сидит тропическая птица. Девочки в старомодных платьях, оставив серсо и плетение гобеленов, днями напролет любуются ее дивным оперением. Одна из них открыла дверцу. Птица выпорхнула. Холмы вокруг тотчас же покрылись ковром из фригийских колпаков. Какой чудесный урожай — но ему не созреть и за весь год, если вы, Жоан Миро, не согласитесь по своей воле вернуться к маленьким шалуньям. Тогда одна из них поцелует вас в губы, и вы вновь станете тем прекрасным принцем, каким и были некогда, пока вас не заколдовал чародей.

Заклинаю вас, величественные волны Рейна: однажды человек придет к вам окунуться. Он принесет с собой все те подобия, которыми полны поэзия и тайна. Как только он ступит в ваши воды, приказываю: бросайте его из стороны в сторону, нещадно сдирая кожу о камни, пока не стихнут его голос и дыхание. Если то был мнимый пророк, останки его отправятся гнить под дамбой где-нибудь в Голландии. Если он спасется — Макс Эрнст станет моим другом.

Ман Рэй, способный разглядеть сто личин света и тьмы или отправиться вслед за Алисой в сказочное Зазеркалье, Ман Рэй, повелитель современных фантомов, кому под силу отпечатать на утекающей волне отображение изысканных манер и даже глубину брошенных нам взглядов, — Ман Рэй возникает в поэтическом полумраке, на границе лирической зари, на рассвете воображения, грезы и полной тайн реальности.

Чтобы добраться до блаженных островов, я не возьму карты и забуду о компасе: пусть моим проводником станет Жорж Малкин[1]. Маршрут, который он выберет, будет причудлив и извилист. Мы преодолеем холодную ночь полюсов и мертвый штиль жарких морей экватора. Над головой у нас разразятся бури. Нам встретятся, я знаю, Летучий голландец и Женщина в белом. Путь нам преградят развалины ацтеков и погребенные под лианами храмы. И вот однажды мы доберемся наконец до Блаженных островов. “Не то”, — скажет то-

1. Жорж Малкин (1898–1970) — французский художник и киноактер, близкий к сюрреалистам.

гда Малкин, и этот неутомимый путешественник устремится навстречу невозможному открытию.

Замки с привидениями, продуваемые всеми ветрами, облака диковинных форм, заброшенные кладбища, куда, поверьте на слово, ровно в полдень приходят с танцами бессмертные дочери солнца: вот она, вотчина Ива Танги. Этому лозоискателю знакомы все закоулки леса. Он закрывает глаза, чтобы затеряться в них, а чаще — просто вздремнуть. О, чудесный сон на ложе сорняков и мха, где снуют разноцветные насекомые. Танги способен уменьшаться по собственному желанию. Сейчас, например, он — император божьих коровок, а потом царем кукушек ведет свои войска к равнине, над которой реют во́роны. Порой по вечерам, подозреваю, он вешает фонарики на бычьи рога, чтобы привести океанские суда к неминуемой гибели на рифах.

Клее однажды побывал на Марсе. С тех пор он живет воспоминаниями об этом странном мире. Как удалось ему такое путешествие, как получилось у него вернуться? О том мы ничего не знаем. Одни говорят, что он может научить рисовать и слепого, другие считают марсианином его самого.

Среди полузарывшихся в песок якорей, между причудливых ракушек Арп учится приручать осьминогов. Ждет ли его успех или смерть на дне моря? Этим вопросом отлив встречает подступающие волны. Ответа никто из них пока не дал.

Приветствую вас всех — старателей грезы, первопроходцев пустынь, сюрреалистов-революционеров, с завязанными глазами, но уверенной поступью шагающих под гигантскими эвкалиптами кошмара и шелестящей кроной лиственниц вдохновения: поскольку хоть чего-то стоят только художники вдохновенные. Вернет ли себе наконец эта прекрасная богиня место в наших сердцах и умах? Ведь кому, как не ей, диктовать слова, когда мы заговорим; она уже направляет вашу руку, о друзья, когда вы смешиваете краски.

Сюрреализм часто упрекали в том, что к живописи он не применим. Действительно, главной проблемой сюрреалистической живописи была совместимость принципов сюрреализма с художественными приемами — и ее развитие многие месяцы было сковано этой совершенно надуманной проблемой. И в самом деле, кажется, что под определение сюрреализма подпадают — и то лишь в определенной степени — исключительно рисунки медиумов, наброски, сделанные в трансе, или работы сумасшедших. Мы попытались найти новые приемы. Автор этих строк предложил следующий: с закрытыми глазами нарисовать на листе бумаги произвольное сплетение множества линий. Затем, открыв глаза, дать

проявиться в этом хаосе рождающимся очертаниям на манер тех, что мы видим в нагромождении облаков или в трещинах на стене. Вычленить и, если угодно, раскрасить эти фигуры, сложившиеся сами собой. Преимуществом этого приема была та значительная роль, которую он отводил индивиду. У каждого из нас — свой взгляд, и в данном случае каждый *видел* какой-то особый предмет или существо. Но ставить такой прием на поток нельзя. Картины становятся шаблонными, глаз замыливается, художник тщетно пытается разглядеть в этих линиях былые виде́ния. Опять же, несмотря на все свои достоинства, этот "рецепт" оставался весьма поверхностным.

Ошибка, скорее всего, заключалась в преувеличенном внимании, которое мы поневоле уделяли технике. Если поэт-сюрреалист использует знакомые всем слова и пишет типовыми буквами, то художник волен рисовать, подчиняясь лишь движениям своей руки. Важен первоначальный замысел — будь то общее видение картины, которое автор фиксирует затем быстрым наброском, или же, пускаясь наудачу, он позволяет пульсирующему вдохновению принимать все новые формы, набирая силу с каждым мазком кисти, пока не сложится вся картина целиком. Зритель проделывает ту же работу наоборот... но тут мы уже подходим к самим основам живописи, и тот, кто рассуждает как поэт, а не ремесленник, неизбежно ставит все под вопрос. Что такое сюрреалистическая живопись? Что есть живопись вообще?

Автор этих строк без труда определит, является ли картина сюрреалистической — но вряд ли способен сказать, почему. Что же такое живопись?

1926

Меланхолия кино

БЛИЗИТСЯ лето. Деревья в Париже зазеленели, как нам и мечталось минувшей зимой, но мы уже предвосхищаем скорые ожоги августовского солнца, слетающие осенью листья и оголенные ветви в декабре. Наши глаза отказываются верить в долголетие хорошей погоды, и дождь, ураган и шторм кажутся нам куда естественнее спокойного сияния далекой звезды над цветущей, мирной, погрузившейся в тишину планетой.

Рожденные в предвестье бури, мы ждем ее со всем кортежем туч, громов и молний, и многие из нас — а эти строки я пишу для созданий мужественных и не боящихся крайно-

стей — называют этот будущий и, может даже, недалекий катаклизм Революцией.

Скажите мне, сверстники с сердцами, клокочущими верой (тогда как старцы считают вас скептиками) — где нам укрыть опаленные дневным солнцем веки, где проведем мы ночи, отданные во власть грез и галлюцинаций?

Ночь для нас зачастую — лишь бессонница, беспокойство и терзания. Кино распахивает перед нами свой мрак. Заглянем в открывшуюся нам драму. Если у героев в груди сердце, а не рубленая котлета, если предмет их страданий не оставляет равнодушными и нас, мы решительно шагнем в их мир. Если же перед нами всего лишь марионетки, мы рассмеемся, грубо и надменно, и всей прохлады ночи не хватит, чтобы остудить наши обожженные глаза.

Тем хуже для посредственных фильмов. Придет день, когда мы разорвем в клочья экран, позволяющий показывать одиозные и смехотворные ленты.

Ман Рэй, которому кино уже обязано многим и, не подчиняйся оно диктату капитала, могло бы быть обязано куда бóльшим, сказал мне как-то, что фильмы на три четверти состоят из открываемых и закрываемых дверей и псевдоразговоров — вещей, признáем, совершенно необходимых.

С другой стороны, вы замечали, что в кино, за исключением хроники и нескольких немецких фильмов, никогда не показывают похорон? Любопытно, что с экранов изгнано изображение смерти. Или любви: я говорю тут о любви самозабвенной, с ее звериной жестокостью и всем, что в ней есть восхитительного и дикого. Или гильотины, что как раз пошло бы на пользу некоторым из наших милых соотечественников; те уразумели бы, насколько законным порой бывает лишение жизни себе подобных. Но зато можно сколько угодно хлопать дверьми или шевелить губами в мнимой беседе.

О безвестный цензор, хорошо ли ты осознал смысл этих последних сцен — или сердце и душа твои из жести?!

И вместе с тем вся меланхолия, вся безнадежность нашей жизни заключены в этих действиях: закрыть одну дверь, открыть другую, говорить — или прикидываться, что говоришь.

Двери открывают нашему взору одни убогие пейзажи и закрывают перед нами другие такие же. Нашим дышащим поэзией сердцам, по большей части, дела нет до наших разговоров. И языки у нас, о герои киноэкрана, своей немотой, быть может, превосходят ваши. Дайте же нам фильмы, не уступающие по силе нашим терзаниям! Руки прочь, цензоры-тупицы, от тех редких достойных лент, что попадают к нам в основ-

ном из заповедного уголка Америки — Лос-Анджелеса, свободного города посреди порабощенных земель!

Оставьте же нам наших желанных героинь, не трогайте наших героев. Мир, в котором мы живем, слишком жалок для того, чтобы греза становилась двойником реальности — где же вы, героические годы? И заявлю во всеуслышание: говоря о героизме, я думаю не о войне. Нам нужна любовь, нужны возлюбленные под стать легендам, что рождаются в наших умах.

К чему дольше скрывать сюрреалистические терзания нашего времени, в котором кинематографу отведено такое значительное место? Ночи бурь и вспенившихся волн, убийства в целлулоидных лесах, прекрасные пейзажи! Благодаря кино мы больше не верим в магию далеких ландшафтов, не ищем больше ничего живописного. Кино разрушило то, что великий поэт Шатобриан мог описать посредством воспоминаний и воображения.

Но нам по-прежнему не дают покоя земные тайны ночи, дня, звезд и любви. Рокочущий в нас бунт охотно утих бы на груди любовницы, то покорной, то дикой, потакающей нашим желаниям.

Близится лето. Деревья в Париже зазеленели, как нам и мечталось минувшей зимой, но мы уже предвосхищаем скорые ожоги августовского солнца, слетающие осенью листья и оголенные ветви в декабре.

Как долго еще пишущий эти строки будет медлить с ответом на зов вечных крон далеких лесов, на трогательную монотонность бессмертных снегов?

1927

Здравствуйте, г-н Пикассо

ПРАВДА — чем больше я об этом думаю, тем меньше нахожу в себе сил для коленопреклонений, в особенности групповых. Каким бы ни было мое восхищение перед человеком и сколь бы велик и неоспорим ни был его гений, у меня нет ни малейшего желания воздавать ему почести, в которых я отказал бы даже божеству — если бы вдруг решил, что божества вообще существуют. Само слово "мэтр" обжигает мне губы. Думается, оно жжет и уши тем, к кому этот титул со всем основанием мог быть обращен. В том числе — Пикассо.

О Пикассо уже все сказано, в том числе и то, чего говорить не следовало бы, а потому я отказываюсь сегодня попол-

нять посвященный его творчеству местами откровенно гротескный глоссарий. Восхищение его работами для меня оправдано уже тем, как они сопротивляются подобной экзегетике. И ради того, чтобы сохранить достоинство, я никогда не стану прибегать к выхолощенным от слишком частого использования техническим терминам, позволяющим составлять изысканные заметки о "руке мастера" или "симфонии зеленых тонов Веронезе и кобальтовой сини".

Все это — писанина хорьков и рыб-прилипал, слепленная по удручающему образцу Мольера и сочиненных им во славу церкви Валь-де-Грас стихов, уже одной глупости которых довольно, чтобы навсегда о них забыть.

Пикассо — человек, чрезвычайно обходительный, лично я знаком с ним мало, он же неизменно узнает меня при встрече. И это мне чрезвычайно лестно. Добавлю, что близорукость нередко мешает мне узнать знакомые лица и, что еще хуже, присваивает незнакомцам черты друзей, с которыми я уже много лет вижусь каждодневно, — но вот с Пикассо подобного недоразумения у меня никогда не случалось.

С Пикассо я сталкиваюсь лишь в двух уголках Парижа: у вокзала Сен-Лазар и в пассаже Жуффруа. Ничего странного тут нет, мы с ним, должно быть, часто бываем в этих краях.

И, тем не менее, мне приятно, что в моей памяти этот человек связан именно с этими двумя кварталами.

Площадь перед вокзалом Сен-Лазар для меня — единственное место в Париже, где хочется присесть и заказать аперитив. Чувствуешь, как к запахам пота, дегтя и бензина примешивается аромат абсента — настоящего абсента. Да и женщины здесь совсем непохожи на остальных. Не знаю, чем это объяснить: дело не в их платьях, духах или какой-то особой красоте. В сотне метров отсюда, на бульваре Османн, я не отличил бы их от любой другой. Меж тем с кем угодно в "Критерион" или в бистро на улице Амстердам не зайдешь: иные там чудовищно не к месту.

И что? Поди знай... Но на ум снова приходит Пикассо. Некоторые из его картин чудесны именно потому, что они принадлежат ему, и были бы просто невыносимы с подписью кого-то другого. Да-да, с чужой подписью.

У меня, да будет вам известно, нет привычки к очковтирательству. Я неизменно смотрю на подпись автора картины, и зачастую даже раньше, чем на само полотно.

Зачем? Чтобы не ошибиться.

Меж тем в самом росчерке подписи Пикассо есть какое-то неизъяснимое волшебство, которое для его картин оказывается чрезвычайно важным. Но ведь это нормально, не так

ли? Подпись – такая же часть картины, как и любая другая ее составляющая. Она, быть может – да даже наверняка, – так же (а то и более) важна, как этот синий, желтый или красный цвет.

Итак, вы поняли, подпись Пикассо наводит меня на мысль о вокзале Сен-Лазар.

Но вот пассаж Жуффруа напоминает мне об авторе "Авиньонских девиц" совсем по другим причинам. Он пахнет парфюмерной лавкой, кожей, тканью, дымящейся под утюгом. В нем, как осколки в калейдоскопе, складываются все элементы улицы: это и есть сам народ, сам Париж. Тут слышны отголоски Бельвилля или улицы Муфтар. Здесь чувствуешь себя, как дома. И, наверное, именно эта легкость, эта умиротворенность и поражают меня, когда я встречаюсь с Пикассо в пассаже, где кто-то однажды заметил плакат с рекламой кольдкрема: полная женщина в синем, анфас... И, за долгие годы до знакомства с толстухами на картинах Пикассо, мой собеседник уверял, что этот уголок Парижа неудержимо напоминал ему о нем.

Серьезно, сказанное мною выше об этом художнике – а, по большей части, это то немногое, что я о нем знаю (добавим разве что испанскую Ла-Корунью), – для меня проливает больше света на его живопись, нежели все мудреные теории господ X, Y или Z.

Итак, всё? Нет. Не дает покоя совесть. Выше я нелестно отозвался о рыбе-прилипале и о хорьке. Извиняюсь. Это очень милые животные.

Хорек однажды замечтался у подножия сосны, на вершине дюны. Море томно расплетало по пляжу свою пенную гриву. День бежал навстречу своей погибели в грязно-стразно-мельхиоровых сумерках. Балансирующий на линии горизонта пароходик выпускал в небо исполинский столб невероятно плотного черного дыма. Таможенники уже зажигали свои фонари для ночного обхода. Первые отблески маяка подмигивали на входе в бухту за клеткой кабацкого стекла. Из воды выходила купальщица в розовом трико. Прилипшая к ее плечу кисточка водорослей упала на сухой песок, лишь когда ее ступни оставили на нем своей первый след. Мягкий, как меха, и легкий, как тюль, бриз обволакивал дюны, развеивая песчинки.

И тут волна, поднявшаяся невесть из каких глубин неведомого океана, вздыбилась и испустила дух, растянувшись на пляже.

Когда же она откатилась, увлекая за собой песчаный шлейф, хорек увидал бьющуюся рыбу-прилипалу, силившую-

ся вернуться в море. Синяя птица сделала над ней несколько кругов в небе.

В великолепном броске рыба-прилипала дотянулась-таки до горькой волны. А после и птица исчезла над кронами сосен.

Потом обнажившаяся было купальщица надела сорочку, вздувшуюся на ветру вокруг ее тела, натянула чулки из черного шелка, батистовые панталоны, туфли и платье — и отправилась восвояси, волоча за собой свое мокрое трико.

Позже в спустившейся наконец ночи исчез и хорек.

Вот теперь действительно всё.

1930

Жоан Миро

ФЛАНИРУЯ в послеобеденных раздумьях по улице Бломе, неподалеку от негритянского кабаре, вы можете заметить огромный обветшалый дом. Сквозь трещины пробиваются сорняки, над стенами нависают беседки соседних зданий, а сквозь створ ворот виден мощный ствол дерева. Это номер 45 по улице Бломе, где я прожил долгие годы и где бывали многие из тех, кого я считал своими друзьями, и тех, кто ими остался. Мастерскую в третьем дворе я унаследовал от Андре Массона, и тогда же в студии Жоана Миро поселился Андре де Ларивьер[1]. Этот двор был настоящим парижским феноменом — заросший травой, с сиренью, которая, должно быть, до сих пор цветет там каждый год, опутанный виноградной лозой, которую управдом, не чуждый тяги к прекрасному, распорядился однажды вырвать "для пущей чистоты". Занимался бы он лучше тем, что касалось его напрямую, даже если эти прикосновения и не блистали чистотой... ну да ладно.

С половины восьмого утра работу начинал слесарный цех в глубине двора. Его мотор наполнял окрестности шумом, который мне с тех пор доводилось слышать разве что на борту океанских лайнеров. Шумом, впрочем, убаюкивающим: на неделе проснуться не было сил, а вот в воскресенье, когда цех был закрыт, сон напрочь пропадал в тот самый час, когда рабочие по будням обычно брались за инструменты.

Кто-то из предыдущих жильцов бросил в траве пару мраморных медальонов, доставшихся ему от резчика по камню с

1. Французский киноактер, друг Десноса, снявшийся, в частности, в "Морской звезде" (1928) Ман Рэя по сценарию и с участием Десноса.

Монпарнасского кладбища, и они медленно врастали в землю рядом с грудой металлолома, истекавшего на них каплями ржавчины.

Летом в этом патио щебетали птицы, а зимой снег лежал тут чистым дольше, чем где-либо еще в Париже.

С другой стороны двора из каждой трещины фасада и каждого заклеенного газетой окна жалких меблирашек сочились грязь, склоки и вопли несчастной детворы. Послушав, можно было решить, что основным занятием — и развлечением — обитателей этого безобразного строения было выбивание друг из друга последнего вздоха. Но настоящие преступления, признаем, случались редко. Выживший из ума алкоголик попытался как-то поджечь дом, но ничего не вышло. Возрастом эта лачуга могла сойти уже за покойника, такую никакой огонь не берет. Безумцу пришлось довольствоваться метанием пустых бутылок в головы проходивших по двору 45-го дома. Одна из них чуть не прикончила Жоржа Лембура — или Ролана Тюаля[1], они оба жили тогда у Андре Массона. Его мастерская и студия Миро, расположенные как раз напротив доходного дома, выглядели в сравнении настоящими виллами. Там я и познакомился с Миро.

Первой его картиной, которую я увидел, была "Ферма", освещавшая всю беленую известкой мастерскую. Одну из стен полностью занимали почти не тронутые краской гигантские полотна, которые чаще всего украшал алый каталонский колпак. У него тогда сидел Жак Вио[2] и слушал воодушевленно говорившего о чем-то Шипмана. Стояла прекрасная погода. Солнце наполняло невзрачный заросший дворик очарованием одиночества и деревни. Стол в углу студии был завален привезенными с Балеарских островов куклами, приземистыми гномами и диковинными зверюшками из расписанного яркими красками гипса. Казалось, эти крошечные создания вышли прямиком из "Фермы". Они придавали мастерской дух праздника, феерии, все это будило во мне какое-то воспоминание, но, как я ни силился, не мог уловить о чем: во мне остался лишь его призрак, послевкусие, так сказать... что-то вроде детской сказки, где главными героями были одушевленные грибы...

1. Жорж Лембур (1900–1970) — французский писатель и поэт, близкий сюрреалистам. Ролан Тюаль (1902–1956) — французский кинорежиссер, продюсер и художник-постановщик.
2. Жак Вио (1898–1973) — французский писатель и киносценарист.

В зажатый между цехом и доходными домами двор часто захаживали Френкель, Лейрис, Салакру[1]. По вечерам мы любили собираться вокруг чаши с глинтвейном, распевая старые куплеты. Но потом Массон переехал в дом с привидениями на улице Сюффрен — или Сегюр, не помню. Миро вернулся в Испанию и позже жил уже в квартире, где мнимое лето поддерживала балеарская синяя мебель с позолоченными солнцами. А дом 45 по улице Бломе продолжал медленно угасать.

Подземный переход, ведущий в катакомбы, завален щебнем. Струи дождя стекают по гипсовому бюсту, невесть как оказавшемуся на крыше. Окна выбиты, рамы давно унесли, потолки осыпаются. Заглох мотор, служивший дому чем-то вроде сердца.

И у меня даже нет сил расстраиваться из-за бесповоротного разложения этих мест. Если тут и оставалась какая-то частичка нас прежних, она давно растаяла во времени, грязи и дожде.

Вряд ли кто-то из мною упомянутых болезненно воспримет эту потерю.

Здания, подобно людям, умирают, и это только справедливо.

Жалеть о доме, отошедшем в мир иной, — значит тянуться к жилищу погребальному, к гробу и могиле, которые, в свою очередь, обречены на тлен.

А кому из нас надоело жить?

1934

1. Теодор Френкель (1896—1964) — французский врач, писатель-дадаист, затем сюрреалист. Жюльен Мишель Лейрис (1901—1990) — французский писатель, поэт, этнолог и арт-критик, близкий сюрреалистам. Арман Камиль Салакру (1899—1989) — французский драматург, в первых работах которого чувствуется влияние сюрреалистов.

“Осколки и брызги”

Стихи

Перевод с шведского, вступление и справки об авторах Елены Даль

Стихотворная культура страны свеев (или свионов, как их называл римский историк Тацит) и гетов, или же на современном языке, шведов, всегда отличалась оригинальностью, чтобы не сказать экзотичностью. Взять, например, рунические надписи — письмо на каменных плитах VII-XII веков. На территории Швеции среди рунических надписей было обнаружено 122 стихотворных фрагмента (в Норвегии — 54, в Дании — 12). Стихотворная культура, лишь в малой своей части записанная на камне, бытовала в основном устно и включала в себя как эпические сказания о богах и героях, так и произведения поэтов-скальдов.

Христианство принесло с собой новые идеалы, новые темы и новые принципы стихосложения. На скандинавские языки переводились с французского и разных вариантов немецкого рифмованные хроники, рассказы о рыцарских деяниях, византийские повести о Востоке.

В эпоху Возрождения поэзия стала явлением литературно-книжным. В шведскую поэтическую культуру пришли античные размеры и формы. Авторы и читатели познакомились с ямбом, хореем, дактилем и другими стихотворными стопами. Среди жанров европейского Возрождения особую популярность приобрел петрарковский сонет. Произведения Петрарки, Марино, Гонгоры, Кеведо-и-Вильегоса и других европейских поэтов читались в Швеции в подлинниках. Шведские поэты не только были знакомы с классической и современной им испанской, итальянской, немецкой и голландской литературой, но и сами, наряду с шведским, писали стихи на этих языках.

Сменялись эпохи. Шведская поэзия испытывала влияние французских просветителей и немецкой романтической школы, религиозно-мистической философии и реалистической “проблемной” литературы, а с конца XIX века — импрессионизма и символизма. Она развивалась, обогащался ее язык и ее стиль. Сменялись поколения модернистов, постмодернистов, постпостмодернистов. Но для многих современных читателей золотой век шведской поэзии остался за гранью позапрошлого столетия.

Предлагаем вашему вниманию “осколки и брызги” из этого золотого века шведской поэзии. “Осколки и брызги” — так назывался и сборник знаменитого поэта той эпохи Густава Фрёдинга, мастера философской, гражданской, любовной и пейзажной лирики.

© Елена Даль. Перевод, вступление, справки об авторах, 2015

Самуэль Колумбус (1642–1679)

В 1674 году напечатал сборник стихов “Шведские оды” и короткую эпическую поэму “Библейский мир”. Музыкальность его стиха и изящество формы сделали Колумбуса самым любимым поэтом своих соотечественников. Кроме стихов, Колумбус писал псалмы, языковедческие трактаты, а также биографии современных ему поэтов.

В*ино желания танцует гавот*
с пятью чувствами

Зрение
Что же, что же в том дурного, что люблю я красоту:
я люблю цветы живые, розы, лилии в саду.
Дам изящные манеры
обожают кавалеры,
оперенье пестрой птицы
и хорошенькой девицы.

Слух
Что же, что же в том дурного, что люблю я слышать смех:
песни, шутки, разговоры суть утехи из утех.
Лютню, клавесин и бубен
всяк из нас послушать любит.
Мне чембало звуки любы,
барабан, валторны, трубы.

Вкус
Что же, что же в том дурного, что я вкусное люблю:
языком я в яствах тонких удовольствие ловлю.
Доставляет наслажденье
мне соленье и печенье.
Вино радость посылает,
мое чрево ублажает.

Обоняние
Что же, что же в том дурного, что люблю я аромат:
ароматы кровь очистят, мозг и сердце укрепят.
Амбра, мускус, нард и ладан
источают нежный запах.
Росным ладана настоем
я лицо и руки мою.

Осязание
Что же, что же в том дурного, что любовь я полюбил:
ведь к игре той век стремится весь живой подлунный
мир.

Голубки в саду воркуют,
глухари в лесу токуют,
песни смысл любой поймет:
петух к курочке идет.

Из антологии "Четыре мадригала", 1948

Анна Мария Ленngрен (1754–1817)

Поэтесса, переводчица и журналистка эпохи Густава III – “первое перо” газеты “Стокгольмпостен”. Статьи и стихи она, однако, не считала возможным подписывать своим собственным именем. Завоевала королевскую дружбу и награды обработками текстов итальянских комических опер. Ее стихи увидели свет только после ее смерти под скромным названием “Стихотворные опыты” (1819). Шведская академия высоко оценила ее творчество, отчеканив в ее честь медаль со словами: “Чем меньше она искала славы, тем вернее она ее снискала”.

Происшествие за столом

Все имеет свой конец.
И царя падет венец,
троны упадут и царства,
и исчезнут государства.

Солнца гаснут непрестанно,
высыхают океаны.
Разве ж это не безделка,
что разбилася тарелка?

Из сборника “Стихотворные опыты”, 1819

Юхан Людвиг Рунеберг (1804–1877)

Национальный поэт Финляндии. Родным языком его творчества был шведский, но источником напевного стиха – финский народный стих, руны Калевалы, знакомство же с русской литературой обогатило его поэзию еще и певучими русскими размерами. Около двухсот его текстов положено на музыку, в том числе и русскими композиторами. Рунеберг – автор эпических поэм о финской деревне "Охотники на лося" (1832), "Ханна" (1836), патриотического цикла стихов "Песни прапорщика Столя" (1848, 1860), поэмы "Надежда" (1841), где нашла отражение русская тематика. Его последняя поэма "Король Фьялар" (1844) была написана на скандинавский мифологический сюжет.

Из "Идиллий и эпиграмм" (1830)

5.
Два цветка есть дома у Лауры.
Первому дает Лаура воду,
а второй от жажды погибает.
Почему ей мил лишь только первый?
Почему другой в презренье сохнет?
Первый был любимого подарок,
а второй принес ей муж постылый.

7.
Шелестят два тополя над гробом
юноши, погибшего до срока.
Тополя посажены невестой,

в их тени сейчас играют дети —
их она растит с другим супругом, —
ловят бабочек и рвут цветочки.

10.
Пара зябликов гнездо свила весною.
Пел весною зяблик беспрерывно,
летом пел самец уже пореже,
осенью замолкла песня птичья.
Отчего? Весною пел он песни
о любви и дорогой супруге,
лето принесло ему заботы
о гнезде и птенчиках любимых.
Осень принесла с собою холод
и желанье край родной покинуть.

22.
Раз зашел на двор крестьянский старый воин,
ветеран хромой, на деревяшке.
Наливал хозяин ему чарку,
угощал с почтением солдата.
“Что, отец, в душе твоей творилось,
когда враг стеною шел на наших,
а вокруг тебя свистели пули?” —
“То же самое, когда порой осенней
в поле дико свищет непогода,
дождь и град, а ты свой хлеб спасаешь”.

25.
Высоко на склонах Саариярви,
на земле холодной жил крестьянин.
Звали его Паво, он трудился,
ожидал от Бога урожая.
Жили с ним жена и ребятишки,
хлеб свой скудный он делил с семьею,
он пахал, копал канавы, жал и сеял.
Вот весной растаяли сугробы,
унесли с собою часть озимых.
Летом град побил его посевы,
половину погубил колосьев,
заморозки отняли остатки.
Тут его жена запричитала,
в горе волосы рвала: “О, Паво, Паво!
Тяжело ходить с сумою будет,
голодать все ж будет тяжелее!”
Взял крестьянин за руку супругу:

“Нас Господь с тобою не отринул,
Он испытывает. Половину
подмешай коры в муку ржаную.
Я пророю новые канавы,
буду ждать от Бога урожая”.
Хлеб свой ели пополам с корою,
накопал канав он вдвое больше,
продал он овец, засеял поле.
Вот весной растаяли сугробы,
озимь вся на месте оставалась.
Летом град побил его посевы,
половину погубил колосьев,
заморозки отняли остатки.
Тут его жена запричитала,
била в грудь себя: “О, Паво, Паво!
Смерть нам всем, супруг мой невезучий!
Трудно умирать, но жить труднее!”
Взял крестьянин за руку супругу:
“Нас Господь, супруга, не отринул,
Он испытывает. Еще больше
подмешай коры в муку ржаную.
Вдвое глубже вырою канавы,
буду ждать от Бога урожая”.
В хлеб еще коры она вмешала,
вдвое глубже он прорыл канавы,
продал он коров, засеял поле.
Вот весной растаяли сугробы,
озимь вся на месте оставалась.
Частый град не тронул их посевов,
летом в поле рожь заколосилась,
заморозки хутор миновали.
На колена пал крестьянин Паво:
“Испытал нас Бог, но не отринул!”
И жена упала на колена:
“Испытал нас Бог, но не отринул!”
И сказала с радостью супруга:
“Радость в поле ты возьми с собою!
Кончились все наши испытанья,
нам пришла пора поесть досыта,
больше хлеб с корой я печь не буду,
поедим ржаного хлеба вдосталь!”
Взял крестьянин за руку супругу:
“Только тот выносит испытанья,
кто не бросит ближнего в печали.
Пополам с корою печь ты будешь,
на корню померз весь хлеб соседа”.

Вернер фон Хейденстам (1859–1940)

Один из крупнейших шведских поэтов. Член Шведской академии (1912–1940). Лауреат Нобелевской премии (1916). Много путешествовал по Востоку (Александрия, Каир, Бейрут, Иерусалим, Турция), посетил Российскую империю, в частности, Полтаву. Значительное время жил на юге Европы. Творчество Хейденстама вдохновлено Востоком, древними раскопками, легендами, многие произведения посвящены историческому прошлому, когда Швеция была великой державой. Первая же книга его стихов "Паломничества и странствия" (1888) сразу завоевала сердца читателей. Мажорность и яркость авторской палитры, чувственность, внимание к чертам национального характера сделали его главной фигурой шведского неоромантизма. Он писал и прозу, пользующуюся успехом. Незаконченная его автобиография "Когда цвели каштаны" вышла посмертно.

Песня забытья

— Колокол, ты опять зазвонил, — сказала покойница. Я много раз тебя слыхала. Кого-то провожают в последний путь. Но сегодня ты звонишь так странно, так горестно, как еще не звонил никогда.

— Ах, матушка, — ответил колокол. — Я звоню по твоему сыну, сегодня его хоронят. Он один на всем свете еще помнил тебя, всякие мелочи твоей жизни, твой труд, радость и горе. Больше в живых не осталось никого, кто бы еще мог тебя вспомнить живой. Теперь тебя нет совсем. Спи, старая, сегодня я и по тебе звоню в последний раз.

Похороны служанки

Тихо звучит
колокол малый.
Бедняцкий колокол
с трескучим звоном.
В черном старухи
по снегу за гробом
бредут. Вечер сер.
Динь-дон, динь-дон.
Кто тут у нас скончался?
Старуха-служанка,
семьдесят лет она прослужила в людях.

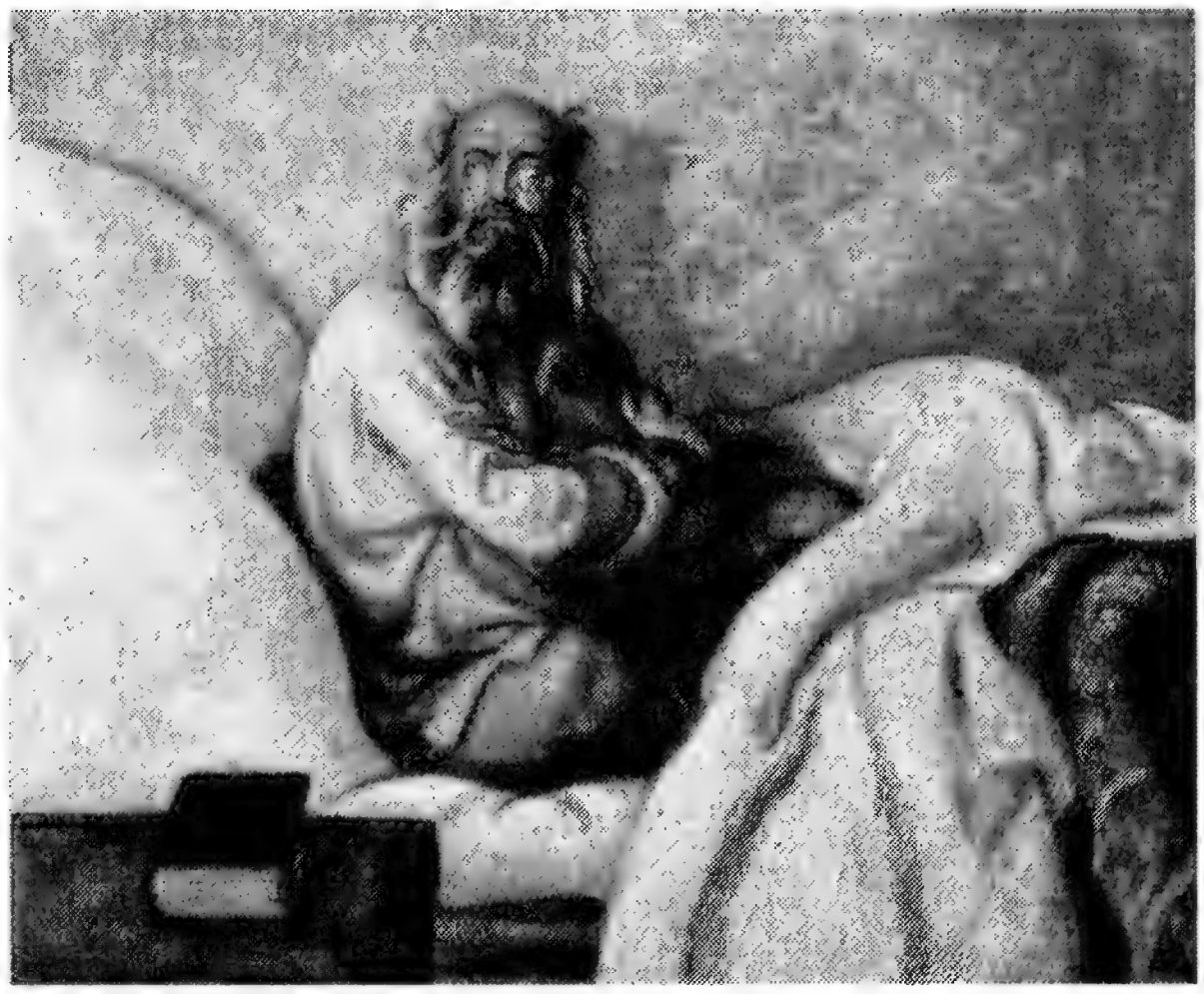
Скончалась, бедная,
служила честно.
Чистое сердце предано Богу.
А в жизни ее любили
одни невинные дети,
и ангелы бросают навстречу
ей сумеречные розы.
Утих малый колокол.
В последний вечерний час
прошептали ее имя,
забытое на земле.
Восемьдесят лет она прожила на свете.

Надпись на могиле

Присядь у меня на могиле,
тут у меня так тихо.
Скажи мне тихое слово,
мне, кто тебе не ответит.
Я дар получил великий,
я был на земле человеком,
я прожил там несколько весен.
Будь счастлив, ты видишь свет солнца.

Из сборника "Последние стихи", 1942

Густав Фрёдинг (1860–1911)



Портрет кисти Рикарда Бярга

Происходил из состоятельной семьи, наследство дало поэту возможность заниматься только литературным трудом. Среди его любимых поэтов были Гёте, Байрон, Шелли, Бернс, Гейне и По, которых он переводил на шведский. Предвозвестник модернизма в скандинавской литературе. Лирическое дарование и высокое мастерство поставили его в ряд лучших шведских поэтов. Выпустил пять сборников стихов “Гитара и гармоника” (1891), “Новые стихи” (1894), “Осколки и брызги” (1896), “Из нового и старого” (1896), “Брызги Грааля” (1898).

Н*ачало*

Стихотворений книга –
как полный самоцветов
и золота ларец.
Стихотворений книга –
как полный вин старинных
замшелый погребок.
Но иногда в шкатулку
положены каменья
не первой чистоты.
И вина, может статься,
не самой лучшей марки,
не херес и бордо.

Так пробуйте ж глазами
стихи вот этой книги,
как золото на зуб.
А будет жажда мучить —
так пробуйте без страха
старинное вино!

Заячий закон

Старинное право у зайца есть:
забраться в огород,
без счету там капусту есть,
себе набить живот
и жизнью успеть насладиться,
пока не проснется лисица.
А если проснется лисица
и зайца захочет поймать,
есть древнее право у зайца
от злого врага удирать,
чтоб жизни своей не лишиться.
Но нету права у зайца
незаячьим званием зваться.

Из сборника "Новое и старое" 1897

Оскар Левертин (1862–1906)

Поэт, прозаик, критик и литературовед. Последние семь лет жизни был профессором Стокгольмского университета. Специалист по литературе XVII века и культуре рококо. Стихи писал в основном о любви и смерти. Начал, однако, свою карьеру в качестве радикального журналиста и писателя. Писал в газете “Афтонбладет”, дебютировал в жанре короткого рассказа. В 1891 году вышла книга стихов “Легенды и песни”. За ней последовали еще три сборника: “Новые стихи” (1894), “Стихи” (1901) и “Царь Соломон и Морольф” (1905). Сборник “Последние стихи” был издан посмертно в 1907 году. Идеалы Левертина со временем претерпели изменения, в конце XIX века он уже ведущий критик консервативной газеты “Свенска дагбладет”.

Песнь Ланцелота

Тобой, королева Джиневра,
разрушена жизнь моя.
На этом пиру осеннем
ты помнишь, чья ты жена.
Я слышу твой голос сладкий —
поешь для супруга ты.
Проклятье очам обманным,
да сгинет твой лживый язык.

Я был сладкой ягодой винной,
ее ты сорвала в жару.
Ты жажду свою утолила
и выплюнула кожуру.

Я был сладкой ягодой винной
для Грааля святого вина.
Тобою навеки покинут,
На землю повержен я.

Где ленты мои золотые,
ими мать копье убрала?
Они в ночи растворились,
когда я любил тебя.
А где кольцо золотое,
Эниты дар дорогой?
Оно на руке раскололось,
ведь Бог нас видел с тобой!

Завяла живая роза,
что я с Иордана привез,
когда я, Джиневрой плененный,
на ложе ее возлег.
Погасли и звезды в небе,
и ноги устали мои.
Найду ли пути к спасенью
несчастной моей души?

В ночи разыгралось море
у Корнуэльских скал.
Там, в замке, не знают горя —
свет факелов, звуки арф.
Я голос слышу певучий,
который сгубил меня.
Мерцают звездою падучей
ее голубые глаза.

Я мог бы в бурю молиться,
но где святые слова?
С тех пор как греху подчинился,
душа неспокойна моя.
Ах, если б во сне забыться
под нянину песню мне.
Ах, если б на дне укрыться,
покоясь в морской траве.

Из сборника "Новые стихи", 1894

Пер Халлстрём (1866–1960)

Поэт, прозаик-новеллист, эссеист, переводчик. Его любимым писателем был Федор Достоевский, у которого он научился мастерству психологического письма. Поэтический дебют Халлстрёма — сборник стихов “Лирика и фантазии” (1891), по мнению критики, отличался исключительной силой воображения. Для его творчества вообще характерна погруженность в мир фантазий. Кроме сборника стихов, вышло шесть сборников рассказов, несколько романов, комедий и драм. Член Шведской академии (1908–1960), ее постоянный секретарь (1931–1941). Переводчик Шекспира.

Б*раконьер*

Наш граф повесить его приказал
на дубу и висеть оставить.
Он от охоты в своих лесах
нас этим хотел отвадить.

Его два стражника к дубу вели,
и руки связаны были.
За ними тащился потный монах,
и солнца лучи палили.

Он был без шапки и в землю смотрел,
лицо в волосах скрывалось.

Редакция выражает благодарность Монике Густафсон за любезное разрешение на безвозмездную публикацию стихотворения “Браконьер” Пера Халлстрёма на страницах журнала.

У камня в зарослях кто-то шуршал,
и что-то там показалось.

Он голову поднял и зорко взглянул,
и заяц бросился в лес.
А он — был бы он на свободе —
за добычей бы ринулся вслед.

Он видел, как заяц исчез в глубине
зеленого светлого леса.
Потом опустил он снова глаза,
и тут мы пришли на место.

Глаза он поднял, только когда
на шею петлю надели.
Из них как-то странно на нас
небо и лес глядели.

В них каждое облачко видели мы
и каждый зеленый дуб.
Дал крест монах целовать ему,
и женщина вскрикнула вдруг.

И белка выскочила из дупла,
от страха пустилась бежать,
и ветвь, на которой он висел
тогда перестала дрожать.

А ночью мы, четверо мужиков,
к дубу тому пришли,
ни слова не молвив, мы сняли его
и в лес далеко унесли.

Могилу глубокую под кустом
черемухи вешней мы рыли.
Его лук и стрелы с собой я принес,
их с ним мы похоронили.

Креста с собою не принесли,
но все же не оплошали:
мы бросили веток и старый клинок —
чтоб тролли его не достали.

Из сборника "Лирика и фантазии", 1891

Александр Мелихов
Марк Твен как зеркало русской революции

Внутренний луддит

Суждения о природе смешного бывают до смешного субъективными, говорящими больше об авторе, чем о юморе. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание — это особенно заметно, когда мы хохочем до слез. Для Чернышевского смех рождался из чувства превосходства (оттого-то мы так любим слушать анекдоты о начальстве, утомившись нашим превосходством над ним); для Фрейда — из подавленной агрессии (так что бойтесь разнеженного подтрунивания влюбленных или умильных улыбок пап и мам: их улыбки, обращенные к играющему младенцу, в любой миг могут обернуться оскалом). Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. В человека стреляют из пистолета, он вскрикивает — а пистолет-то оказывается игрушечным! Все помирают со смеху, но какой-нибудь умник только пожимает плечами: ничего смешного, глупость, и только — почему-то не всякое разрешение в ничто способно рассмешить.

Шопенгауэр был убежден, что остроумие умеет в совершенно ясных, на первый взгляд, словах найти неожиданный новый смысл. Здесь он покоится, как герой, окруженный телами поверженных им, — эта фраза вызывает представление о каком-то поле битвы; зато когда оказывается, что это надпись на могиле врача, мы смеемся, торжествуя над рассудком, нашим вечным и неотступным надсмотрщиком, претендующим на то, чтобы все понимать и выражать с исчерпывающей полнотой. Наименее интересный способ отыскания второго смысла — буквализация метафоры: вы говорите о ком-то: “Он в этом деле собаку съел”, — а остроумный собеседник поспешно интересуется: “А хвост оставил?” Еще более плоский прием — вылавливание омонимов: “По улице неслась собака”. — “Несутся только куры” (в глубоко советскую эпоху этой конвейерной продукцией любил пробавляться журнал “Крокодил”). Людей, излишне поглощенных поисками таких, более чем поверхностных, вторых смыслов, известный пси-

© Александр Мелихов, 2015

хиатр П. Б. Ганнушкин называл салонными дебилами — не в ругательном, а в диагностирующем значении. И если исключить подобный (в больших дозах патологический) юмор, можно сказать, что остроумие по Шопенгауэру показывает нам недостаточность каждого описания, каждого суждения, оно напоминает нам, что мир гораздо богаче, чем это может выразить слово, — как мозаика не может в точности воспроизвести масляную живопись.

Бергсон развивает эту мысль еще дальше, доказывая, что юмор развенчивает не только стереотипное понимание той или иной фразы, но и всякую стереотипность, деятельность по неукоснительному алгоритму, без учета обстоятельств, всегда индивидуальных и неповторимых. Наиболее отчетливо эта схема проступает в примитивном юморе: вместо привычной еды положить в тарелку какой-нибудь дряни и хохотать, когда жертва *машинально* (уподобясь машине) начнет ее поглощать: юмор, можно сказать, наш внутренний луддит — он стремится уничтожить машину в человеке.

Более тонкий пример — если рядом с выразительно жестикулирующим оратором поставить другого, в точности повторяющего его движения, патетическое превратится в комическое: человеческая душа должна иметь неповторимые формы выражения. Смешной оказывается всякая предсказуемость, "серийность" (цель хорошей пародии — вскрыть "технологический прием"). Смех требует, чтобы люди не были серийными изделиями: еще Паскаль отмечал, что два совершенно одинаковых лица, появляясь перед нами одновременно, производят комическое впечатление. Неизменность физических законов, проступающая сквозь свободное парение человеческой души, тоже производит грубо комический эффект: человек, поскользнувшийся или чихнувший в патетический миг, у многих способен вызвать искренний хохот, столь ненавистный Марине Цветаевой. "Когда человек падает, это НЕ СМЕШНО!" — на всю жизнь внушила она маленькой дочери, хохотавшей над неуклюжим клоуном.

Хороший карикатурист подчеркивает не какие попало физиогномические особенности, а именно те, которые выглядят как проявления душевного настроя, — *неизменные*, а потому чаще всего неуместные: *неизменно* кислое, изумленное или веселое *выражение лица*, которое, как нам кажется, должно постоянно изменяться сообразно обстоятельствам.

Многие пародии создаются при помощи одного приема: стиль изложения механически переносится из одной сферы в другую, где он неуместен, — языком боевых реляций или коммерческих сделок рассказывают о свадьбе, драке, похоронах... Родственный прием — распространение какой-то привычной метафоры на непривычную область: "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны" — привычно, "Советская власть — это коммунизм минус электрификация" — было довольно забавно, пока не затаскали, то

есть не создали новую повторяемость.

· Подобные приемы могут забавлять лишь до тех пор, пока мы не почувствовали и за серией острот их *серийности*, то есть тех самых повторяемости и предсказуемости, с которыми и борется юмор.

"Косное, застывшее, механическое в их противоположении гибкому, беспрерывно изменяющемуся, живому, рассеянность в противоположении вниманию, автоматизм в противоположении свободной воле — вот в общем то, что подчеркивает и хочет исправить смех", — такова конечная формула Бергсона. Для него (и для нас, для нас!) смешно все, что решено "раз и навсегда". Юмор не позволяет слишком долго следовать никакому предписанию, а потому не дает очень уж далеко заходить ни по пути порока, ни — увы! — по пути добродетели. Или не "увы"? Добродетель — это было любимое слово Робеспьера. Павел Васильевич Анненков отмечал, что в последние годы Гоголь утратил чувство юмора — регулятор, удерживающий от самоубийственных чрезмерностей. Бергсоновская догадка позволяет безо всякого фрейдизма объяснить, отчего излюбленными предметами расхожих шуток оказываются кишечно-половые отправления и действия правительства: любой запрет — а чем еще занимается правительство! — это один из тех неотвратимых и неизменных регулирующих механизмов, коих наша душа никогда не принимает до конца (в сущности, и смерть — частный случай неотвратимости, порождающей так называемый черный юмор).

Точно так же, зажатая принудительным благоговением, жизнь начинает ускользать на свободу при помощи кощунств, которые, не находя у людей сверхсовестливых ни малейшей отдушины, превращаются даже и в неврозы, навязчивые мысли, в старой психиатрии именовавшиеся "хульными": а что, если сейчас дернуть священника за бороду?.. а что, если бы с народного трибуна прямо на трибуне свалились штаны?..

В Средние века среди низшего клира были распространены непристойные пародийные богослужения — "праздники дураков"; участники этих праздников защищались такой апологией: "Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу". Апологеты праздника вполне готовы признать свою разрядку — глупостью. Но не отказаться от нее.

Большинство жаргонных выражений тоже стремится соскрести с предметов сколько-нибудь возвышенную окраску, указывая на их наиболее "низкие" функции или признаки: рот — "хлебало", нос — "нюхалка", "две дырочки", женщина — "соска", "давалка", гроб — "ящик"...

Первые анекдоты о Владимире Ильиче Ленине тоже все-

го лишь помещали его в какую-то "земную" житейскую ситуацию: то он в длинных трусах делает зарядку — маленький, толстенький, приседает; то он игриво переговаривается через дверь с Надеждой Константиновной: "Это я, Вовка-могковка". Судя по щекочущему восторгу, с каким все, впервые приобщавшиеся к этому кощунству, начинали хохотать, вино мудрости и благоговения уже давно перебродило...

В борьбе с любыми механизмами, пытающимися подчинить себе жизнь, она, жизнь, посредством луддита-юмора защищает свое право на неповторимость, на непредсказуемость, на умеренность и здравый смысл.

Нетрудно предсказать, какие отношения с юмором окажутся у титанов мысли, убежденных, что сама жизнь и есть несложный механизм: в основе — производительные силы, им соответствуют производственные отношения, те, в свою очередь, разбивают людей на классы с такими-то и такими-то свойствами и потребностями, борьба этих классов приводит к таким-то и таким-то последствиям... Марксизм можно назвать плодом не очеловеченного интеллекта, который механически переходит от незамысловатых предпосылок к незамысловатым выводам, ничуть не смущаясь их кошмарностью и... и *смехотворностью*. Основоположники если иногда и пошучивали (хотя и несмешно), то всегда над кем-то другим и никогда над собой: "Нужно прежде всего писать о противнике с презрением и насмешкой" (Фридрих Энгельс). О противнике — никогда о себе!

И смешили их странные вещи. Энгельс о перевороте Наполеона III: "История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма... Не выдумаешь комедии лучше этой". Ну а всемирный гений, доведший Учение до практической завершенности и не успевший перестроить жизнь по принципу единой фабрики только потому, что она предпочла погибнуть лежа! — смешливостью Ильича умилялись десятки мемуаристов и режиссеров. "Ух, как умел хохотать. До слез. Отбрасывался назад при хохоте", — вспоминала Надежда Константиновна. Но о причинах такого веселья большинство воспоминателей умалчивали — видимо, для них было неважно, *над чем* человек смеется, главное — *как* (то есть вопреки собственным принципам, отдавали пресловутой *форме* предпочтение над *содержанием*). Однако драгоценные крупицы все же просверкивают: то Ильич хохочет над простаками, надеющимися построить социализм без расстрелов, то над неким анти-Мазаем, что с веселым смехом истребляет беспомощных зайцев во время наводнения...

Другие эпизоды едва-едва тянут на недоуменную усмешку. Но это и неважно — "нужно прежде всего писать *о противнике* с презрением и насмешкой", всегда о ком-то, только не о себе: "Копанье и мучительный самоанализ в душе ненавидел", — та же Надежда Константиновна. Юмор — разящее оружие, и какой же большевик станет обращать его против себя!

Сатирик под машиной

Эх, не попались их сказки на зуб хорошему юмористу... Умников-то, не оставлявших от марксистских грез камня на камне (точнее, облака на облаке), было выше головы — разъясняли, что при тотальной государственной собственности люди попадут в зависимость от собственных уполномоченных, что у правящего аппарата неизбежно возникнут собственные интересы, не совпадающие с интересами трудящихся, да и сами трудящиеся совсем не против поживиться за счет друг друга, — но от воодушевляющего вранья рациональные доводы отскакивают, как горох от стены, гораздо приятнее объявить разоблачителя чьим-то наймитом, чем отказаться от бодрящего наркотика.

Однако жил на свете один могучий юморист, в ком всякий затянувшийся пафос непременно пробуждал убийственный сарказм, — я имею в виду несгибаемого Марка Твена, чьим излюбленным лакомством были шутки над смертью. Выросший в религиознейшей среде, Сэм Клеменс совсем еще молодым человеком писал брату: "Не понимаю, каким образом человек, не лишенный юмора, может быть верующим — разве что он сознательно закроет глаза своего рассудка и будет силой держать их закрытыми". Это хорошо бы, да только радость несет лишь бессознательное неведение... Марку Твену оно никак не давалось. От нежно любимой и простодушно верующей жены Оливии скрывать всю меру своего безбожия ему до какой-то степени, похоже, удавалось, но обмануть надолго себя не получалось никак. В конце концов он понаписал такого, что его дочь Клара Клеменс-Габрилович дала согласие на публикацию только через полвека (у нас "Письма с Земли"[1] были опубликованы в 1963 году). Сам же классик особенно свирепые суждения о Боге как о злобном, тщеславном завистнике завещал "никому не показывать на глаза вплоть до 2406 года", отмерив своей тайне полтысячелетия.

Человеку же в этих письмах из-за гроба досталось больше за глупость, чем за злобность, ибо злобным его создал Бог, а глупость как будто представлялась Марку Твену самостоятельным человеческим творением. По Марку Твену, свободной воли человек лишен, но глупости он творит словно бы все-таки по собственной воле: он продолжает молиться, хотя все его молитвы до единой остаются без ответа; придумав рай, он не внес туда ни одной из своих любимых радостей, начиная от соития, кое мужчины и женщины с юности до старости ценят "выше всех других удовольствий вместе взятых".

Не пощадил бывший лоцман и старатель и всю цивилизацию. "Эта цивилизация, которая уничтожила простоту и безмятежность жизни, заменила ее спокойствие, ее по-

1. Марк Твен. Письма с Земли / Перевод И. Гуровой. — М.: Госполитиздат, 1963.

эзию, ее светлые романтические мечты и видения денежной лихорадкой, низменными целями, пошлыми желаниями и сном, который не освежает; она придумала множество видов бесполезной роскоши и сделала их необходимостью; она создала тысячи порочных стремлений и не удовлетворяет ни одного из них; она свергла Бога и возвела на его престол серебреник".

Это великий сатирик писал на вершине земной мудрости и славы. Однако, уже крепко перевалив за полвека, Марк Твен устами прагматического янки из Коннектикута отвел душу и в издевках над романтическим Средневековьем, отдельно поглумившись и над Вальтером Скоттом. Ничего удивительного — для юмора нет не только ничего святого, но и просто неизменного: если чем-то восхищаются слишком долго, он непременно поднимет это на смех — юмор и пафос вообще смертельные враги. Именно поэтому можно только дивиться, с каким пафосом янки зачитывает конституцию своего штата: вся власть принадлежит народу, все правительства учреждаются на благо народа, народ вправе в любое время изменить форму правления — и так далее, и так далее без самого скромного сомненьица: а как быть, если одна часть народа желает одного, а другая — другого, как это бывает всегда, за исключением временных массовых помешательств (да и тогда остаются скептики, не поддающиеся всенародному пафосу). Марк Твен, однако, в своем демократическом пафосе переплюнул, пожалуй, даже российских народников (и лучшие умы, дескать, всегда выходили из народа, и любая монархия, дескать, хуже демократии) и либералов, верующих в гласность: только-де газета способна поднять народ из грязи!

Как будто газетчики свободны от общечеловеческого соблазна угождать сильным... (А массовая глупость будет посильнее "Фауста" Гёте.) И как будто у сильных нет возможности удалить с авансцены тех, кто попытается стать у них на пути. Нам в России особенно трудно уверовать в демократические сказки, оттого что наши лучшие умы, Пушкин и Толстой, вышли из родовой аристократии, а наш красивейший город Санкт-Петербург возводился именно монархами, привлекавшими первоклассных европейских архитекторов, чьи творения демократия теперь старается вытеснить своими помесями сундука с аквариумом. Ну а в газетах цензура владельцев оказалась даже наглее и циничнее, чем...

Ладно, о том, что слишком близко, мы лучше помолчим. Тем более что сам Марк Твен верил в нас! И выражался все с тем же пафосом, неизменность которого просто поразительна в гении юмора, не терпящего повторяемости.

"Любой народ таит в себе достаточно сил, чтобы создать республику, даже такой угнетенный народ, как русский, и такой робкий и нерешительный, как немецкий; выведите его из состояния покоя, и он затопчет в грязь любой трон и любую знать". Что ж, оба народа в конце концов удалось вы-

вести из состояния покоя, и каждый из них всего через тридцать лет создали по республике, а затем во имя соперничающих химер втоптали в грязь и в кровь: русская республика большей частью — собственное население, немецкая — чужое, но в итоге, вместе с теми, кто так стремился вывести их из состояния покоя, крепко потоптались по всей Европе. Которую Марк Твен, впрочем, отнюдь не считал образцом гуманности в сравнении — с чем бы вы думали? — с Соединенными Штатами Америки. В книге "Человеку, Ходящему во Тьме" (1901 год)[1] великодушную освободительную международную политику он называет игрой по-американски, а захватническую, корыстную — игрой по-европейски: "Мы считали наш флаг святыней, в чужих краях у нас перехватывало горло, когда, обнажив голову, мы думали о том, какие идеалы он представляет". А если идеалы оказываются нереализованными, тем хуже для исполнителей — у нас в СССР народ тоже всегда оказывался недостаточно хорош для социалистических идеалов.

Повальное хамство ("оскорбления начинаются уже в таможне и преследуют вас неотступно"), зверства и бесконтрольность полиции, мифические поставки по госзаказам, 30 тысяч погибших в год по милости железных дорог, суд присяжных, состоящий из круглых невежд, половина страны, голосующая за явного мошенника, доблестная армия, после месячной осады покорившая 60 индейцев, — только индейцы заставляют догадаться, что речь идет о самой могущественной державе мира, в чьих идеалах великого скептика никак не мог заставить усомниться его же собственный бесконечный перечень ее пороков.

Только ее ли? Не человеческого ли рода, о котором Марк Твен высказывался столь нелицеприятно и выше, и ниже? (Кое-что для краткости дадим в близком к тексту вольном пересказе.) Чуть Марк Твен сбрасывал напор пафоса, как в нем тут же пробуждался сарказм.

Есть законы, охраняющие свободу печати, но нет законов, охраняющих граждан от печати. Общественное мнение нации — эта грозная сила — создается в Америке бандой малограмотных, самодовольных невежд, газеты превратились в проклятие Америки и того гляди погубят страну.

Сенатор: человек, издающий законы в Вашингтоне в те промежутки времени, когда он не сидит в тюрьме за уголовные преступления.

Слуги народа: личности, выбранные на свои посты, чтобы распределять взятки.

Читатель, представь себе, что ты идиот. А теперь представь, что ты — член американского конгресса. Впрочем, я повторяюсь...

Этот убогий конгресс — сборище невежд и аферистов. Банда вымогателей и воров.

Однако даже марктвеновскому сарказму не взять цитадель красивой сказки: вопреки всему народовластие — все-

1. Собр. соч. в 8 тт. — Т. 7 / Перевод В. Лимановской. — М.: Правда, 1988.

гда благо, пусть даже "большинство всегда неправо", монархия же — всегда зло.

Монархия в любой форме есть оскорбление для человечества.

Первым заветом во всех монархических странах должно быть Восстание, и вторым — Восстание, и третьим, и всеми прочими заветами в любой монархической стране должно быть Восстание против церкви и государства.

Там, где Пафос начинает писать Слова с Заглавных Букв, добра не жди. Мы-то знаем, какая Монархия в тот исторический миг более прочих взывала к Восстанию...

Мои симпатии на стороне русской революции.

Поможем России создать республику, которая обеспечивала бы степень свободы, какой пользуемся мы.

Да, Пафос способен убить не только скепсис, но и память. "Милостью Божьей в нашей стране мы имеем три драгоценных блага: свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем ни другим", — можно подумать, что эти слова Марка Твена, прочитанные почти полвека назад, запомнились мне лучше, чем ему самому...

Мы, американцы, поклоняемся доллару — это более достойное божество, чем наследственные привилегии.

Но наследственные привилегии никогда и не были божеством, сословия создавались для *обязанностей,* для выполнения государственных функций, а когда эти функции отмирают, то и привилегии обращаются в фикции. Зато никогда не обращается в фикцию конкуренция социальных групп, каждая из которых никогда не прочь поживиться за счет остальных, как бы она ни называлась — дворяне, мещане или трудящиеся, подавляющее большинство которых трудится только потому, что не видит возможности переложить эту почетную обязанность на других. Марк Твен же пишет о трудящихся, словно это какая-то порода животных, сохраняющая свои повадки независимо от условий среды. Но ведь даже звери ведут себя по-разному в лесу и в зоопарке, а вот "новый король" — Марк Твен короновал трудящихся — станет надежной защитой "против социалистов, коммунистов, анархистов, против бродяг и корыстных агитаторов, ратующих за 'реформы', которые бы дали им кусок хлеба и известность за счет честных людей".

Тут уже ум начинает заходить за разум: если плохи самые популярные пролетарские течения: социализм, коммунизм, анархизм, — то какое же социальное устройство предлагает нам гений юмора? Что еще остается?

Нет ответа, один только пафос: не новый строй, а "новый король", все те же трудящиеся, будет "прибежищем и защитой" против "всех видов политической хвори, заразы и смерти".

"Как он использует свою власть? Сначала — *для угнетения.*

Ибо он не более добродетелен, чем те, кто властвовал до него, и не хочет никого вводить в заблуждение. Разница лишь в том, что он будет угнетать меньшинство, а те угнетали большинство; он будет угнетать тысячи, а те угнетали миллионы. Но он никого не будет бросать в тюрьмы, никого не будет бить плетьми, сжигать на кострах и ссылать, не будет заставлять своих подданных работать по восемнадцать часов в день и не будет морить голодом их семьи" – из всего перечисленного не случилось, кажется, только костров, давно погасших до эпохи Марка Твена. Зато каторжный труд, голод, избиения и расстрелы – это власть трудящихся принесла в невообразимых прежде масштабах. Однако причиной такой осатанелости власти был не только недостаток "добродетели", а борьба за выживание, которая и во все времена служила главной причиной сверхконцентрации людских усилий: тоталитаризм был не целью, а средством тотальной мобилизации. Помимо "угнетателей" и "угнетенных", только и присутствующих в схеме Марка Твена, в мире есть, к несчастью, еще и завоеватели, о чьей добродетели кое-что могли бы рассказать тысячи рабов, ежегодно похищавшихся уже в сравнительно цивилизованные времена нашими соседями, перебивающимися так называемой набеговой экономикой. Если сравнить, сколько средств угнетатели расходовали на себя и сколько – на содержание армии, то выяснится, что их роскошь была не такой уж дорогостоящей. А что бывает с теми трудящимися, которых внутренние угнетатели, пусть даже в качестве своего имущества, не сумели защитить от внешних, Марк Твен мог бы понять, глядя хотя бы и на американских негров, которым он так сочувствовал (вымирающих индейцев он, похоже, не считал угнетенными, борясь в основном с их романтизацией). Однако пафос застилал ему глаза.

Зато трудящихся так называемого цивилизованного мира он романтизировал без берегов. Этот "новый король" (трудящиеся, трудящиеся!) – "самое ошеломляющее порождение самой высокой цивилизации нашего мира, и лучшее, и достойнейшее. Только наше столетие, только наша страна, только наш уровень цивилизации могли породить его. Подлинные жизненные знания, которыми он владеет – а только знания дают божественное право на власть, – результат полученного им опыта, в сравнении с которым образованность королей и аристократии, веками правивших, – детский лепет, не стоящий внимания. Сумма его познаний, собранных из тысячи недавно родившихся новейших профессий со всеми их подразделениями, требующих от миллионов людей напряженной, точной, сложной работы, физической и умственной, – эта сумма познаний так огромна, что по сравнению с ней сумма всех человеческих познаний в любую предшествующую эпоху, вплоть до рождения старейшего из тех, кто здесь присутствует, – все равно что пруд по сравнению с океаном или холмик по сравнению с Альпами".

Это верно, если к трудящимся отнести не только рабо-

чих, чаще всего действующих механически и по чужому плану, но еще и инженеров, чьи коллективные познания и впрямь простирались от железных дорог и доменных печей до телефонов и электрических ламп. Правда, каждому из них в отдельности открывалась (и открывается) лишь малая часть этого океана, а что еще хуже, инженерные познания порождают собственные формы профессионального идиоти... пардон, редукционизма: один моделирует человека по образу и подобию двигателя внутреннего сгорания, другой — по образу и подобию радиоприемника подобно тому, как в рассказе Марка Твена "Мои часы" один часовщик предлагает подкинуть часам подошвы, а другой — спустить пары. Последним писком технического редукционизма была кибернетика (уподобление человека компьютеру), а этология, сводящая человека к стадному животному, и по сей день еще людям не прискучила.

Прежней аристократии так высоко было не взлететь, но, если говорить об идеальной ее миссии, она чувствовала себя ответственной за общественное целое, а потому была менее склонна обменивать будущее государства на сиюминутные выгоды. Именно аристократии-то и не хватает современному демократическому обществу, однако Марк Твен замечал лишь ее доходы и видеть не желал принесенные ею жертвы — прежде всего на поле брани. Даже интересно, успел ли яростный американский народник прочесть "Войну и мир" *графа* Толстого:

— Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно! — взвизгнул он.

В отношении к монархии Марк Твен доходил до комической повторяемости. Когда другой народник Николай Чайковский собирал в Америке средства на русскую революцию, как вскоре выяснилось, Первую и, увы, не последнюю, Марк Твен посчитал своим долгом "плеснуть в его кратер холодной воды". А именно: "...наше христианство, которым мы издавна гордимся — если не сказать кичимся, — давно уже превратилось в мертвую оболочку, в притворство, в лицемерие"; "мы утратили прежнее сочувствие к угнетенным народам, борющимся за свою жизнь и свободу"; "мы либо холодно-равнодушны к подобным вещам, либо презрительно над ними смеемся". Чайковский возразил, что всего два-три месяца назад американцы в мгновение ока собрали на русскую революцию два миллиона долларов — тогда это было очень прилично, — однако великого скептика купить не удалось: "Эти деньги собрали не американцы, их собрали евреи; значительную долю этой суммы внесли богатые евреи, но все остальные деньги дали русские и польские евреи Ист-Сайда, то есть горькие бедняки. Евреи всегда отличались благожелательностью. Чужое страдание всегда глубоко трогает еврея, и, чтобы облегчить

его, он способен опустошить свои карманы. Они придут на ваш митинг, но, если там появится хоть один американец, посадите его под стекло и показывайте за деньги".

Сам пламенный скептик на митинг прийти не смог, однако на митинге зачитали его письмо, тут же напечатанное в "Нью-Йорк таймс" под шапкой ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РОССИЮ: "Россия уже слишком долго терпела управление, строящееся на лживых обещаниях, обманах, предательстве и топоре мясника, — и все во имя возвеличивания одного-единственного семейства бесполезных трутней и его ленивых и порочных родичей".

М-да, юмор здесь окончательно перемолот пафосом, великий борец с машиной внутри человека словно оказался затянут в пропагандистскую машину революционной пропаганды. Неужто прокладываются железные дороги, льется сталь, пишутся романы и научные формулы, поются арии и лечатся болезни исключительно ради возвеличивания одного семейства?.. Пытался ли апологет трезвости хотя бы прикинуть, какая доля национального дохода уходила на содержание семейства трутней? Нет, пафосу не до скучных цифр.

В 1906 году Марк Твен писал: "Вот уже два года, как ультрахристианское царское правительство России официально устраивает и организует резню и избиение своих еврейских подданных. Эти избиения происходят так часто, что мы стали к ним почти равнодушны. ...Намного ли продвинулось к терпимости человечество за время, прошедшее между резней альбигойцев и этими еврейскими погромами в царской России? Во всяком случае, между ними, несомненно, есть одно различие. Царская бойня далеко превзошла древнюю и зверствами, и утонченной жестокостью. Можно ли заметить какое-либо продвижение вперед между Варфоломеевской ночью и этими погромами? Да, разница та же самая: русские черносотенцы-христиане в 1906 году и их царь дошли до такой кровожадной и животной жестокости, какая и не снилась их неотесанным собратьям, жившим 335 лет тому назад".

Каким образом человек, не лишенный юмора, может верить и повторять эти страшилки для младенцев? Революционная пропаганда ведь на них и рассчитана. Да еще на психопатов, которые, подобно паровозам, только и могут передвигаться силой безостановочно клокочущего внутреннего пафоса. Вот уж кто подобен машине в своем убийственно монотонном благородном негодовании!

Это очень тоскливое зрелище — человек, управляемый машиной. Но когда под машину попадает великий луддит... Я только сейчас понял глубинный смысл нашей переделки гимна Советского Союза: *союз нерушимый, сижу под машиной...* — имелась в виду пропагандистская машина.

Марк Твен справедливо упрекает оптимистов за то, что они никогда не подкрепляют свою веру статистикой, но

этот упрек в данном случае ему было бы неплохо обратить на себя. Считается, что во время альбигойских крестовых походов погибло порядка миллиона человек, а при штурме Безье катары (менее трехсот) были перебиты вместе с католиками (не менее семи тысяч). Марк Твен не пожелал заглянуть даже и в собственную статистику — он когда-то писал о Варфоломеевской ночи: "За эти двое-трое суток во Франции было убито семьдесят тысяч человек". Как ни ужасны погромы, за всю погромную полосу евреев было убито раз в сто меньше, чем французов. И доказательств организующей роли царского правительства не найдено никаких — обвинить его удается разве что в попустительстве, а бить евреев народ всегда умел и без поддержки власти. Что подтвердила и победа революции: после падения власти трутней в погромах погибло в двести-триста раз больше евреев, чем на царской бойне.

Вера великого скептика в благодетельность русской революции говорит о том, что эта греза захватывала не только кучку фанатиков и обиженных на Россию евреев, но и людей наиболее трезво мыслящих, — и это доказывает, что у революционной грезы не было соперниц. Циники и прагматики могли держать народ в узде лишь до тех пор, покуда этот океан еще не всколыхнулся. А когда пала власть, шанс захватить хоть какую-то существенную часть массы имели только служители красивой сказки, и у аристократии такой сказки не нашлось.

Царскую же власть валили буквально всем миром — всем цивилизованным миром. В своем "Монологе короля Леопольда"[1] Марк Твен приводит стихи о русском царе, опубликованные в респектабельной американской печати:

Прогнивший плод, который
портит сад,
Покинут Богом, временем забыт.

Ничего не скажешь, пафосно, пафосно.

Или:

Ужасно... Боже, ты, кто это
видишь,
Избавь от изверга такого землю!

В Америке молили Бога избавить землю от русского царя! И Бог ее вскорости избавил. Вместе даже и не сосчитать с каким количеством миллионов трудящихся.

Что такое "друзья евреев" и как они воюют против большевиков

Согласен, еврейская политика Николая Второго была хуже, чем преступной, — ошибочной. Дело императора открывать наиболее энергичным инородцам путь в имперскую элиту, соблазнять их, а не озлоблять. Конечно, это встретило бы сопротивление и элиты, и массы, да и приручить такого сильного конкурента было нелегко (а что легко,

1. Собр. соч. в 8 тт. — Т. 7 / Перевод В. Лимановской.

быть расстрелянным в подвале?), но вряд ли евреи оказались бы жестоковыйнее немцев, вполне лояльно послуживших российской короне, – во всяком случае, верхи не вправе вламываться в обиды, как это делают безответственные низы. Однако даже и обидчивый самодержец отказался использовать восхитившие его "Протоколы сионских мудрецов": "Нельзя защищать благородное дело грязными средствами" (цивилизованный мир впоследствии оказался менее брезглив).

Наверняка "личная неприязнь" подвигала императора реагировать на погромное движение недостаточно оперативно (хотя что у нас делается оперативно?), можно даже допустить, что он и сам посылал погромщикам воздушные поцелуи, хотя доказательств тому не найдено. Но если даже предполагать самое худшее, Гражданская война все равно показала, во что разворачивается юдофобия без ограждений государственной власти. Если слушать не пропаганду ее конкурентов, а, скажем, заглянуть в "Записки коммивояжера" Шолом-Алейхема, то даже и казак может из погромщика на минуту превратиться в защитника: "Услышали мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело лишь в том, кто раньше явится – казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки....Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, понятно, с криками 'ура', – как сам Бог велел. Только они чуть-чуть опоздали. По улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в руках. В каких-нибудь полчаса от черной сотни и помина не осталось. Разбежались, как крысы от голода, растаяли, как снег в солнечный день".

Разумеется, так случалось не потому, что казаки любили евреев, а потому, что их интересы в ту минуту побуждали их быть на стороне полицейского порядка. Когда же полицейский порядок рухнул, а главное, когда забрезжила опасность, что долгожданная революция шагнет и в англо-саксонский мир, этот мир отреагировал совершенно по-общечеловечески: из жертв, которыми можно было годами колоть глаза царской России, евреи немедленно превратились в мировую закулису.

Уже с бархатной весны 1917 года солидная газета "Таймс" начала пропагандировать вполне черносотенный (это диагноз, а не ругательство) взгляд на движущие силы революции, а через два года ее российский корреспондент сообщил, что большевики установили в Москве памятник Иуде Искариоту. Знаменитый же эссеист Честертон предостерегал английских евреев, что если они "попытаются перевоспитывать Лондон, как они уже это сделали с Петроградом, то вызовут такое, что приведет их в замешательство и запугает гораздо сильнее, чем обычная война". Пусть они говорят, что хотят, от имени Израиля, "но если они осмелятся сказать хоть одно слово от имени чело-

вечества, то потеряют своего последнего друга".

И в антибольшевистском крестовом походе Лондон отнюдь не брезговал вполне черносотенными средствами. Летом 1918 года британские войска, оккупировавшие российский Север, разбрасывали с самолета антисемитские листовки, а доклад преподобного Б. С. Ломбарда, капеллана британского флота в России, был опубликован по обе стороны Атлантики. В докладе говорилось, что большевизм направляется международным еврейством, а национализация женщин уже в октябре 1918-го являлась свершившимся фактом.

После младотурецкой революции по английской печати прокатилась кампания, приписывающая турецкую революцию иудео-сионистскому или иудео-масонскому заговору (хрен редьки не слаще), а британский посол в Вашингтоне сэр Сесил Спринг-Райс распространял эту информацию как вполне достоверную и проводил параллели с Октябрьской революций.

Блестящий литературный критик Генри Луис Менкен в 1920 году писал о евреях: "Их дела отвратительны: они оправдывают в десять тысяч раз больше погромов, чем реально происходит во всем мире", — и в том же году официальными лондонскими типографиями были напечатаны "Протоколы сионских мудрецов", а главный столп британского консерватизма Уинстон Черчилль опубликовал большую статью, в которой разделил евреев на три категории: лояльных граждан своих стран, сионистов, мечтающих восстановить собственную родину, и международных евреев-террористов. И в изображении евреев третьей категории сэр Уинстон переплюнул самых осатанелых антисемитов: оказывается, евреи третьей категории готовили всемирный заговор, начиная с XVIII века. Он уверял также, что в России еврейские интересы и центры иудаизма оказались не затронуты тотальной разрушительной деятельностью большевиков. В довершение Черчилль приписал Троцкому проект коммунистического государства под еврейским господством. Гитлер в "Моей борьбе" выразил полное согласие с этой версией.

Чтобы избежать более чем заслуженных обвинений в юдофобии, Черчилль во вступлении к своей статье исполнил короткий гимн во славу евреев: они представляют собой самый замечательный народ из всех, известных до нашего времени, однако нигде больше двойственность человека не проявляется с большей силой и более ужасным образом, и вот в наши дни этот удивительный народ создал иную систему морали и философии, которая настолько же глубоко проникнута ненавистью, насколько христианство — любовью.

Этот гимн тоже можно включить в памятку юдофоба, ибо источником антисемитской химеры в ее современном варианте является греза о еврейской исключительности. Чрезмерная ненависть — следствие страха перед преувеличенным могуществом.

Короче говоря, не только русскую революцию, но и Холокост готовили всем миром.

Пардон, всем цивилизованным миром: участие индусов и китайцев, кажется, не было зафиксировано.

Это так по-общечеловечески — сначала разворошить дремлющие вулканы, а потом возмущаться свирепостью извержения, предварительно запершись на три оборота. На Эвианской конференции гуманнейшие и могущественнейшие державы мира только разводили руками: они уже и так сделали все возможное для облегчения участи тогда еще полутора сотен тысяч беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии. Представитель США заявил, что по въездной квоте 1938 года для беженцев из Германии и Австрии Штаты приняли 27 370 человек и этим исчерпали свои возможности. Аналогичную позицию заняли Франция и Бельгия. Канада и страны Латинской Америки мотивировали свой отказ в приеме беженцев безработицей и экономическим кризисом. Нидерланды предложили помощь по транзиту беженцев в другие страны. Великобритания согласилась для размещения беженцев предоставить свои колонии в Восточной Африке (Эйхман одно время тоже надеялся выселить евреев на Мадагаскар), но отказалась пересмотреть квоту на въезд евреев в подмандатную ей Палестину (75 тысяч человек в течение пятилетнего периода — сотая часть нынешнего населения). Австралия отказалась впустить сколько-нибудь приличное число беженцев, опасаясь возникновения внутренних конфликтов, но снизошла до того, чтобы принять в течение трех лет 15 тысяч человек (при плотности населения меньше трех человек на квадратный километр). Из тридцати двух государств только *богатейшая* Доминиканская Республика согласилась принять солидное число беженцев и выделить необходимые земельные участки.

Заметьте, для страны со стопятидесятимиллионным населением сто пятьдесят тысяч человек — это одна тысячная еврея на душу населения, и все-таки даже эта тысячная доля оказалась неподъемной ношей...

Да и свершившийся Холокост не слишком ужаснул нормальных американцев, если заглянуть за декорации деклараций. Вероятно, многие и сейчас с изумлением прочтут роман американского еврея и знаменитого драматурга Артура Миллера "Фокус"[1]. Роман написан в 1945 году по горячим следам событий, изображенных в манере крепкой очеркистики. Вот-вот окончится война, но благонамеренный стопроцентный американец мистер Ньюмен никак не обретет мира в душе. В нью-йоркском метро он прочитывает на стальной колонне: *Жиды затеяли ВОЙНУ*. И чуть ниже: *Смерть жидам смерть жи*.

И ведь почти каждый разделяет негодование человека, написавшего этот лозунг, с горечью размышляет мистер Ньюмен, но почему-то сказать всю правду вслух решаются только

1. Перевод В. Михайлина. М.: Текст, 2007.

люди самого последнего разбора... Вот и его сосед Фред, "неповоротливый хряк", говорит "именно то, о чем ты думаешь сам, но сказать не решаешься". А говорит он, в частности, что кондитер Финкелстайн мало того, что сам въехал в их "чистый" квартал, так еще и родственников с собой перетащил: "Нужно устроить им тут веселую жизнь, они живо чемоданы соберут".

Мистера Ньюмена всякое насилие коробит. Избавление от евреев в его смущенных грезах предстает как-то так: вульгарная чернь под руководством джентльменов, вроде него самого, выполняет грязную работу, а после этого куда-то исчезает; поэтому каждый раз, когда чернь демонстрирует, что не собирается быть послушным орудием в чьих-то руках, а хочет хозяйничать сама, он испытывает растерянность. Но покупать у Финкелстайна все-таки перестает.

А между тем для его солидной работы ему срочно понадобились очки. Которые внезапно выявили некоторые ужасные особенности его облика: он сделался неотличимо похож на еврея — даже улыбка его уже не могла оставаться искренней в соседстве с "огромным семитским носом, выпученными глазами и настороженной посадкой ушей". Бедняга, однако, пытается вести прежний респектабельный образ жизни, но не тут-то было. Он под разными вежливыми предлогами отказывается принять на работу женщину с семитской внешностью, и она открыто выражает ему презрение, явно принимая его за микрирующего еврея. И он ощущает ее в чем-то правой:

Для него еврей был прежде всего обманщиком. По определению. Только этот смысл всегда и был неизменным. Потому что бедные евреи вечно норовят притвориться, что они беднее, чем есть на самом деле, а богатые — что они богаче. Когда ему случалось проходить мимо еврейского дома, за неряшливыми занавесками на окнах ему неизменно мерещились спрятанные деньги, и немалые. Если он видел еврея за рулем дорогого автомобиля, ему тут же приходило неизбежное сопоставление с черномазым, который едет на дорогой машине. С его точки зрения, благородных традиций, которые все эти люди пытались так или иначе выставить напоказ, им просто неоткуда было взять. Если бы у него самого завелся роскошный автомобиль, никто бы даже на секунду не усомнился в том, что он от рождения привык к роскоши. И любой нееврей выглядел бы так же. А еврей никогда. В домах у них вечно стоит вонь, а если ее там нет, то исключительно по той причине, что хозяева не хотят казаться евреями. Он был уверен: если они и делают что-нибудь порядочное, то никак не от души, а только для того, чтобы втереться в доверие к порядочным людям. Эта уверенность жила в нем от рождения, с тех пор, как он жил в Бруклине и буквально в квартале от его дома начинался еврейский район... Лицемеры, жулики. Все до единого.

Собственно, американское воображение дополнило этот вполне традиционный портрет лишь одной пикантной деталью — "животным вожделением

к женщине", о коем говорит "их смуглая кожа и темные веки".

Однако теперь издевательское сходство с этими монстрами необратимо меняет его собственную жизнь.

Для начала его переводят с витринной, так сказать, части корпорации, где он работал, в некую изнаночную ее часть. Затем решительные ребята, собирающиеся устроить евреям веселую жизнь, начинают по ночам вместе с мусорным ящиком Финкелстайна опрокидывать и его мусорный ящик. Хотя Фред ему еще доверяет, делится своими планами купить загородный дом после того, как "вскроем жидят", но защитить Ньюмена уже не может: понимаешь, мол, старина, никто не верит, что ты не из этих. Отверженный англосакс по настоянию жены пытается засвидетельствовать свою благонадежность тем, что отправляется на антисемитский митинг Христианского фронта, но поскольку он не может скрыть, что откровенная психопатичность и вульгарность ему не по душе, его, слегка помяв, вышвыривают вон.

Поневоле оказавшись в одной компании с Финкелстайном, он узнает от опытного отверженца, насколько наивны его надежды на умеренных антисемитов, не выходящих из повиновения джентльменам, подобным ему самому: "Вы что, не понимаете, что они делают? На что им сдались евреи? В этой стране живет сто тридцать миллионов человек, а евреев — всего пара миллионов. Им нужны вы, не я. Я... Я... Я пыль под ногами, я ничто. Я им нужен только для того, чтобы натравить на меня людей, и тогда к ним повалят и мозги, и деньги, а потом они подомнут под себя всю страну... За всем этим стоит очень трезвый расчет, и они хотят заполучить всю страну".

Завершается роман настолько романически — мистер Ньюмен обретает чувство солидарности с Финкелстайном и начинает борьбу с хулиганствующими юдофобами,— что лучше вернуться к исторической реальности. После 1933 года, когда евреям уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов требовали полного запрета на въезд беженцев. И организации эти были отнюдь не слабые: пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса, да еще поболе того единомышленников охватывали десятки, если не сотни мелких структур. Это если говорить об активистах. Но их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением, да, мнением народным создавался чиновничий саботаж, стараниями которого за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. Осквернение еврейских кладбищ, свастики на стенах синагог и еврейских магазинов, избиения, на которые полиция закрывала глаза, антиеврейские листовки, карикатуры, надписи на этом фоне выглядят уже сравнительно невинными забавами. Согласно некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже

"Новый курс" Рузвельта называли "Еврейским курсом" ("New Deal" – "Jew Deal"); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные лишь соглашались отнестись к ней с пониманием.

В такой обстановке даже после войны авторитетные еврейские организации в Нью-Йорке отвергли предложение о создании мемориала Холокоста, предпочитая не напоминать ни о своих успехах, ни о своих бедствиях.

Правда, крупный американский социолог Джеффри Александер в своей монографии "Смыслы социальной жизни: культурсоциология" (М., 2013) дает этому другое объяснение: евреи не желали резервировать за собой образ беспомощных жертв (читай: трусов – по контрасту с американскими героями-освободителями). В первых американских репортажах о "зверствах" евреи вообще не упоминались, заслоненные жестоким обращением японцев с американскими военнопленными (возмущение американского общества сильно упростило решение об атомной бомбардировке). Позже именно размах и беспричинность массовых убийств евреев начали вызывать недоверие, тем более что пропаганда слишком много врала о зверствах немцев во время Первой мировой войны. Но вот когда сомневаться стало уже невозможно, простым американским парням оказалось легче войти в шкуру симпатичных немцев, чем грязных одичавших евреев.

Американским пехотинцам, которые первыми вступили в контакт с пленниками, высшим офицерам, которые руководили процессом реабилитации, репортерам, которые передавали описания ситуации, комиссиям, состоящим из конгрессменов и влиятельных лиц, которые сразу выехали в Германию, чтобы провести расследование на месте, умирающие от голода, истощенные, часто странно выглядящие и иногда странно себя ведущие выжившие обитатели еврейских лагерей казались представителями иной расы. Они с тем же успехом могли бы прибыть с Марса или из преисподней. Личности и черты характера этих переживших Холокост евреев редко раскрывались в интервью и не обретали индивидуальности в биографических очерках; не только сотрудниками газет, но и некоторыми самыми влиятельными высшими офицерами верховного командования сил союзников они скорее изображались как масса, а зачастую и как беспорядочная толпа, причем толпа заторможенная, деградирующая и дурно пахнущая.

Американские и британские администраторы проявляли по отношению к выжившим евреям раздражительность и даже личную неприязнь и иногда прибегали к угрозам и даже наказаниям.

Глубина этой первоначальной неспособности соотнести себя с жертвой проявляется в том факте, что, когда американские граждане и их лидеры выражали мнения и принимали решения по поводу национальных квот для форсмажорной послевоенной эмиграции, перемещенные лица немецкого происхождения рас-

сматривались в первую очередь, а пережившие Холокост евреи в последнюю.

Президенту Трумену пришлось прямо указать генералу Эйзенхауэру, что, согласно отчету, сделанному его специальным экспертом Эрлом Харрисоном, "мы, по-видимому, обращаемся с евреями так, как с ними обращались нацисты, за исключением того, что мы их не уничтожаем". Что, впрочем, совсем не мало. И, тем не менее, "тысячи перемещенных евреев все еще в тесноте живут в плохо управляемых концентрационных лагерях, они плохо накормлены и одеты и размещены в плохих условиях, в то время как удобные дома поблизости заняты бывшими нацистами или сочувствующими им. Этим евреям до сих пор не разрешается покидать лагеря без пропусков, которые им выдаются, исходя из совершенно непостижимой установки, что с ними следует обращаться, как с заключенными. ...*Американцы* будут глубоко обеспокоены тем, что антисемитизм, как и снисходительность к нацистам, процветает среди американских оккупационных сил" (октябрь 1945-го). Как будто в оккупационных силах служили не американцы...

Газета "Тайм" писала тоже не об "американцах", но о "солдатах":

У обычных солдат тоже были проблемы. С тех самых пор, как они оказались в Германии, они спутались не только с Fräulein, но и с философией. Многие начали рассуждать о том, что немцы вообще-то нормальные ребята, что их вынудили вступить в войну, что истории о злодеяниях — фалышивка. Знакомство с охочими немецкими женщинами, со свободолюбивой немецкой молодежью привело к забвению Бельзена, Бухенвальда и Освенцима.

Ясно, что чистенькие фройляйн и вчерашние члены гитлерюгенда, от всей души провозгласившие "Гитлер капут!", были куда симпатичнее полуобезумевших грязных евреев. И все-таки американская элита, а еще больше фильмы и фотографии сумели-таки внушить американскому народу, что антисемитизм не просто недопущение евреев в клубы по симпатиям и не процентные нормы в высших учебных заведениях (мы-то в своем самомнении воображали, что это чисто российское изобретение!), но путь, ведущий к газовым камерам. А Холокост совместными усилиями превратился из ужасного, но частного эпизода в символ онтологического зла.

Что не улучшило глубинного отношения к каждому отдельному еврею и даже навлекло на него недовольство, что он слишком приземлен и материален для своей миссии всемирного символа.

Зато, когда понадобилось в геополитических видах вступиться за советских евреев, чтобы вставить пистон Советскому Союзу, американцы, прямо по Оруэллу, превратились в *вечных* друзей нашего брата-еврея — учитесь, варвары, как всегда быть чистыми!

Последняя русская революция рубежа девяностых тоже может послужить образцом,

как нужно благородно поддерживать свободу и брезгливо отвращаться от ее неизбежных последствий — полированной броней пафоса защищаться от самомалейших помыслов о хоть самой малой крупице и собственной ответственности. Долой мучительный самоанализ в душе! С презрением и насмешкой нужно говорить исключительно о противнике, если даже ты сам помог ему появиться на свет!

Только так и возможно сохранить безмятежную убежденность в неразрывности этих понятий — цивилизация и моральное совершенство.

И все-таки я верю: если бы Марк Твен дожил до победы рабочих партий в России и Германии, он не стал бы защищаться пафосом и все валить на исполнителей, исказивших прекрасную идею. От его сарказма, надеюсь, не укрылось бы, что русскую революцию раздували все вместе, а свалили на евреев, как это делал и нецивилизованный народ из "Окаянных дней": "А что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили".

Я верю...

Но почему? Другой гений остроумия, а следовательно и скепсиса — Бернард Шоу — согласился ручкаться со Сталиным, чтобы только сохранить любимую социалистическую сказку. Зато Гитлер не сумел пленить никого из левых "мастеров культуры". Так что приравнивать двух этих монстров означает записывать в нацисты и Фейхтвангера, и Ромена Роллана.

Марк Твен до этого выбора не дожил. К несчастью или к счастью?

Александр Ливергант

“...сидит щегол в клетке, у окошка”, или Симулятор виртуальной реальности

Была, помнится, в советское время такая газетная рубрика: “Письмо позвало в дорогу”. Меня “позвал в дорогу” не столько даже восьмисотстраничный роман американки Донны Тартт “Щегол”, который на радость любителям увлекательного чтива вышел в этом году в московском “Corpus’e”, сколько рецензия на него Юлия Дубова в 4-м номере “Нового мира”.

Рецензия на роман обращает на себя внимание двумя вещами. Заглавием — “Записки реконструктора”. И громкими именами, с которыми у рецензента ассоциируются “Щегол” и предшествовавшие ему романы Донны Тартт “Тайная история” и “Маленький друг”. Кого тут только нет. И “Портрет Дориана Грея” Оскара Уайльда, и “Волхв” Джона Фаулза, и романы Диккенса, и “Гарри Поттер” Джоан Роулинг, и даже “Идиот” Достоевского. И все эти книги “реконструируются” — сначала Донной Тартт и вот теперь Юлием Дубовым, назвавшим “Щегол” “умной, талантливой и очень грустной книгой”.

Насчет ума, таланта и грусти можно поспорить, но то, что Донна Тартт — мастер импровизаций на классические темы — факт неоспоримый. В “Щегле”, Дубов прав, можно и в самом деле, причем невооруженным глазом, разглядеть и Диккенса, и Фаулза, и Стивенсона, и Достоевского. И много кого еще. Раскрыв этот увесистый том, читатель наверняка испытает чувство ностальгии: он встретит и знакомых с детства персонажей (даром что под чужими именами), и заимствованные из классики, узнаваемые сюжеты и мотивы. Рассказчик Тео Декер и характером, и судьбой схож с Оливером Твистом — хотя то, что выпало на долю сироте Донны Тартт, сироте Чарльза Диккенса не приснилось бы и в кошмарном сне. Много общего у Тео и с Пипом из “Больших надежд”. Похож он (и внешне тоже) и на героя-очкарика Джоан Роулинг: не случайно ведь украинский друг Декера Борис (эдакий Мефистофель — еще одна ассоциация, — “та сила”, которая творит зло, а получается добро) с первых же дней знакомства нарекает его “Поттером”. Криминальный делец Хорст напоминает Дубову Феджина, девочка

© Александр Ливергант, 2015

Пиппа, взявшая свое имя напрокат у героя "Больших надежд", — Флоренс Домби. Ну а имя таинственного (до поры до времени) невадского криминального авторитета — Сильвер — говорит само за себя.

Вот только "реконструирует" классику Донна Тартт с целью отчетливо утилитарной. Как всякий массовый романист она отлично уяснила себе, что, во-первых, автору развлекательных книжек изобретать велосипед нет нужды. Пусть его изобретают джойсы, кафки и беккеты. Автор же, обслуживающий массовую читательскую аудиторию, чтобы легко, увлекательно читаться, чтобы держать читателя в тонусе, должен быть узнаваем, уметь встроиться в традицию, а не выбиваться из нее. И во-вторых, чтобы читатель низкопробной литературы чувствовал себя "в хорошем обществе", необходимо, как теперь выражаются, "косить" под автора элитарного. Одни эпиграфы к четырем частям "Щегла" чего стоят! Тартт без особой надобности цитирует crème de la crème мировой литературы: Альбера Камю, Артюра Рембо, Франсуа Ларошфуко — сплошь "вечные французы". И даже "самого" Ницше. "Искусство дано, чтобы не умереть от истины", — предваряет последнюю, самую эффектную и душещипательную часть романа немецкий философ, хотя в романе Тартт искусство — привязанный за лапку щегол на картине голландского художника XVII века Яна Фабрициуса — от истины не спасает. Истиной — жизненной, не беллетристической — в "Щегле", впрочем, и не пахнет. И искусством — настоящим, не заемным, — увы, тоже. Что и есть, собственно, рецепт бестселлера, в какой бы стране этот бестселлер ни писался и ни читался. В России с ее на сегодняшний день хилыми тиражами издательство, не слишком рискуя, напечатало 20 000 экземпляров "Щегла", и это, надо полагать, не предел.

Читаешь эту "умную, талантливую и очень грустную книгу" и думаешь, что литература за последние три века сделала полный круг. В позапрошлом столетии Бальзак, Диккенс и Достоевский "гримировались" под сенсационных романистов, черпали сюжеты из криминальной хроники — и при этом оставались Бальзаком, Диккенсом и Достоевским: с Эженом Сю, Бульвером-Литтоном или Сенковским их не спутаешь. Сегодня же авторы из разряда массовых стремятся сойти за писателей проблемных. Пишут романы воспитания, которые не способны воспитать ни героя, ни — тем более — читателя; читатель, впрочем, воспитываться вовсе не собирается. И при этом щедро нашпиговывают их либо всевозможной нечистью: наркоманами, убийцами, террористами, азартными игроками, мошенниками — либо же, по контрасту, — ходячими добродетелями, вроде благородного, всепрощающего "краснодеревца" Хоби. А сколько в "Щегле" полезной информации, до которой серьезному писателю обычно нет дела! Зато читателя "Щегла" Донна Тартт научит и старинную мебель ремонтировать, и косяки скручивать,

и разбираться в сложнейших кулинарных рецептах и картинах кисти старых мастеров.

И читатель на этом бале-маскараде совсем теряет голову, принимает блокбастер за большой американский роман – Ю. Дубов, правда, не решил, английский это роман или американский. Попытку же Донны Тартт рассказать о мире Диккенса... "в реалиях совершенно не диккенсовских" рецензент воспринимает не имитацией, а импровизацией, и "импровизацией великолепной". Особенно, по мнению Ю. Дубова, удалась автору импровизация на тему "Идиота" Достоевского, которая "играет исключительно подчиненную и мотивирующую роль". Роман Достоевского в "Щегле" действительно, как мы уже отмечали, присутствует, не вполне понятно, правда, в чем его "мотивирующая роль", да и что это словосочетание означает. И как "подчиненная роль" согласуется с "мотивирующей". И, главное, что нового, оригинального в "ключевой" мысли Бориса, почерпнутой у князя Мышкина: "А что, если эта наша нехорошесть, наши ошибки и есть то, что определяет нашу судьбу, то, что и выводит нас к добру?" Если эта не слишком внятно выраженная мысль и казалась глубокой и парадоксальной, то очень давно, до Гёте, Ницще и Достоевского, и Борис – позволю себе невольный каламбур – Америки не открывает.

Удался, считает Юлий Дубов, и перевод, за что в конце своей рецензии он выносит Анастасии Завозовой "отдельную благодарность". По мне же, благодарить А. Завозову и ее редактора (профессия, лишний раз убеждаемся, увы, умирающая), по правде говоря, особенно не за что. Русская версия романа (читавшие книгу в оригинале уверяют, что Д. Тартт – превосходный стилист) сродни ухабистой дороге – спотыкаешься на каждом шагу. Есть словосочетания несколько, как бы помягче выразиться, необычные, вроде "подзаброшенных будуаров", "резких личиков", "с искрящим в животе волнением", "тряхнуло нереальной легкостью", "не хотелось переговариваться через ее тело", "прошел на несколько картин вперед", "общительно сказал он". А есть и вовсе непонятные: "взбитый взрез воды", "ужасные тела-формы" и прочие. А как вам понравится такая фраза: "Симулятор виртуальной реальности перещелкнулся в цвет"? Да и матерок на Невадщине (роман, предупреждает нас классификатор 18+, "содержит нецензурную брань") выглядит, прямо скажем, необязательным.

Как и безудержные похвалы рецензента в адрес интеллектуального блокбастера или психологического триллера (как кому нравится) реконструктора Донны Тартт. Прав был один американский издатель, который в ответ на упрек серьезного писателя, что его книги плохо расходятся, возразил: "Ничего удивительного. Читателю подавай плохие книги, а не хорошие".

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Словарь в последние пару десятилетий из разряда жанров, для художественной литературы несколько экстравагантных, перешел в разряд если не традиционных, то вполне привычных. В начале 90-х для нашего читателя откровением стал "Хазарский словарь" Милорада Павича: оказалось, что роман вполне может иметь нелинейную структуру, то есть строгая последовательность отдельных частей становится необязательной. И если в случае Павича форма словаря была, по сути, только заявлена, то вскоре стали появляться книги, совершенно точно воспроизводящие эту форму: словник (упорядоченный по алфавиту) и некий соответствующий каждому слову текст. Впрочем, словарной здесь была именно форма, потому что содержательно в качестве статьи выступало не академическое толкование, а субъективное эссе на заявленную тему.

Вот и нобелевский лауреат 1980 года **Чеслав Милош** еще в 1997 году (в возрасте 86 лет) выпустил книгу "Азбука Милоша", а уже в следующем, 1998-м, продолжил ее "Другой азбукой". В 2001-м повилась еще одна книга Милоша, которая называется просто "Азбука", и именно она вышла в конце прошлого года в издательстве Ивана Лимбаха (пер. с польского **Никиты Кузнецова**. — Санкт-Петербург, 2014. — 608 с.). В этой "Азбуке" около двухсот статей, и она получилась более чем пестрой: здесь слова, обозначающие конкретные предметы и абстрактные понятия — от "Автомобиля" до "Эфемерности", чередуются с персоналиями (прежде всего друзьями и знакомыми автора, но не только) — от издателя довоенного вильнюсского журнала "Пшеглёнд Виленский" Людвика Абрамовича до Роберта Фроста и Артура Шопенгауэра.

Понятно, почему "Азбуки" эти сложились у Милоша уже

на склоне лет: они представляют собой своего рода мемуаристику, подводят своего рода итог насыщенной и плодотворной жизни. Содержательно это, конечно же, фрагменты биографии — но если обычно биографию развертывают во времени (детство, отрочество, юность, зрелость...), то здесь (как, собственно, и в человеческой памяти) воспоминания о разных событиях и людях соседствуют друг с другом одномоментно — то есть в любой момент настоящего может быть востребован и зафиксирован любой фрагмент прошлого. Для меня в "Азбуке" Милоша особо интересными оказались персоналии: именно статьи, посвященные отдельным личностям, дают в совокупности обобщенный и многомерной образ истории, где каждая частная судьба каким-то особым образом "выламывается" из привычных стереотипов той истории, в которой действуют "народные массы" и господствуют те или иные идеологические доктрины.

Порой эти стереотипы ломаются непредсказуемым и даже шокирующим образом. Вот, например, фрагменты статьи о знакомом Милоша Станиславе Пясецком, польском националисте, издававшем в 30-е годы журнал "Просто з мосту": "В тогдашней Европе казалось, что будущее за правыми авторитарными режимами. Действовал пример Салазара в Португалии, Муссолини в Италии, а вскоре и Гитлера. <...> В конце тридцатых казалось, что проект окружить себя на востоке государствами с подобной идеологией был близок к осуществлению. <...> Станислав Пясецкий и его товарищи выдвигали приблизительно такую же программу, какую вскоре начали осуществлять в Хорватии Павелича, то есть логичен был бы союз с Гитлером и, вероятно, совместный поход на Россию". И завершает этот абзац своего рода резюме: "Однако историю Польши не измерить аршином логики". То есть оказывается, что "умом не понять" не только Россию.

В первой же статье своей "Азбуки" (которая называется "А все-таки...") Милош пишет: "Всю жизнь мы создаем свои мифологии, но те, что сохранились с раннего детства, запечатлеваются в нас сильнее всего. Чем дальше меня заносило (а Калифорния, надо полагать, достаточно далеко), тем больше я искал связующую нить с прежним собой, с мальчиком из Шетейнь и Вильно. <...> Возвращение спустя полвека в мои родные места и в Вильно замкнуло круг". Действительно, теме Вильно (Вильнюса) в книге уделено очень много внимания, причем помимо эмоционально-ностальгических мотивов особое место занимают здесь культурологические размышления о городе, в котором сошлись три культуры: польская, литовская и еврейская. Отношения между ними не всегда были простыми — особенно в предвоенное время (когда бывшее польской окраиной Вильно стало литовской столицей Вильнюсом) и, конечно же, в годы Второй мировой с ее ужасами Холокоста. Однако Милош все-таки делает акцент на по-

зитивном аспекте межкультурных отношений, на том, что именно в пространстве культуры рождается плодотворное творческое взаимодействие и происходит взаимное обогащение; в то время как в пространстве политики верх берут тенденции скорее конфронтационные, направленные на разобщение и вражду.

Вслед за книгой Милоша в том же издательстве Ивана Лимбаха вышел сборник публицистики литовского поэта и филолога **Томаса Венцловы** "Пограничье" (пер. с литовского, польского и английского. — Санкт-Петербург, 2015. — 640 с.). Венцлова — младший современник Милоша, и их судьбы чем-то перекликаются (оба вынужденно покинули польско-литовскую родину в эпоху "железного занавеса" и оба смогли вернуться — оставшись "гражданами мира" — после его падения). "Глобальный опыт — сплошное пограничье, — пишет Венцлова. — Жизнь на этом пограничье заставляет постоянно пересекать рубежи, не покладая рук работать с изоляцией. <...> Мы знаем, что пограничные ситуации могут быть плодотворными, но в них же могут возникать и споры, и даже непримиримая ненависть, и стремление укреплять старые стены и возводить новые. <...> Но этому можно противостоять". Особое внимание стоит обратить на опубликованную в сборнике переписку (70-х годов) Венцловы с Милошем под показательным названием "Вильнюс как форма духовной жизни"; а соседствующая с ней статья Венцловы называется "Чеслав Милош: отчаяние и благодать".

Сборник "Пограничье" скомпонован не по хронологическому принципу (тексты 70-х соседствуют с текстами уже нынешнего века), а по некоему тематически-ассоциативному — то есть здесь присутствует попытка выстроить последовательную содержательную структуру. А вот в "Азбуке" порядок статей складывается случайно, в соответствии с произволом алфавита (по причине чего русский перевод книги Милоша имеет совершенно другую структуру, нежели польский оригинал). Что ж, и в этом (казалось бы, сугубо формальном) отношении две эти книги прекрасно друг друга дополняют.

Я. Г. Шемякин

О *творческой личности синкретического типа:* В*алерий* З*емсков*

В начале этого года произошло событие, которое имело для нас, гуманитариев, прежде всего латиноамериканистов, особое значение. Выпущены в свет две книги, в которые вошли все основные работы Валерия Борисовича Земскова (1940–2012). В первую книгу (под названием “О литературе и культуре Нового Света”. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2014) включены его труды, посвященные латиноамериканской тематике, во вторую (“Образ России в современном мире и другие сюжеты”. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2015) – статьи, эссе, размышления Земскова, по своему содержанию выходящие за пределы собственно латиноамериканистики и посвященные самым различным темам, главной из которых является тема особенностей российской цивилизации в контексте сравнения с иными человеческими мирами, в первую очередь – с Латинской Америкой. Почти одновременно с упомянутыми книгами появился посвященный памяти ученого сборник материалов по итогам последней организованной им международной научной конференции (“Цивилизационно-культурное пограничье как генератор становления мировой культуры/литературы”. М.: ИМЛИ РАН, июнь 2012) под названием “Проблемы культурного пограничья. Памяти Валерия Борисовича Земскова (1940–2012)” (М.: ИМЛИ РАН, 2014).

Думаю, что выражу общее мнение коллег, особо отметив: всем нам очень хотелось как можно скорее увидеть основные работы Земскова, собранные воедино, чтобы можно было в рамках одного текста проследить его творческую эволюцию, воспринять его наследие в комплексе. Земсков ушел от нас, и нам его очень не хватает, и не только в плане чисто человеческом: сохраняется в полной мере потребность в творческом общении с ним. Конечно, живого человека не заменишь. И, тем не менее, сказать, что Земсков продолжает жить в своих текстах, – это не банальность, а самая настоящая правда. Поэтому выход в свет упомянутых книг по-

© Я. Г. Шемякин, 2015

зволяет вывести творческий контакт с этим выдающимся человеком на новый уровень. В том, что их появление стало реальностью, — особая заслуга известного литературоведа, доктора филологических наук Т. Н. Красавченко.

Что касается творческой эволюции Земскова, в первую очередь необходимо сказать, что она подчиняется общей закономерности, хорошо знакомой всем тем, кто пытается всерьез изучать Латинскую Америку. Земсков, конечно, прежде всего латиноамериканист, но как истинный исследователь он достаточно быстро пришел к выводу, что по-настоящему понять что-либо в избранном предмете невозможно, не выходя за его пределы, не рассмотрев его в сопоставлении с другими аналогичными по своему масштабу мирами-цивилизациями. Появление рецензируемых книг — событие не только для латиноамериканистики; значение творчества Земскова выходит далеко за ее пределы. Будучи по своей основной специальности филологом-литературоведом, он, по мере изучения латиноамериканской литературы, закономерным образом стал крупным культурологом, одним их немногих, кто смог перейти к решению задачи повышенного уровня сложности — к сравнительным цивилизационным исследованиям. Нельзя не сказать и о том, что значение Земскова не ограничивается рамками отечественной науки: он широко известен среди коллег за рубежом, в первую очередь, конечно, в Латинской Америке (особенно тесные связи были у него с Аргентиной), а также во Франции. Земсков является главным с российской стороны организатором российско-французской конференции (октябрь 1999 г., ИМЛИ РАН), по итогам которой был издан сборник ("Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох — типы пограничного сознания". Ч. 1—2. М.: ИМЛИ РАН, 2002). Появление этого сборника дало в то время значительный толчок как развитию цивилизационной компаративистики, так и изучению сложнейшего феномена социокультурной "пограничности".

Одно только перечисление тем работ, опубликованных в рецензируемых двух книгах, дает представление о масштабе творческой личности Земскова: "Габриэль Гарсиа Маркес. Главные романы"; "Колумб, открывший Другой Свет"; "О понятиях 'открытие', 'конкиста', судьбах американских культур и полемике о Новом Свете"; "Литература открытий и конкисты (первые испаноамериканские памятники)"; цикл персоналий — работ, посвященных творцам испаноамериканской литературы XVI—XX вв. ("Бартоломе де Лас Касас"; "Креольское барокко. Карлос де Сигуэнса-и-Гонгора"; "Хуана Инес де ла Крус"; "Доминго Фаустино Сармьенто"; "Хосе Эрнандес"; "Хосе Марти"; "Рубен Дарио"; "Хосе Энрике Родо"; "Алехо Карпентьер"; "Незрячий провидец: Хорхе Луис Борхес"); "Литературный процесс в Латинской Америке в XX веке"; серия работ, в которых рассматриваются теоретические проблемы латиноамериканистики ("Латиноамериканская культура как предмет междисципли-

нарного изучения"; "О межцивилизационном взаимодействии"; "Категории гармонии и дисгармонии в латиноамериканском культурном процессе"; "К построению модели латиноамериканской культуры (на материале литературы)"; "О культуротворческой нормативности в Латинской Америке"; "Доминго Фаустино Сармьенто: культуротворческий ритуализм на фоне традиции"; "Праздник в устойчивой и в формирующейся цивилизациях"; "На 'Карнавале' у Рене Портокарреро (вспоминая Мастера)"; цикл работ о российской цивилизации, как правило, в контексте сравнения с иными культурными мирами ("Россия "на переломе"; "Теургическая константа в русской культуре"; "Концепция дионисийства и мистерии в эссеистике Вячеслава Иванова (Ницше–Вагнер–Скрябин)"; "К. Д. Бальмонт и поэзия индейцев"; "Писатели цивилизационного промежутка: Газданов, Набоков и другие"); труды, посвященные общетеоретическим проблемам культурологии и цивилизационных исследований ("Дисбаланс в системе взаимодействия пластов культуры как фактор культурной динамики"; "О значении критерия различий в изучении транснациональных взаимодействий"; "Литературный пантеон: автор и произведение в межкультурной коммуникации"; "Жанр 'Истории' и ловушки исторического и историко-культурного знания на рубеже тысячелетий"; "История литературы как жанр: от истоков к истокам?"; "Документ и воображение"; "Самоидентификация и культура"; "Одноглазый Янус. Пограничная эпоха – пограничное сознание"; "Проблема синтеза в пограничных цивилизациях"; "Цивилизационно-культурное пограничье – универсальная константа, энергетический источник и средство самостроения мирового историко-культурного процесса/мировой литературы"); работы, в которых рассматриваются различные аспекты цивилизационно-культурной компаративистики ("Хроники конкисты Америки и летописи взятия Сибири"; "Экспансия XVI–XVII вв. Испании и Англии в Америку, России – в Сибирь, варианты этнокультурного взаимодействия и генезис культурно-литературных моделей Нового времени"; "Экстерриториальность как фактор творческого сознания (варианты: русский, западноевропейский, восточноевропейский, американский и латиноамериканский)"; "Русская и латиноамериканская литературы: два пути в постсовременность"). Из работ Земскова особого упоминания заслуживает его книга – анализ творчества Г. Гарсиа Маркеса[1]. Это уникальный труд, не имеющий аналогов в отечественном литературоведении.

Среди многочисленных тем, затрагиваемых Валерием Борисовичем, есть одна, которая проходит красной нитью через все его творчество. И это закономерным образом вытека-

1. Габриэль Гарсиа Маркес: Очерк творчества. – М.: Худож. лит, 1986. 223 с. В нем. переводе: Zemskov, Waleri. Gabriel Garcia Marquez. – Berlin: Volk und Wissen. Verlag Gmbh. 1990. 276 с.

ет из самой логики сравнительного цивилизационного исследования, которое осуществлялось Земсковым в рамках своего рода триптиха "Латинская Америка – Россия – Запад". Речь идет об изучении социокультурного феномена границы и в связи с этим особого рода социокультурных образований – цивилизаций "пограничного" типа. Теоретическая разработка этой проблематики в отечественной культурологии началась примерно на рубеже 90-х годов совсем недавно ставшего прошлым столетия. На протяжении его последней декады появляется целый цикл работ известных ученых и философов (Г. Померанца, А. Ахиезера, И. Кондакова, И. Яковенко, В. Цымбурского, С. Хатунцева), так или иначе посвященных данной теме. Важнейшей составляющей этого нового направления гуманитарных исследований стали труды латиноамериканистов: В. Б. Земскова, С. И. Семенова, Ю. Н. Гирина и автора этих строк[1]. Острый интерес к проблеме социокультурного "пограничья", признание его кардинальной значимости для развития мировой культуры, осознание необходимости учитывать специфику "пограничных" цивилизационных образований и в связи с этим – настоятельной потребности в выработке особого исследовательского инструментария, отвечающего задачам изучения "пограничной" реальности, – таковы, вкратце, те факторы, которые всех нас объединили. В ходе (и в результате) дискуссий были выдвинуты различные концепции "пограничности", мы много и подолгу спорили. Но это были в полном смысле слова творческие споры, в ходе их сложилось чрезвычайно богатое смыслами дискуссионное поле. Деятельность Земскова в решающей степени способствовала его возникновению. Венцом его усилий в этом плане стала уже упоминавшаяся июньская конференция 2012 года в ИМЛИ, которая собрала ведущих ученых-историков, культурологов, литературоведов, философов как латиноамериканистов, так и русистов, балканистов, востоковедов, африканистов, исследователей литератур США и Европы. Изданный по материалам конференции сборник в полной мере отражает современный уровень разработки проблемы "пограничности", в опубликованных на его страницах работах изложены все основные отечественные концепции, в которых эта проблема рассматривается.

В рамках общей проблематики цивилизационной "пограничности" выделяется одна тема, которой Земсков уделял особенно пристальное внимание. Речь идет о сравнительном изучении российских и латиноамериканских реалий. Мы с ним примерно в одно время, на рубеже 90-х годов прошлого века, пришли к выводу о чрезвычайной эвристической ценно-

1. См. подробнее: Я. Г. Шемякин Цивилизации "пограничного" типа: формирование концепции // Социокультурное пограничье как феномен мировых и российских трансформаций: Междисциплинарное исследование. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2008. с. 100–148.

сти разработки данной темы, правда, каждый из нас разрабатывал ее по-своему, наши выводы отнюдь не во всем совпадали, но в результате между различными позициями возникало поле высокого творческого напряжения, рождавшиеся в нем "разряды" стимулировали научную мысль.

В связи с темой "пограничности" не могу не сказать еще об одном обстоятельстве. Творческая индивидуальность Земскова не исчерпывается его научной деятельностью. Валерий Борисович был, кроме того, еще писателем и поэтом. Я не вправе оценивать эту сторону его личности — она мне мало известна. О ней наверняка гораздо лучше меня смогут рассказать другие люди, особенно близкие Валерию Борисовичу. Так, яркую характеристику этой стороны его индивидуальности дала Т. Н. Красавченко в статье, посвященной жизненному пути и творческой биографии Земскова, опубликованной во второй из рецензированных книг (Т. Н. Красавченко. Штрихи к портрету: Валерий Борисович Земсков // Земсков В. Б. Образ России в современном мире и другие сюжеты. — С. 317—320). И тем не менее не могу не поделиться в этой связи одной мыслью, которая невольно пришла на ум, когда я размышлял о наследии Земскова в контексте все той же проблематики "пограничности". Как было выяснено в ходе сравнительных цивилизационных исследований (богатейший материал на эту тему можно найти в пятитомнике "История литератур Латинской Америки" — самом масштабном свершении творческого коллектива авторов ИМЛИ во главе с Земсковым, в книгах и статьях его коллег А. Ф. Кофмана, Ю. Н. Гирина и других, а также автора этих строк), проблема творчества и творческой личности совершенно по-особому стоит в цивилизационном "пограничье". В силу того что сама действительность "пограничных" цивилизаций представляет собой сверхсложный узел взаимопереплетения различных типов контакта разнородных культурных традиций и разделенных герменевтическими барьерами разностадиальных пластов исторического бытия народа, здесь сложился особый, "синкретический" тип творческой личности, способной решать задачу повышенного уровня сложности — формирования духовных основ целостности социокультурной общности в условиях доминанты принципа многообразия, довлеющего в "пограничной" реальности над принципом единства. Этот тип личности совмещает в одном лице ученого, художника (в широком смысле, чаще всего — писателя и/или поэта), достаточно часто (особенно в Латинской Америке) — политического деятеля и идеолога. Я пришел к выводу, что Валерий Земсков являет собой одну из разновидностей синкретического типа творческой личности, совмещающей ипостаси ученого и художника (в указанном смысле) в условиях "пограничной" цивилизации планетарного масштаба — России — Евразии. И в данном контексте его имя может быть поставлено в один ряд с именами многих выдающихся людей как России, так и Латинской Америки. Про-

стое перечисление их имен могло бы занять здесь, наверное, не одну страницу. Приведу в этой связи суждение И. В. Кондакова из его "Вступительного слова" к книге Земскова: "...Валерий Земсков шел путем таких знаменитых ученых-гуманитариев, стремившихся к универсальности, как М. М. Бахтин и А. Ф. Лосев, Н. И. Конрад и В. М. Жирмунский, Д. С. Лихачев и А. М. Панченко, С. С. Аверинцев и А. В. Михайлов, Ю. М. Лотман и В. Н. Топоров, М. Л. Гаспаров и Н. И. Толстой, Б. Л. Рифтин и П. А. Гринцер, Вяч. Вс. Иванов и Б. А. Успенский (список можно продолжить)... Эти ученые, часто независимо друг от друга, смело пересекали границы смысловых областей и отдельных наук, различных видов искусства и типов культур, прослеживали глубинные связи между отдаленнейшими явлениями, соединяя, казалось бы, несоединимое"[1].

И, наконец, последнее. Не могу не упомянуть о том, что по целому ряду вопросов мои и Земскова позиции существенно различались. Однако рецензия — это, по-видимому, не тот жанр, где можно излагать аргументы научной полемики. Во-первых, потому что это надо делать либо очень основательно (а Земсков иного отношения и не заслуживает), либо не делать вообще. Ограничиться несколькими фразами в данном случае невозможно. Во-вторых, речь неизбежно пойдет о вещах, широкому читателю мало известных (а в некоторых случаях, думаю, и мало понятных). Тем не менее хотелось бы обратить в этой связи внимание вот на что. С. С. Аверинцев, предваряя свою полемику с М. М. Бахтиным по поводу феномена смеха, сказал: "Выходя из согласия с Бахтиным, его не потеряешь; выходя из диалогической ситуации — потеряешь"[1]. То же самое можно сказать и о Земскове. Наш с ним творческий диалог-спор продолжается.

1. И. В. Кондаков. Вступительное слово // Земсков В. Б. Образ России в современном мире и иные сюжеты. — С. 5–6.

1. С. С. Аверинцев. Бахтин, смех, христианская культура // Аверинцев С. С. Собрание сочинений. Связь времен. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. — С. 342.

Магдалена Тулли
Magdalena Tulli
Польский прозаик, переводчик с итальянского и французского языков. Лауреат ряда литературных премий.

Автор повести *Сны и камни* [*Sny I kamienie*, 1995; рус. перев. 2007], сборника повестей *Красное* [*W czerwieni*, 1998], романов *Наклонения* [*Tryby*, 2003], *Изъян* [*Skaza*, 2006], *Контролер снов* [*Kontroler snów*, 2007, под псевдонимом Marek Nocny]. В *ИЛ* печатались ее рассказы [2013, № 1 и № 5].
Перевод повести выполнен по изданию *Шум* [*Szum*. Krakow: Znak Litera Nowa, 2014].

Хавьер Кампос
Javier Campos
[р. 1947]. Чилийский поэт, прозаик, журналист. Профессор кафедры современной литературы и языков и кафедры латиноамериканских исследований в Фэрфилдском университете. Лауреат первой премии на конкурсе испаноязычных поэтов, резидентов США, *Letras de Oro*.

Автор пяти книг стихов, романа *Акробаты* [*Los saltimbanquis*, 1999], сборника рассказов *Женщина, похожая на Шарон Стоун* [*La mujer que se parecía a Sharon Stone*, 2003] и др., около трехсот публикаций, посвященных актуальным проблемам Латинской Америки. Переводчик поэзии Евгения Евтушенко на испанский язык.
Стихи взяты из разных сборников.

Евгений Александрович Евтушенко
[р. 1933]. Поэт, прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии СССР [1984], Государственной премии России [2004], премии *Поэт* [2013], премии *Гринцане Кавур* [2005, Италия] и др., обладатель орденов *Знак Почета* [1969], *Трудового Красного Знамени* [1983], *Дружба народов* [1993], *За заслуги перед Отечеством* III степени [2004]. С 1991 г. живет в США, преподает в университете г. Талса, штат Оклахома.

Автор сборников стихов *Разведчики грядущего* [1952], *Яблоко* [1960], *Я сибирской породы* [1971], *Почти напоследок* [1985], *Нет лет: любовная лирика* [1993], *Я прорвусь в двадцать первый век...* [2001], *Можно все еще спасти* [2011], *Не умею прощаться* [2013] и др., романов *Ягодные места* [1982], *Не умирай прежде смерти* [1991–1993], повестей, мемуаров и публицистики.

Шерман Алекси
Sherman Alexie
[р. 1966]. Американский прозаик, поэт, сце-

Автор романов *Блюз резервации* [*Reservation Blues*, 1995], *Индейский киллер* [*Indian Killer*, 1996], *Полет* [*Flight*, 2007], двух сборников рассказов и двенадцати стихотворных сборников. В *ИЛ* публико-

нарист. Родился и вырос в резервации индейцев племени спокан в Велпринте, штат Вашингтон. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Национальной премии за лучшую книгу для молодежи [2007].

вались его рассказы *Феникс, что в Аризоне* [1996, № 10] и *И залог твой я выкуплю* [2008, № 8].
Перевод рассказов выполнен по изданию *Богохульство, новые и избранные рассказы* [*Blasphemy, New and Selected Stories*. Grove Press, 2012].

Майкл Фрейн
Michael Frayn
[р. 1933]. Английский журналист, писатель, драматург и переводчик. Лауреат премии Сомерсета Моэма [1966], несколько раз удостаивался престижной награды газеты *Ивнинг Стэндард* за лучшую пьесу года, премий *Эмми* [1990] и *Тони* [2000].

Автор пьес *Алфавитный порядок* [*Alphabetical Order*, 1975], *Строй-ломай* [*Make and Break*", 1980], *Шум за сценой* [*Noises Off*, 1982], *Благодетели* [*Benefactors*, 1984], *Копенгаген* [*Copenhagen*, 1998], *Демократия* [*Democracy*, 2003], *Посмотри внимательней* [*The First and the Last*, 1990] и др., романов *Одержимый* [*Headlong*, 1999; рус. перев. 2002], *Шпионы* [*Spies*, 2002; рус. перев. 2004] и др. Переводил на английский произведения Чехова, Толстого, а также Трифонова. Спектакли по пьесам *Шум за сценой* и *Копенгаген* идут в московских театрах.
Перевод пьесы *Балморал* выполнен по изданию [*Balmoral*. London: Methuen London; New York, NY, USA: Methuen, 1987].

Екатерина Борисовна Ракитина
Литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

Переводила произведения Л. Даррелла, Р. Б. Локхарта, Х. Уолпола, Р. Карвера и др., пьесы Стоппарда и Шекспира.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002], Государственной премии по литературе [2003], премии *Мастер* [2010] и Бунинской премии [2010], Почетный доктор Дублинского университета.

Автор шести сборников стихов [последний — *Новые стихи*, 2008]. В его переводах вышли книги Л. Кэрролла *Охота на Снарка* [1991], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Д. Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Д. Донна *Алхимия любви* [2005], У. Стивенса *Сова в саркофаге* [2008], Э. Дикинсон *Стихи из комода* [2010] и др. Статьи и эссе составили сборники *Ностальгия обелисков* [2001], *Лекарство от фортуны* [2002], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и *У. Б. Йейтс: Исследования и переводы* [2008]. Вышли *Избранные переводы* в 2-х тт. [2009]. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Уильям Батлер Йейтс
William Butler Yeats
[1865–1939]. Поэт, один из создателей современ-

Автор около двадцати книг стихов, в том числе *Роза* [*The Rose*, 1893], *В семи лесах* [*In the Seven Woods*, 1903], *Дикие лебеди в Куле* [*The Wild Swans at Coole*, 1917], *Башня* [*The Tower*, 1928], *Винтовая лестница* [*The Winding Stair*, 1933], *Последние стихи* [*Last Poems*, 1939] и др.

ной поэтической драмы. Лауреат Нобелевской премии [1923].

В *ИЛ* печаталась его пьеса *Единственная ревность Эмер* [1995, № 2], стихотворный цикл *Размышления во время гражданской войны* [2005, № 10] и стихи из разных сборников [2007, № 6].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Собрание стихотворений* [*Collected Poems.* London: Macmillan, 1950].

Робер Деснос
Robert Desnos
[1900–1945]. Французский поэт, писатель и журналист. Участник Сопротивления. Арестован гестапо и умер в лагере Терезин.

Автор поэм *Траур для траура* [*Deuil pour deuil*, 1924], *Обезглавленные* [*Les Sans cou*, 1934], произведения, запрещенного цензурой, *Свобода или любовь* [*La Liberté ou l'Amour*, 1927], сборников *Совместное проживание и имущество* [*Cops et biens*, 1930], *Достояние* [*Fortunes*, 1942], *Бодрствование* [*État de veille*, 1943], *Страна* [*Contrée*, 1944], *Купание с Андромедой* [*Le Bain avec Andromède*, 1944] и др. Издательство Gallimard выпустило несколько изданий собрания сочинений Десноса [1999, 2003, 2011]. На русском языке его стихи печатались в антологиях поэзии [1969, 1999, 2003, 2005] и вышел сборник [1970]. В *ИЛ* также публиковались его стихи [1963, № 9; 1970, № 1].
Перевод заметок об искусстве выполнен по изданию *Ecrits sur les peintres* [Paris: Flammarion, 2011] и отдельно о кино — *Les rayons et les ombres. Cinéma* [Paris: Gallimard, 1992].

Сергей Дубин
[р. 1972]. Переводчик с французского и английского языков, эссеист, журналист, руководитель русской службы Euronews, кандидат филологических наук.

Автор статей о французской литературе XX века, современном зарубежном кино, комментариев к сочинениям Лотреамона, А. Жарри, А. Камю. В его переводах публиковались романы А. Жарри, эссе А. Бретона, А. Камю, С. Сонтаг, О. Паса и др., составленная А. Бретоном *Антология черного юмора* [1999], монографии Ж. Шенье-Жандрон *Сюрреализм* [2002], Ф. Сера *Тоталитаризм и авангард* [2004] и др. В *ИЛ* печатались его статьи *Сюрреализм, состояние яростной страсти* [1997, № 11], *Самоубитые обществом* [1999, № 11], *Действительно ли scripta manent?* [2001, № 5], *Колдунья, дитя, андрогин: женщина(ы) в сюрреализме* [2003, № 6] и др.

Елена Павловна Даль
Переводчик с шведского и английского языков, а также с русского на шведский. Кандидат филологических наук.

Автор сборника стихов *Летнее время и зимние часы* [*Sommartid och vinterklockor*, 1999] и романа *К тебе возвращаюсь. Костюмированный роман без одежды* [*Till dig jag vänder åter. En naken kostymroman*, 2009] [совместно с Владимиром Оравски и Куртом П Ларсеном], вышедших на шведском, а также работ по стиховедению на русском, шведском и английском языках. Ею составлена и переведена на шведский двуязычная антология *7 русских поэтов Стокгольма*, [1996]. На русский язык переводила стихи Э. Тегнера, Э. Ю. Стагнелиуса и Г. Экелефа для передач Радио Швеции. В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Мелихов [р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Александр Яковлевич Ливергант [р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012], *Оскар Уайльд* [2014], *Фицджеральд* [2015]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, Н. Уэста, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта, Д. Китса, В Набокова, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с польского, лауреат премии *ИЛЛюминатор* [2010].

В ее переводе опубликованы произведения Г. Херлинга-Грудзинского, П. Хюлле, М. Тулли, Т. Ружевича, А. Стасюка, О. Токарчук, М. Вилька, Э. Курылюк, М. Лозинского, К. Янды и др.
В *ИЛ* опубликованы ее переводы автобиографической повести К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля, Утопия* [2003, № 5], повести П. Хюлле *Мерседес-бенц. Из писем к Грабалу* [2004, № 1], эссе *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9] и фрагмента книги *Дойчланд* А. Стасюка, документальной повести В. Тохмана *Ты словно камни грызла* [2004, № 10], романа *Последние истории* [2006, № 8—10] и фрагмента романа *Бегуны* [2010, № 6] О. Токарчук, фрагмента книги Х. Климко-Добжанецкого *Колыбельная для висельника* [2009, № 7], рассказов К. Орлося [2010, № 5], пьесы Т. Слободзянека *Одноклассники* [2011, № 10], рассказов М. Тулли *Бегство лис* [2013, № 1] и *Бронек* [2013, № 5], а также статьи и рецензии.

Жанна Тевлина
Филолог-испанист, переводчик с испанского и английского языков, журналист-театровед, преподаватель кафедры иностранных языков Финансового университета.

В ее переводах с испанского выходили произведения Х. Кортасара, Р. Дарио, Х. Пиньи Росалеса, Дж. Квок — с английского. В *ИЛ* публикуется впервые.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Иностранка* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались в ее переводе романы П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказы Дж. Сондерса [2001, № 7], Д. Эггерса [2007, № 12], Д. Седариса [2011, № 1], Д. Шепарда [2012, № 8], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Б. Сарло [2010, № 10], А. Сантиэстебана и М. Э. Льяны [2015, № 1], путевые очерки П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографические заметки М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Письма из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11], интервью П. Гринуэя [2014, № 5] и др.

“ИЛ” в 2016 году

В Букеровском романе **“Жара и пыль”** американо-индийской писательницы РУТ ПРАЙВЕР ДЖАБВАЛЫ разворачиваются две любовные истории: первая – в колониальной Индии, другая – в Индии, обретшей независимость. Мы погружаемся в увлекательное параллельное повествование – авторское и дневниковое, – линии которого тесно переплетены: близкая нам по времени вторая героиня совершает путешествие в Индию, чтобы разузнать утаиваемую в семье историю бабушки, но там с ней самой происходит много неожиданного. “Индия всегда меняет людей, и я не исключение”, – признается она.

Повесть чилийского писателя ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА **“Гимн ангела с поджатой ногой”** – поэтичное описание одного дня тринадцатилетнего мальчика – можно назвать современным “романом воспитания”.

Мексиканский писатель ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТЬЯ в своем романе **“Мертвые”** воспроизводит реальные события, рисует жизнь публичных домов в захолустных городках. Перед читателем раскрывается мир провинциальной Мексики, развращенный и лицемерный, где все имеет свою цену, даже женщины.

В подборку малой прозы ГЕРМАНА ГЕССЕ вошли небольшие тексты разных жанров, написанные приобретающим популярность писателем в 1904–1908 годах, а также две притчи более позднего времени. Уже в ранних рассказах появляются важные для его творчества черты: автобиографизм, внимание к деталям, ясность композиции, перекличка разных сюжетных линий. Гессе обращается к излюбленным романтическим темам: странствие, поиски себя, противопоставление героя и мира.

“Лжетрактат о манипуляции” АНЫ БЛАНДИАНЫ – очерки, написанные с блеском опытного колумниста. Людьми манипулируют и они сопротивляются или поддаются – на эту ось нанизано множество фактов, от которых румынская поэтесса Ана Бландиана, не раз публиковавшаяся в “ИЛ”, уходила в стихи и на которых росли ее фантазии в прозе.

Три театральных монолога известного итальянского драматурга, эссеиста и критика КЛАУДИО МАГРИСА.

Впервые на русском языке выйдут несколько рассказов из сборника **“Неоновая пустыня”** НЕЛЬСОНА ОЛГРЕНА, известного американского писателя, лауреата главной литературной премии Америки “Национальная книжная премия”. Подобно нашему Горькому, Олгрен много скитался, повидал жизнь – и описал ее талантливо и бесхитростно в произведениях с криминальным сюжетом и живыми, списанными с жизни персонажами.

[9] 2015

РОМАН ПАТРИКА МОДИАНО “НОЧНАЯ ТРАВА” / ШИНЕЙД МОРРИССИ В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ” / ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА: РОМАН ЙОЗЕФА РОТА “ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ” / ЯН ТВАРДОВСКИЙ В РУБРИКЕ “ЮБИЛЕЙ” / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: ГЛАВА ИЗ КНИГИ ЧАРЛЬЗА МУРА “МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР” / ЭССЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Москва” (ул. Арбат, д. 20);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске “Книжные мастерские” (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине “Книжные мастерские” (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине “Мы” (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.7.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 9500.
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

В оформлении обложки использован фрагмент картины современного американского художника Террелса Пура Тандера

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

868

МОСКВА

5–6 сентября

ДЕНЬ ГОРОДА

Полная программа
мероприятий на сайте

ЯЛЮБЛЮМОСКВУ.РФ

#МОСКВА868

0+

ИНДЕКС 70394

868

МОСКВА

5–6 сентября
ДЕНЬ ГОРОДА

Полная программа
мероприятий на сайте

ЯЛЮБЛЮМОСКВУ.РФ

#МОСКВА868

0+

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература” :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2015, №8, 1–288

ISSN 0130-6545 15008 > 9 770130 654770